

HEBA



6 • 2024



НЕВА

6
2024

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вера КАЛМЫКОВА

Стихи • 3

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Воин света. *Проза поэта* • 9

Анна ГЕДЫМИН

Стихи • 68

Калле КАСПЕР

Вариант доктора Стокманна. *Вариации на тему пьесы Генрика Ибсена «Враг народа»*.
Перевод с эстонского Лейви Шера • 71

Ольга АНИКИНА

Державина восемь, квартира шестнадцать. *Стихи* • 84

Татьяна ОКОМЕНЮК

По уточненным данным... *Рассказ* • 89

Дмитрий ЗИНОВЬЕВ

Стихи • 109

Инна НАЧАРОВА

Житейские истории. *Рассказы* • 115

Павел ВЯЛКОВ

Правдивая история персидской княжны. *Рассказ* • 120

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Эдуард РУСАКОВ

Моя жена — корректор. Гордая мама. Машина времени. Комсорг дурдома. *Рассказы из цикла «Комсорг дурдома»*. *Предисловие Е. Попова* • 143

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Татьяна МИХАЛКОВА

Мое детство • 166

АРХИПЕЛАГ БЛАГОРОДСТВА

Александр МЕЛИХОВ

«Бойцы должны видеть друг друга». *Авторы:*
Д. Драгунский, В. Калмыкова, Е. Долгопят,
С. Щелкунова, И. Шумейко, М. Бушуева • 180

ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений ПОПОВ, Михаил ГУНДАРИН

Явление «Невозвращенца» • 188

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Вера ЗУБАРЕВА

Смиренная лачужка: Коломенский сюжет
на «встречном течении» • 203

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Искусство чтения. Алла Новикова-Строганова.
Единство поэзии и прозы (И. С. Тургенев и Алоизи-
юс Бертран). **Территория памяти.** Александр Бал-
тин. К 100-летию В. Солоухина. **Рецензии.** Людми-
ла Синицына. Что наша жизнь? Айдар Хусаинов. Кому
принадлежит прошлое? • 222

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Харбин — «русский Китеж». Часть 13 • 242

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).*

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (*шеф-редактор гуманитарных проектов*). **Ольга Малышки-
на** (*шеф-редактор молодежных проектов*). **Елена Зиновьева** (*редактор-
библиограф*). **Наталья Ламонт** (*редактор-координатор*).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2024

ПАРИЖ В ДЕКАБРЕ

Мой маленький город,
прыгай ко мне на ладонь.
Я положу тебя в сундучок, на ватку.
Довезу, не сломав, а там — упаковку долой
и на столе разглажу, разглядывая украдкой
вечернее небо над золотым «Bon Marche»
и кентавра в ботинках — он вежливо шаркнет ножкой.
Самодовольный фантом фонтана — пыжится, будто уже
раскроил мостовую, и вот-вот посыплется крошки
старого Сен-Жермена, который тщится предстать
дедушкой готики, девицы довольно резкой,
любящей цветные стекла в рамах под стать
алькову Ее Величества за лилейною занавеской.
За этажами лесов, которые скрыли собор
так, что видна лишь верхняя часть кружевной каменистой льдины,
декабрьское солнце причесывает на пробор
пряди улиц: налево — розовая, направо — сизая половины.
Зеленая бронза фигур, сбегаящих с Нотр-Дам,
выдает беглецов; если рискнут — их водворят обратно.
Набережные парят, подобно висячим садам,
над отраженьями облаков, столь же нелепых, как пятна
грязноватых белил на любимых туристами квелых холстах.
Торговцы картинами дремлют в ожиданье сезона.
Вечнозеленый плющ свернулся клубком, устав
от касаний — над открытым прилавком
с черными туфлями всех фасонов.
Если смотреть от угла, глаз выстраивает овал
крошечной площади, что падает вниз, поката.
Дождь. И маленький город совсем пропал
в пузырьках снизу вверх наползающего сфумато.

ПО ДОРОГЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ

Небо лежит на Неве — ноздреватое, сумрачное.
Странное место: никаких различий, где верх, где низ.
Между чем-то и чем-то мост поставлен, как будто прочный,
но как он может стоять на небе, вот в чем вопрос.

Достать из сумки круглое зеркальце три на три сантиметра,
проверить, есть ли на свете свет — отразится ли от стекла,
но амальгама сработана из того же материала,
что Нева и небо, и врет, как серебряный конь. Легко

поймать снежинку — небо в руке дрожит, истекая
водой на перчатку. Ты откуда сюда, вода?
В ответ строптивая льдинка с пальца
соскакивает и убегает
стремительно, словно вот-вот захлопнется

дверь в какую-то мне недоступную область. Но я вмещаюсь,
я вмещаю в себя пространство, смешиваясь с,
вооружусь адмиралтейской иглой, протянусь широкими швами.
А Нева разлеглась наверху, сбросив на небо мост.

ГОВОРЕНИЕ

...В моей памяти —
ужас рожденья:
груда
сплошного бытия
без очертаний.
Обилие пустоты.
Гул, скрежет, лязг.

Вдруг
лепится звук:

«СТОЛ». «КНИГА». «КАМЕНЬ».
Пустота
обретает границы,
сгущается, стягивается в предмет.

Есть смысл.
Страха нет.

Я подарю тебе все слова, которые знаю.
Ты никогда ничего не испугаешься, сын.

НОЧНОЕ

Тишина ночная? А как это?
Хит-парад —
и когда придет
без слов понятное завтра?

Из фамилии Сартр
вываливается соц-арт,
вылупляется сад,
от него — о Боже! —
рукой подать до театра.

Люди спят, а слова
строим выходят в темь,
маршируют, свободные от
повседневных нужд и обличий.
Обнимают друг друга в слезах,
вперед, кашалот, идиот,
и стремятся слиться
восемь и озимь
с упрямством бычьим.

Прекратить бы бардак,
множить слова перестать,
меньше их, мой друг,
молчание — благодать,
но ведь даже отдельные эр и дэ
создают трансформер!
Как теперь их лишить
законного права на звук,
если они друг друга
буквально с рук
общими смыслами кормят?

Оголенные корни виснут.
Мечта носителя языка —
дожить до утра,
не утратив в засилье слов
несколько тощих фактов.
И снимает корону вдруг
солнцеликий Ра,
потому что в Красное море
выходит пустынный трактор.

...Много слов прочитала за ночь.
Многих знаний, увы, все нет.
Мир трещит и цокает.
Воздух исходит шумом.
Облегченье близко.
Вещает утро брегет.
И последним уходит со сцены
растерянный Монтесума.

* * *

Я справилась с собой и не хочу
ни памяти, ни веры, ни надежды.
Я так устала от любви к тебе.
Не сравнивай ни с чем, бывавшим прежде.
Ни капельке, ни сонному лучу
не жалуюсь. Прорехи на судьбе

латаю, будто перелицевать
достаточно, чтоб заново родиться.
Я не хочу назад. Ты мне тяжел.
Ну отпусти диковинную птицу
в родные джунгли. Ей бы полетать,
в чащобе отыскать дуплистый ствол

и спрятаться... Но за твоей спиной
твердеет мгла — и разрастется скоро.
И я останусь: воздуха глотком,
удачей, радостью, земной опорой.
Снопом огня. Преградой водяной.
Стеною древней в воздухе пустом...

* * *

Несу в себе твою любовь,
и я уже не я,
не человек — твоя любовь,
меня как будто нет.

Во мне ворочается зверь,
не видимый никем.
Его погладить я не дам
и кличку не скажу.

* * *

Бывали дни: разъединенье наше
я ощущала, как сквозную рану.
Уж больше года, как мне жизнью стало
предвосхищать раздумия твои,
угадывать печаль или веселье.

Еще бывало: я совсем спокойна,
как будто не любила никогда,
и вдруг рождается такая тяга —
притронуться, задеть плечом, обнять...

В один прекрасный день
я научилась пребывать одна
в душе и теле, тесном для двоих.

и как легко дышать
и как ненужно

* * *

Улавливать минутные обрывки
случайных мыслей, неумелых чувств.
Внутри себя из немудрящей чуши
выстраивать сверкающий чертог.

Работай, память, — только ты способна
вернуть утраченное чувство жизни,
внушить надежду, выполнить желание,
нестрашным показать грядущий день...

Обрадуюсь, развеселюсь, воскресну,
ударюсь оземь, больно треснусь лбом,
придумав тысячу обличий новых,
их тысячью оттенков расцветчу.

SOMEWHERE IN NEVERWORLD

Н. Г.

Где-нибудь в мире, которого нет,
смелые ивы, крылатые пони,
рыб и медуз бесконечный балет —
лица смеются, раскрыты ладони.

В дальнем нигде пребывают на грани
кактусы, вязы, секвойи, герани.

Воздух сверкает, горит водопад,
плавная речь истекает огнями,
ночи становятся нежными днями,
теплые звуки доносит пассат.

Зверя погладь или птицу лови —
сколько неведомых видов любви:

робкой и дерзостной, светлой и страстной,
насмёрть сжигающей и безопасной,
жертвенной, чистой, хитрой, простой,
необитаемой и обжитой...

Не уменьшается ассортимент
где-нибудь в мире, которого нет.

Нам выпадает счастливый билет —
мы уже в мире, которого нет.

Где-нибудь здесь, в небывалом нигде,
множится множество чувств и открытий,
ткуются, струятся прозрачные нити,
шар образующие в пустоте.

Вневременное нигде никогда
не изменяется, верно убранство
замыслу первому. Здесь постоянство
мерой миров сохраняет вода.

Кружится музыка, вальс замирает,
душу все глубже в себя забирает,

и, в мироздании тихо кружа,
злую отдельность теряет душа...

ПАМЯТИ ИННЫ ФРЕЙДЛИНОЙ

Первый день без тебя был совсем по-особому светел,
после стольких недель затяжных невеселых дождей.
А закат был воздушной мистерией в солнечном свете.
Ты его наблюдала с высоких твоих этажей?

Ты была так щедра, что уход не меняет условия:
все, что дорого нам, навсегда остается при нас.
Это место не пусто — заполнено нашей любовью.
Только рук твоих больше не будет, и смеха, и глаз.

Ты ушла, мы остались, но мы и по смерти едины,
нам ли сетовать, мол, слишком рано положен предел.
И любимые люди, как белые, белые льдины,
уплывают, сверкая, покачиваясь на воде.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

ВОИН СВЕТА

Проза поэта

...Ветер ли свежий с востока ночью, во тьме, из глуби времени и пространства, разъятого, для кого-то, и собранного мгновенно в единый, предельно сжатый, энергетический сгусток, распахнутого, на север, на запад, на юг, на восток, и вытянутого зачем-то, как мост, посреди вселенской, в движении вечном, жизни, для памяти и для речи, для новой, желанной встречи, сюда, в укрое киммерийский, в мой дом и в сон мой тревожный, где вновь чередой видений томило меня былое мое, налетел внезапно, ворвался с вестью о чем-то далеком и незабвенном, или что-то еще случилось в мире нашем, право, не знаю, трудно сразу понять и тем более трудно сразу об этом сказать, — да только с утра лежали на влажной земле, на садовых дорожках, и на ступеньках крыльца, и у двери входной, не шурша еще под ногами, под ледком еще не хрустя, раскаленные, жаркие груды воспаленных, иссиза-алых листьев дикого винограда, над которыми сызнава пели, бормотали, меланхолично и тихонько что-то играли, так прощально и грустно звучали посреди осенней, с избытком чувств, и дум, и надежд, поры, в удивленно-прохладном, чутком к звукам этим, густеющем воздухе, отрешенно-звонящие струны устремленных вперед и ввысь, по привычке давней, упругих, оголенных, устало вздыхающих, о какой-то потере скорбящих и упрямую веру таящих в предстоящее с новой весною возрождение, цепких, выносливых, вдохновенно, в любую погоду, сквозь преграды вьющихся лоз...

Игорь Ворошилов, человек исключительно своеобразный, а вернее, и это правда, уникальный, такой, каких днем с огнем не сыщешь в разброде все неожиданно переиначившего и смешавшего нашего нынешнего междувременья, за которым вижу я, отшельник давнишний, отрешенные от всего, что душа их не принимает, понимания, просто внимания терпеливо, устало ждущие, за чертою смуты бредущие к эмпириям своим наивным, огорченные, гордые тени драгоценных моих товарищей по сражениям лет

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

былых, тоже друг мой, причем настоящий, периодически, чаще ли, реже ли, но неизменно появлялся на горизонте.

Некоторые из прежних, памятных мне доселе, стремительных ворошиловских появлений, порой спонтанных, но всегда для меня желанных, поневоле хотелось сравнить с прохождением непредвиденным поистине беззаконной, как Пушкин заметил, кометы или падением, с высей вселенских, в земную действительность, крупного метеорита.

Но такое, из ряда вон выходящее, по причинам, не всегда, не для всех, объяснимым, случалось не так уж и часто.

В большинстве — старшинстве — случаев появление друга Игоря скорее напоминало, да, со всеми приметам зримыми и догадками всеми незримыми, с удивительной схожестью внешней с конкретным оригиналом, с методичностью завораживающей, ритуальной, олицетворяло какое-нибудь одно из четырех времен года, удачного или до крайности неудачного, в зависимости от его, Игорева, настроения и состояния данного светлой, мятежной, мятущейся, крылатой его души.

Еще совсем ведь недавно, в прежней моей квартире, он подолгу жил у меня, помногу, в охотку, работал.

Сутками напролет вели мы с ним по традиции, сложившейся как-то сразу и принятой нами обоими как нечто закономерное, перемежающиеся с трудами, его, живописными, и моими, со словом связанными, бесконечные, словно молодость, беспредельные, словно свет, безграничные, словно мир, доверительные беседы.

Теперь обстоятельства — надо же! — негаданно изменились.

Ночлег у меня, куда надежнее, чем у других, больше не мог для него быть по возможности длительным, с наличием благ минимальных для жизни, столичным пристанищем.

В подмосковных Белых Столбах, где, так уж вышло, имелась у него захудалая комната, было ему находиться, в одиночестве затянувшимся, и в прежнее-то, посветлее, потому что моложе был, время, невыразимо тошно, а с годами, с их опытом горьким, с каждым прожитым без его любимой, желанной, единственной, без Миры, слишком далекой, живущей отнюдь не в столице, а в провинции, на Урале, напряженным, сумбурным, тяжким, в ожидании счастья растроченным, канувшим в прорву бездонную, только чаем и сохраняемым, только творчеством и озаряемым, годом — еще тошнее.

Он маялся там, на отшибе, один, почти что в глуши.

Его то и дело тянуло к людям, в их гущу, где было главное, то есть — общение. Какая-никакая, а среда!

Он кочевал. Приезжал в Москву, бродил по знакомым.

И мне, признаться, его так порою недоставало!

Вижу его в отдалении, высокого, высоченного, выше многих вокруг, нескладного, сутулящегося, словно стесняющегося нежданного своего появления на людях, но в то же время и полного духовных сил и физических, врожденных сил, от природы, значительного в движениях и жестах, с великолепной головой мыслителя, странника очарованного, и воина, с взлохмаченной, тронутой проседью, шевелюрой, с резко, решительно и смущенно вперед выдающимся, слегка искривленным, несколько карикатурным носом — этаким хоботком смешным добродушного зверя, с полураскрытыми, детскими, шевелящимися губами и подбородком, упрямым, твердым, вдруг придающим притягательное обаяние узкому, со щеками, наспех выбритыми, лицу, из глубины которого, таинственной, недоступной для многих непосвященных, сияют умные, зоркие, пронзительные глаза.

То ли сказочный витязь, отважный, в мир на подвиги славные вышедший и застывший вдруг на распутье, то ли большой ребенок, волею судеб заброшенный в совершенно чужой, огромный, хаотичный столичный город, ужасающий, но и властно, беспощадно, неумолимо, так, что лишь вздохнуть остается да шагнуть в эту прорву хищную, притягивающий к себе.

А вернее всего, пожалуй, так: художник от Бога, призванный в мир для того, чтобы в нем, трудясь неустанно, созидать, а не разрушать.

Изобретатель, а не приобретатель, — по формуле горячо любимого им Хлебникова, делившего человечество на эти две категории.

Мазила.

К тому же — верзила.

С виду — ну впрямь грозила.

Застенчивый и неловкий, но рвущийся в бой дерзила.

«Да, я мазила», — писал когда-то, в пылу вдохновенном, в сиянии неизменном правоты высокой своей, словно странник, дервиш, мудрец на пути, ведущем к прозрениям небывалым, с вершины духовной. Ворошилов своим родителям, тревожившимся за судьбу непутевого, хоть и талантами с детских лет поражавшего всех, непохожего на других, понормальней, попроще, людей, в рядовые каноны и русла не вмещающегося, хоть тресни, озадачивающего многих, огорчающего поневоле их, отца и мать, продолжающих тем не менее твердо верить в то, что все еще образуется, что, даст Бог, дождетя он в будущем изменений к лучшему в жизни, встанет на ноги, образумится, заведет, возможно, семью, словом, все оправдает надежды наконец, горячо любимого, но такого, каков уж есть, что поделаешь с ним, такой уродился, видать, их сына, — но вы должны знать, что этот мазила — один из лучших мазил России.

Старое, тесноватое, задрипанное пальто с протертыми, коротковатыми рукавами, мятые брюки с разноцветными пятнами красок, дешевые, вдрызг разношенные ботинки, рубашка линялая, мешковатый пиджак или свитер — одежда его привычная, не стоящая внимания лишнего, слишком условная оболочка, из-под которой иногда, всегда непредвиденно, заставая врасплох окружающих, вдруг взмывал, на глазах у всех, поражая, обескураживая даже виды выдавших людей, устремляясь куда-то ввысь, в небеса, ну а может, и дальше, в глубь вселенной, к мирам неведомым, к озарениям, прозрениям, чаяниям, к измерениям неземным, некий плотный, жаркий, светящийся луч ли, столб ли, — столько могучей, первозданной, светлой энергии там таилось, где-то под спудом, не понять ничего, и все тут, не проникнуть туда, внутри.

Самим собою — и только самим собою, подчеркнуто, мол, как же еще иначе, по-другому ведь быть не может, человек, да еще и художник, должен быть лишь самим собою, и никем иным, это важно, это главное, это правило непреложное, это закон, так уж в мире заведено испокон веков, — оставался он везде и всегда, в любой ситуации, самой ли сложной или так себе, пустяковой, жил, не просто существовал, рефлексирова, прозябая, в нищете хронической, где-то на отшибе, вне досяганья, в глухомани, да и в столице, в суете, в пестроте повседневной, в тесноте бытовой, коммунальной, в толчее вагонной, вокзальной, в темноте мастерских подвальной, в пустоте окраин печальной, там, где снег заметал повальным все пути, или дождь прощальный шел всю ночь до утра, — он жил, сам по себе, независимый от обстоятельств житейских, невеселых, а то и плачевных, и трагических, зачастую, то на чем-то сосредоточенный сокровенном, ушедший вглубь, в лабиринты своей метафизики, в измеренья своей

мистичности, ввысь, к истокам своим ведическим, то внезапно, разом встряхнувшись и опомнившись, распрямляющийся в непредвиденном и стремительном, по чутью, по наитью, порыве.

По-журавлиному как-то голенастый и длинноногий, с могучей грудной клеткой, в отрочестве и в юности хороший спортсмен — пловец, бегун, конькобежец и лыжник, неутомимый ходок, бездомничая, неделями бродил он по всей Москве, по причине слишком знакомого, постоянного до безобразия, опостылевшего вконец, но куда от него деваться, да и как, отсутствия денег, не имея возможности ехать, хоть куда-нибудь, к цели смутной, на транспорте городском, просто шел себе, да и все тут, в направлении нужном, пешком, и даже из Подмоскovie добирался, бывало, в столицу вовсе не на электричке, но терпеливо, привычно вышагивал, в одиночестве, в любую погоду, и в пору года любую, десятки, а общей сложности сотни и тысячи километров, о чем-то своем размышляя, вдоль тянувшихся в пространство, сквозь время его земное, железнодорожных путей.

Постоянно недоедавший, при случае подходящем, разом, обычно, впрок, наверстывал он упущенное.

Способен был выпить чуть ли не ведро спиртного, любой, даже самой высокой, крепости, при этом всегда поминая выразительным, добрым словом своего былинного деда, выпивавшего регулярно, по семейным преданиям, добрую четверть водки — а ну-ка представьте эту емкость себе — за обедом, а потом с удвоенным рвением приступавшего к разнообразным хозяйственным, благо вдосталь их, как известно, бывало, работам.

Если уж он рисовал, если уж он дорывался до любимейшего занятия своего, до темперных красок, акварели, гуаши, угля, сангины, карандашей, восковых мелков или туши, до всего, чем способен был он заполнять пустую дотоле поверхность кусков оргалита, картонок, фанерок, листов бумаги, дощечек, холстов, то происходило это на едином, невообразимо долгим, таком, что и сравнивать не с чем его, дыхании, без малейших, вполне естественных, для любого другого, только не для него, находящегося в творческом трансе, признаков усталости и без всяких, даже крохотных, перерывов, покуда длилось и властвовало над ним, над его душою, нужное, с ритмами, важными для созданий его, состояние, — и количество сделанных им работ, изумлявших свидетелей ворошиловского рисования, учету не поддавалось, и свет их, и дух высокий очевидными были для всех.

Именно так работал он, бывало, в давние годы, у меня в квартире, под музыку Моцарта или Баха, держа на коленях картонку или бумажный лист с подложенной под него какой-нибудь твердой основой.

Еще в такую далекую пору, что диву даешься теперь, в совершенно другую эпоху, в новом столетии, как и в самом деле давно это было, хотя никуда не ушло из души, из памяти, и уже никогда не уйдет, в шестидесятых, во время первого моего посещения Ворошилова в Белых Столбах, где в облупленном доме барачного типа была у него своя комната, нелюбимая, но, с натяжкой, да все же своя, собственная, то есть та, где прописан, чудом полученная однажды от Госфильмофонда, где работал он, по специальности вгиковской, киноведом, — еще тогда, в подмосковной круговерти снежной, которая за окном клубилась, поблизости, вечера, густея, темнея, когда посмотрел я едва ли сотую часть «картинок» ворошиловских, так называл их он, а вокруг меня

лежали, висели, стояли и валялись, на каждом шагу, где попало, бессчетными грудами, кипами и холмами прочие, удивительные, неожиданные, пока что не увиденные творения, так их лучше всего назвать, полагаю доселе, и я, пораженный всем, что предстало предо мною, с трудом, постепенно в себя приходил, а он стоял среди этих сокровищ, долговязый, смущенный, радушный, радуясь, что пришлось по сердцу мне светоносные эти произведения, — понял я навсегда, что это великий художник.

Что бы он и когда бы ни делал, за что бы ни брался, во всем, это сразу бросалось в глаза окружающим всем, был у него исполинский, и никак не иначе, дух, раблезианский размах.

С такой вот необычайной, одному ему только и свойственной широтой души и безмерной, необъятной творческой щедростью, с безудержностью в пристрастиях геркулесовых и запросах, с неистовой самоотдачей, он, такой уж, как есть, разумеется, не вписывался ни в какие общепринятые, стандартные рамки — и для обитателей московских квартир и приятельских, большей частью подвальных, прокуренных, тесноватых, сырых мастерских то и дело бывал непонятен, а нередко и неудобен.

При необходимости, ежели случай такой выдавался, для некоторых, не знавших толком его, неожиданно, поражая их, этих некоторых, озадачивая, восхищая, обнаруживал он обширные познания в философии, истории, литературе, без музыки просто жить не мог, хорошо разбирался в учениях эзотерических, историю мировой живописи превосходно знал, — и, в противовес премудростям этим, живо интересовался политикой, вообще абсолютно всем, что происходит в мире окружающем, регулярно газету «Советский спорт» читал, внимательно, пристально, за ходом соревнований, решительно всех, следя.

Общий язык находил и с интеллектуалами, и с похмельными горемыками у пивной окраинной или в магазинных, километровых, с нервотрепкой, очередях за желанной выпивкой, — был в высшей степени демократичен.

Этот крупный во всем, природой, так считали друзья, рассчитанный на столетие, человек тратил себя, стремительно, буйно и неудержимо, ежедневно и ежечасно, как сроду никто себя не тратил из окружающих.

Он точно ежемгновенно и обостренно-чутко прислушивался к различаемым только им самим, и никем другим, особенным ритмам бытия — и жил, в этих ритмах находя отраду и волю, широко, размашисто, щедро.

Вырос он в Алапаевске, городе, исторически связанном с царской семьей, в семье по-советски униженных, гонимых спецпереселенцев, сорванных с места, высланных, неизвестно зачем, с Кубани — в глухомань, далеко на Урал.

Род свой вел Ворошилов — от запорожских казаков.

Правильная, сечевая, на украинский лад, скифской древности отзвук хранящая, степовая его фамилия должна бы писаться правильно, по традиции, — Ворошило.

Но фамилию, по привычке государственной, неистребимой, как это сплошь и рядом делалось, начиная с Екатерины Второй, и продолжалось, при прочих царях, чиновничьи крысы, дабы вытравить память о Славии запорожской, о силе ее, о славе прежней, о духе воинском, умело русифицировали.

При советской власти, когда все поставлено было с ног на голову, половину кубанцев сознательно записали, конечно же, русскими, а другую их половину — разумеется, украинцами, чем внесли немалую путаницу в само понятие этого древнего, монолитного, единого, на протяжении озаренных служением родине тысячелетий, народа.

Ведь казаки — вовсе не воинское сословие, а народ.

Один из вполне легендарных ворошиловских славных дедов носил фамилию птичьую, щебечущую, — Горобец. По-украински так называется именно птица, известная всем, — воробей. Можно себе представить этого двухметрового, наделенного богатырским, отменным, железным здоровьем и к тому же еще обладавшего просто чудовищной силой и редкой работоспособностью, былинного предка Игорева, человечища-«воробья».

В древнем роду ворошиловском, по отцовской и по материнской линии, было немало таких вот, дюжих и рослых, полных сил, крутых мужиков.

Запорожцы, уж так повелось, да и все вообще казаки, испокон веков, искони — прирожденные воины. Кшатрии.

Вот и мой друг Ворошилов был прирожденным воителем.

По природе своей. По крови. По рождению. Вечным воином.

Нелепым всяким историям, перед которыми сразу же тускнеет и попросту меркнет прославленный повсеместно и многими почитаемый доселе театр абсурда, начало свое берущий не где-то на стороне, в чужих, зарубежных краях, а в пьесах нашего Чехова, комическим происшествиям, таким, что и в самом деле не хочешь, да обхохочешься и вспомнишь в первую очередь не кого-нибудь там, а Гоголя, событиям драматическим, из тех, что, уж так положено у нас на Руси давно уже, за версту отдают Достоевским, и даже вполне трагическим событиям, за которыми встает едва различимая, но явная тень Шекспира, сопутствовавшим Ворошилову постоянно, в любые годы жизни бурной его, недолгой, к сожалению, — несть числа.

Их он словно упрямо притягивал, отовсюду, где бы хоть раз он случайно ни появлялся, где бы ни обитал, — к себе.

Так, наверное, на войне — вызывают огонь на себя.

Пару забавных случаев — пусть звучит по-одесски это, ничего, — нынче можно, пожалуй, вам, читатели, рассказать.

Как-то бродили мы с Игорем в Сокольниках. В тех Сокольниках, где блистательный Толя Зверев, работавший там не кем-нибудь, а, представьте себе, маляром, когда-то, в пятидесятых, за неимением нужных для него холстов и картонов, на природе, среди шелеста лиственного и веселого щебета птичьего, писал, на газетах прямо, на «Правде», «Советской культуре», «Известиях» и «Вечорке», маслом, свои этюды, на которых деревья окрестные хоровод с облаками водили, было небо хмельным немного, в доску пьяной была трава, поднимались цветы войсками зазеркальных, сказочных стран, пребывав в измерении странном весь подлунный, подсолнечный мир, белый свет был еще дороже, чем в его довоенном детстве, каждый взгляд был еще пронзительнее, чем вчера, и каждый мазок был еще точнее, чем прежде, и всегда устремлялся в завтра, чтобы завтра уйти в послезавтра, и так далее, в яром азарте, вдохновении, взлете, трансе, — в тех Сокольниках, где однажды заприметил его случайно там гулявший один человек, по фамилии Румнев, и сразу же изумился, увидев здесь, в старом парке, среди природы среднерусской, перед собою, неустанно производящего несравненную, дикую, дивную, фантастическую, поющую, небывалую просто живопись, натурального русского гения, и немедленно с ним познакомился, и повел его тут же к Фальку, и прославленный мастер, узрев произведения зверевские, сказал, что такие художники рождаются раз в столетие.

Стоял июнь. Было в мире не то чтобы очень жарко, но достаточно все же тепло для того, чтобы нам обоим очень уж захотелось выпить пива, именно пива, холодненького,

шипучего, по возможности, если выйдет, если вдруг пофартит, — побольше. Возможности наши были тогда, увы, ограниченными. Однако на несколько кружек желанного, даже в мыслях восхитительно пузырящегося, светло-желтого, легкого, жажду летом лучше всего утоляющего, пенистого напитка некоторое количество денег, немного бумажных и в основном, конечно, разнообразной мелочи, мы все-таки наскребли.

Ну а поскольку скромные, но очевидные средства были, как говорится, налицо и нам оставалось истратить их по назначению, то мы, разумеется, тут же, вдохновленные предвкушением удовольствия, незамедлительно, собрались, быстро вышли из дому — и двинулись вместе в поход.

От моего тогдашнего дома, недавно построенного и заселенного нами, жильцами, тоже недавно, менее года назад, нового дома, кирпичного, буровато-желтого цвета, говорившего мне всегда о присутствии осени в мире, даже летом, даже весной, ну и, само собою, зимой, когда среди снежной, завихряющейся белизны, морозной, вьюжной, холодной, напоминал он мне о желтой листве осенней, со всеми ее оттенками, — дома, гнезда богемного, приюта для сонма знакомых моих, на улице, ставшей весьма популярной в Москве, улице шумной, проезжей, названной в честь неизвестного нам Бориса Галушкина, до Сокольнического, манящего нас к себе, огромного парка, было рукой подать.

Следовало пройти пешком по знакомой нам улице в сторону, противоположную помпезной ВДНХ, или проехать несколько совсем коротеньких, быстро сменяющихся остановок на красном — «трамвайная вишенка страшной поры» — трамвае, пересесть свободно раскинутый над пространством, изрезанным грубо, широко, на глазок, размашисто, вкривь и вкось, поперек и вдаль, разветвляющимися, змеящимися, норовящими убежать неизвестно куда и тут же возвратиться скорей обратно железнодорожными рельсами, и мазутом щедро пропитанным, и щебенкой засыпанным впрок, боковыми юркими тропками, как морщинами, изборожденным и забытым внизу почему-то, как ненужное нечто, мост, под которым со свистом и грохотом проносились зеленые пригородные электрички, свернуть направо — и вот она, в меру запущенная и не в меру для нас притягательная, вся, как есть, с листвою и мусором, с прохожими одиночными и с группами подгулявших окрестных людей, окраина парка, лесного массива, озона сплошного, приволья на столичной глинистой почве, чего-то вроде понятного, но такого, что сразу не выразить, словом, некоего прорыва из жары в прохладу блаженную, на две трети воображаемую и на треть отчасти похожую то ли вправду на явь неведомую, то ли, может, все же на сон.

Поездку на быстром трамвае, ради более чем серьезной экономии нашей наличности, мы, подумав, сразу отвергли.

Мы шли вдоль трамвайных рельсов, быстрым шагом, вдвоем, пешком — и так вот, по давней привычке, как два пешехода заядлых, незаметно, за разговором, прошли всю короткую улицу, заросшую, вдоль дороги, не просто слишком высокими, по прямотаки гигантскими, разносящими щедро по всей, ошалевшей слегка от сплошной круговерти белой, округе свой обильный, всепроникающий и, похоже, вселенский пух, светлокорыми, слишком широкими, рук вдвоем не сцепить, в обхвате, примечательными своими необъятными, слишком свободно и уверенно расположенными в городском, расписанном кем-то по минутам, не по часам, подневольном, имперском времени и предписанном властью пространстве, доселе могучими кронами, старыми тополями, ряды которых, редея, устало чередовались с приземистыми шеренгами облупленных низких бараков, уже теснимых упорно и плотно к ним подступающими,

одновременно, со всех четырех сторон, угрожающими оттеснить их совсем отсюда в никуда, навсегда, новостройками, потом поднялись на мост, прошли по нему, спустились вниз — и вмиг оказались в запущенной, густо заросшей стоящими не почти вплотную, но с перебором, так, что плотней не бывает, друг к другу, сосед к соседу, вид к виду, порода к породе, стеною сплошной, деревьями и сроду никем никогда издревле не подрезаемыми, косноязычными, праздными, языческими кустами, полной свежей, приятной, ласкающей глаз, расплеснутой всюду зелени и птичьего дружного пения, части парка, больше, пожалуй, напоминавшей лиственный, полноценный, таинственный лес.

Да это и был ведь самый что ни на есть настоящий, довольно большой, просторный, нешуточный, словом, лес.

Иногда деревья слегка расступались, и в этих проемах обнаруживались залитые солнечным светом поляны, до такой одуряющей степени и с восторгом таким непомерным, ошалело, в геометрической, разрастающейся прогрессии, как пришлось, охотно заросшие густейшей зеленой травой, что в ней только чудом, случайно можно было вдруг обнаружить разомлевшие и покрасневшие, раскаленные на солнцепеке тела позабывших здесь о приличиях и порядках, доверившихся покою, пускай не совсем надежному, но все же вполне заслуженному, и воле, пусть относительной, но все же вполне доступной, загорающих москвичей.

Мы с Ворошиловым шли напрямик, достаточно быстро, постепенно, интуитивно все ускоряя шаг, шли — к цели своей, к тем заманчивым и зовущим к себе местам, где в Сокольниках, на приволье, вот ведь как, торговали пивом, шли иногда по дорожкам, иногда — и через поляны, наискось, по петляющей в зарослях диагонали, пересекая эту, крайнюю, лесную, в достаточной степени дикую, территорию парка огромного, — и вскоре, с трудом немалым, но все-таки добрались до более окультуренных, с различными аттракционами, павильонами и ларьками, всем известных, вольготных, сокольнических, с птичьим щебетом, с шелестом лиственным, с небом синим над щедрою зеленью, над гульбою людскою, мест, — и в итоге благополучно, без особых в пути приключений, без ненужных недоразумений, оказались в одной из пивнушек.

Там, постояв поначалу, как и все сограждане, в очереди, получили мы наконец из натруженных красных рук пивной рыхловатой тетки, по привычке неистребимой и корыстной к тому же, небрежно, мол, и так сойдет, ничего, все допьете, до самого доньшка, ею налитые на глазок и дополненные художественно пузырящимися, на показ, да и только, громадными шапками скользкой, схожею с мыльной, пены свои, не очень-то чистые, полулитровые кружки, по четыре кружки на брата, потом отыскали себе местечко довольно удобное с краю, поближе к зелени, к природе желанной, устроились за столиком — и принялись утолять наконец-то жажду.

Первую кружку выпили мы залпом — в награду за пройденный нами, целенаправленно и довольно быстро, немалый, в несколько километров, по улицам, по жаре, сквозь гущу Сокольников, путь, скорее даже, и в этом свой резон есть, — за маршбросок по пересеченной местности.

Вторую кружку мы выпили тоже довольно быстро, вслед за первой, вдогонку, чтобы закрепить ощущение временной, но зато и приятной свежести, с натяжкой — даже прохлады, сопутствовавшее всегда самому понятию — пиво.

Жажда, казалось бы, — так ли? — частично, пусть и частично, что, в общем-то, хорошо, нормально, по нашим понятиям тогдашним, по нашим правилам давнишним, была — ну, пусть, поверим в это, на время, вообразим себе, что это именно так, что все в ажуре, в порядке полном, — утолена.

У нас оставалось еще по две, всего-то, кружки.

Денег больше — у нас обоих — не было. Ни копейки.

Приходилось нам проявлять выдержку — и растягивать мнимое удовольствие.

Мы закурили. Я — сигарету, привычную, в молодости, в красной пачке, без фильтра, «Приму». Ворошилов — свою папиросу, извлеченную им из растерзанной, смятой пачки, дешевый «Север».

Мы поглядывали вокруг — и почти ничего друг другу, что случилось, хоть и нечестно, почему-то не говорили.

Надо прямо заметить, без всяких околичностей и недомолвок, — никакого комфорта мы здесь, в пивнушке, вовсе не чувствовали.

Ну, добрались до пива. Делов-то! Подумаешь, невидаль!

Ну, сидим в захудалом, пропахшем кислым запахом, то ли пивным, то ли, может, еще каким, все бывает ведь, заведении. Народу в нем — предостаточно. С избытком. Полным-полно. Шум, непрерывный, всеобщий. Сплошной, неумолчный гвалт. Гогот какой-то, хохот. Крики, призывы, смех. Чья-то в зачатке драка. Чьи-то в итоге слезы. В общем, подобье мрака. Бред и разброд — сквозь грезы. Шаткий, немислимо грязный столик, с которого тихая, пьяненькая уборщица с грохотом собирает пустые кружки, который, больше для виду, изредка, нехотя протирает подозрительно серой, сырой, вонючей, мохрящейся тряпкой.

А уюта — нет и в помине.

И покой — он-то напрочь отсутствует.

К тому же, количество пива в наших кружках, — пусть и сознательно, от безвыходности, скорее, от нелепейшей безысходности, что маячила впереди, что сжимала сердце в груди, отпивали его мы крохотными глотками, — все уменьшалось.

Глоток за глотком, слово за слово, за минутой минута — и вот он, пожалуйста, грустный итог похода нашего: пиво уже, незаметно как-то, но тем не менее выпито.

Надеяться на продолжение, наверное, слишком наивно понимаемого тогда нами летнего долгого пиршества было нечего. Да, надеяться было нечего. Да и не на кого.

На какие шиши, скажите, нам сейчас его продолжать?

Оставалось одно лишь действие, вынужденное, реальное, драматическое, эпохальное, — плестись восвоися обратно.

Что и пришлось нам сделать.

Эх, частенько такое бывало!

Не успеешь порой и во вкус войти, как тут же приходится приятное для души занятие прерывать.

А все — по простейшей причине: из-за отсутствия средств.

Солнышко, для кого-то, может быть, и веселое, но уж точно, что не для нас, горе-мычных друзей, пригревало.

Мы, смилив себя, возвращались, из пивнушки, с ее толкотней, из приволья, из шепота птичьего, из веселого шелеста лиственного, из лесного зеленого мира, обратно, в мою квартиру.

Там, глядишь, что-нибудь толковое, может, к вечеру и придумаем.

Вдруг зайдет кто-нибудь из моих многочисленных, несть им числа, это верно, столичных знакомых да еще и предложит выпить вместе с ним, в охотку, пивка, ну а может быть, и не только, почему бы и нет, пивка, а чего-нибудь и покрепче.

Казак — он всегда в седле.

В бедах — не унывает.

Правда — есть на земле.

Всякое ведь бывает.

Вот мы и шли с Ворошиловым, сокращая свой путь, срезая все углы, приминая траву зеленую на полянах, огорченно шурша подошвами по дорожкам разнообразным, шли — с обидою на действительность, на житуху нашу нескладную, вот уж точно, практически нищую: ну скажите нам, почему же никогда не выходит так, чтобы хоть единственный раз двум друзьям отдохнуть спокойно, — сплошь и рядом что-нибудь этому, с изуверством настырным, что ли, с подковыркою ли какою подозрительной, да мешает, все мешает, и это тянется, шлейфом долгим, длиннее некуда, мы-то знаем, из года в год, и конца и краю вот этому безобразию натуральному не предвидится, да, похоже, не предвидится никогда.

С каждым пройденным метром по местности густолиственной, пересеченной, с каждым сделанным шагом по тропкам и дорожкам, с их пылью, камнями, с их песком, их глиной, корнями, вылезавшими узловатыми, шишковатыми, твердыми, прочными, как металл, сплетеньями дружными, то и дело, из-под земли, из-под сочной травы, наружу, может — просто погреться, на свет, ну а может быть, чтоб о них ненароком кому-то споткнуться, Ворошилов, глядя вперед, в никуда, или в дебри грядущего, настроения лучшего ждущего, в роли путника, вечно идущего да идущего, в поисках сущего, да, возможно, всякое грезилось на пути, все мрачнел и мрачнел.

Он уже не шел, как обычно, в нужном ритме, быстро, размашисто, а почти что по-стариковски, с напряжением, ковылял.

Он сутулился, втягивал голову, горделивую ранее, в плечи, отчего его крупный нос еще больше вперед выдавался и покачивался на ходу, как печальный, ненужный, лишний, озадаченный бестолковщиной и тщетой, вопросительный знак — мол, ну что это, братцы-кролики дорогие, за жизнь такая?

Жажда, обоими нами недавно, совсем недавно вроде бы, пусть и на время, но все-таки утоленная, ненадолго, понятное дело, снова томила нас.

Во рту было сухо. Так сухо, что сложно выразить это. Поймут ли нас? И хотелось просто-напросто пить.

Пива ли выпить, воды ли, с градусами ли, без градусов ли, влаги бы лишь — уже как-то, можно сказать, все равно.

Впереди блеснула полоска отчасти лесной, прохладной, зеленовато-бурой, отчасти пронзительно-синей, отражающей небо высокое с белыми, кучерявыми, плывущими преспокойно, куда-то к хорошей жизни, к обещанным светлым далям, редкими облаками, стоячей, тихой, нетронутой давно, зацветшей воды.

Мы подошли с Ворошиловым к мелкому, густо, старательно, до самых краев заросшему липкою тиной пруду.

Глядя на слабо, как в луже, хлюпающую внизу, рядом, почти под нашими ногами, такую блеклую, окраинную, захолустную, позабытую, позаброшенную, воду, в кото-

рой, как в зеркале, непротертом, довольно тусклом, заодно с деревьями ближними, отражались и мы, Ворошилов, поначалу меланхолично, а потом оживившись заметно, и даже с этаким пламенным, геройским, эпическим пафосом, произнес похвальное слово летнему, именно летнему, не бывает ведь лучше, купанию — и тут же, прямо по ходу своего монолога, вспомнил, как в отрочестве, на родине, в Алапаевске, на Урале, любил он, взяв камень побольше, чтобы раньше нужного времени не выплыть вдруг на поверхность, ходить преспокойно по дну речки, ходить и пугать плавающих девченок, иногда хватая их за ноги.

Ворошилов, припомнив прошлое, даже повеселел.

— Я здоровый тогда был, выносливый, не то что теперь, в Москве, при такой-то жизни сумбурной, такой был крепкий, поверь, что куда там, кремень, монолит, богатырь из былин, да и только! — сказал он мне, по привычке простирая длинную руку ввысь куда-то и вдаль, и при этом чуть покачивая головой.

Покосился вспыхнувшим глазом на меня и этак спокойно, скромно, просто совсем, прибавил:

— Под водой я мог находиться по четыре минуты. Запросто. Много раз. Много, много раз. Как в цыганской песне поется. И без всяких там перерывов. Набирал я побольше воздуха — а у нас был он чистый — в легкие — и нырял. А когда выныривал — воздух в легкие вновь набирал. И — нырял. Все нырял и нырял. Веселился. Всем весело было. Девки наши визжат оглушительно. Парни наши дружно смеются. Ну а я все ныряю себе — да выныриваю. Развлекаюсь. Между прочим, такие забавы — тоже спорт. Настоящий спорт. Я, возможно, был чемпионом. Все рекорды шутя побивал. По четыре минуты сидел под водой, даже больше сидел, ведь бывало, — и хоть бы что!..

Ворошилову я — не поверил:

— Брось, Игорь, шутки шутить. Четыре минуты! — да это ведь очень много, неслышанно много. Думай, что говоришь.

Ворошилов даже обиделся:

— Вот ей-богу, Володя, было, и не раз! По четыре минуты, ну чего там, подумаешь, невидаль, и поболее, до пяти, до пяти, и частенько, минут под водой, бывало, сидел! Жив, как видишь. Ты что, мне не веришь?

— Нет, конечно! — ответил я.

— Значит, вижу я, ты не веришь?

— Нет. А ты, вспоминая подвиги, те, былые, из мифов, из сказок, все же думай, что говоришь.

— Часы у тебя, Володя, есть? — спросил Ворошилов.

— Есть, конечно. Идут исправно. Вот они, посмотри, на руке, — показал я свои часы.

— Так. Идут. Все в порядке. Очень хорошо. Ну тогда — смотри!

Без всяческих лишних слов, не просто, как часто бывает с любимым из нас, очень быстро, а стремительно, по-спортивно, Ворошилов скинул с себя, раз — и все тут, рубашку и брюки.

Он стоял, по-бойцовски подтянутый, на берегу пруда, высоченный, как тополь, в длинных, сатиновых, так называемых «семейных» старых трусах, бывших когда-то черными, а теперь линялых и сморщенных, разминая широкие плечи, перебирая ногами, демонстрируя всем своим видом непривычным — готовность к бою.

— Я готов! — громко крикнул он мне. — Засакай, друг Володя, время!

И грузно, с разгону, плюхнулся в раздавшийся, охнувший пруд.

Зеленовато-бурая перепуганная вода расплескалась от неожиданного человеческого вторжения в тишину ее и сонливость, а потом с натугой сомкнулась, грязно-белой покрывшись пеной, закипев, над его головой.

Стоя на берегу, я смотрел на свои часы.
Одна минута прошла.
Другая прошла минута.
Третья минута прошла.
Секундная стрелка сделала еще один быстрый круг.
Четыре минуты. Четыре!
Ворошилова, занырнувшего в пруд сокольнический, все не было.
Я уже начинал беспокоиться.
Секунды бежали. Четыре с половиной минуты... Факт!

Ворошиловская голова, облепленная обильной, мокрой, бледно-зеленой ряской, с выпученными глазами, с плотно закрытым ртом, показалась, как в детских фильмах по мотивам народных сказок, на поверхности ошалевшего, потерявшего разом покой от Гераклова нового подвига, а вернее, Гераклова-Игорева, столь недавно еще безмятежного и в забвении пребывавшего, а теперь перемены почуявшего в горькой доле своей пруда.

Вынырнув, Игорь с шумом выдохнул воздух оставшийся, и новую порцию воздуха в легкие тут же набрал, и — задышал, всей грудью, задышал как ни в чем не бывало, не судорожно и не часто, а спокойно, вполне нормально, будто бы и не нырял, будто бы и не сидел под водой, в пруду, так долго.

— Ну что, старина, проверил? — крикнул он мне из пруда, стоя в воде по пояс и пробираясь к берегу.

— Проверил! — откликнулся я.

— Убедился? — уже патетически произнес он, глядя на мир, приоткрывший нежданно свои небывалые, новые грани, сквозь листву, и траву, и цветы, и беспечность летнего дня, и разливы теплого света, и ненужность мыслей недавних, с их тоской, для него, для воителя, состояний смурных победителя.

Я сказал:

— Убедился. Четыре с половиной минуты сидел ты под водой, вот в этом пруду. Странно даже. Действительно, странно.

— Что я слышу? Что значит — странно? — возмутился вдруг Ворошилов. — Вот нырнул. Привычное дело. Для меня. Для других — не знаю. Для меня-то — дело знакомое. Если хочешь — я повторю!

— Да ладно уж, вылезай! — сказал примирительно я.

Но Ворошилова что-то в тоне моем заело.

— Спорт есть спорт. Вот что важно. Для пущей убедительности — повторяю! — крикнул он. Развернулся — и тут же погрузился, по новой, в пруд.

— Сколько? — спросил он, вынырнув.

— Четыре минуты десять секунд! — ответил я. — Вылезай!

— Мало! Как я недотянул? — огорчился, ударив ладонью по воде в сердцах, Ворошилов. — Это не по-спортивному. А ну-ка еще разок занырни. Засекай время!

Развернулся — и снова нырнул.

— А теперь-то сколько? — азартно выкрикнул, вынырнув, он.

— Четыре минуты и...

— Ну, скажи!
— Тридцать пять секунд.
— Вот теперь-то гораздо лучше! — воспрянул в пруду Ворошилов. — Теперь выходит по-моему. Как в прежние времена. Эх, — вспенил он воду обеими руками, — есть еще порох в пороховницах! Есть!

Покуда Игорь нырял, а я, на часы поглядывая, засекал по-судейски время, на берегу пруда помаленьку, один за другим, собираться стали, все гуще, все активнее, все смелей, превращаясь в праздную стайку, любопытные, любознательные, так их лучше назвать мне, люди.

— Что тут, граждане, происходит? — проявил интерес умеренный к ворошиловскому нырянию пожилой гражданин, похоже, что из зощенковских рассказов на московскую почву пришедший, в мятой летней шляпе, которую то и дело снимал он, держа на весу ее и вытирая тоже мятым платком носовым потный, гладкий, мясистый затылок.

— Что-нибудь случилось, товарищи? — деловито и быстро спросил человек невзрачный с портфелем, в котором, судя по звуку, звякало что-то стеклянное.

— Эй, ребята! Что там такое? — подходя поближе, кричали парни крепкие, с виду — рабочие, подвыпившие слегка, гуляющие в Сокольниках в свой выходной день.

— Что такое там? Что стряслось? — раздавалось со всех сторон.

— Ничего здесь такого, граждане, вы поймите, все разом, особенного, необычного — не происходит! — успокоил я всех вопрошающих любопытных одновременно. — Просто-напросто друг мой показывает, что сидит он в пруду под водой по четыре минуты запросто, даже больше порой, по четыре с половиной, бывает и так.

Любопытные, любознательные — поначалу все озадачились.

А потом, прикинув и взвесив, по привычке, все «за» и «против», принялись, один за другим, критиканствуя, возмущаться:

— Ерунда!

— Чепуха!

— Вранье!

— Что за шутки?

— Так не бывает!

— Столько времени под водой просидеть нельзя! Невозможно!

— Не рассказывай, парень, сказки!

Тут Ворошилов обиделся.

— Как это — ерунда? Почему же это — вранье? Как это — так не бывает? — возопил он громко и гневно, разобидевшись, из пруда. — Как это — что за шутки? Почему — не рассказывай сказки? Вот он — я. И могу сидеть под водой четыре минуты. Даже больше могу сидеть. Понимаете? Значит — умею!

— Ты, парень, не заливай, — сказал ему гражданин в шляпе. — Дыхалки не хватит у тебя, чтобы столько сидеть под водой. Ты слышишь? Ды-хал-ки!

— Дыхалки-то у меня хватит! — грозно и весело ответил ему Ворошилов. — Спорим, что просижу под водой четыре минуты с какими-то там секундами? На бутылку портвейна — спорим?

— Идет! — согласился охотно гражданин в мятой летней шляпе. — А где тут портвейн продают? Сейчас ты за ним, за портвейном, и побежишь, весь мокрый. Не успеешь даже обсохнуть. Как миленький, побежишь!

— Портвейн, поясняю заранее, продают вон в том заведении, — указал Ворошилов перстом на синеющую за зеленью кустов и деревьев стенку павильона буквально

в минуте быстрой ходьбы отсюда, — а за портвейном, кстати, пойдете вы, а не я. Ну так что, действительно спорим?

— Я же сказал! — откликнулся гражданин в мятой летней шляпе.

— Тогда, — Ворошилов строго поглядел на меня, — Володя, засекай, пожалуйста, время! И вы, — обратился он к присутствующим, при этом сделав царственный жест рукою, будто бы одаряя их чем-то необычайным, — и вы, дорогие сограждане, засекайте, все вместе, время!

Игорь нырнул. И — вынырнул.

Посмотрел на меня вопросительно.

Я крикнул ему, показав на часы:

— Четыре минуты и тридцать семь секунд!

И тут же нестройным хором подтвердили это все зрители.

— Папаша, — тряхнул головой облепленной водной растительностью Игорь, — вы это слышали? Уговор наш остался в силе? Вы проспорили. Я победил. Посему — вперед! За портвейном!

— Это я мигом! — с готовностью откликнулся гражданин в шляпе. — Проспорил — куплю сейчас. А ты молодец!

— И не такое бывало! — скромно, куда уж скромнее, ответил ему Ворошилов.

Гражданин в шляпе ринулся к синему павильону — и через пару минут вернулся обратно с бутылкой портвейна в руке. Ворошилов, кряхтя, отряхиваясь от растительности липучей пресноводной, вылез на берег.

Чтоб kota за хвост не тянуть, поскорей открыли бутылку.

Нашелся, как по волшебству, и стакан. Он всегда, замечу, вовремя находился, да и в нужном, представьте, месте, в былые, с их героизмом и трагизмом их, да и с юмором несгибаемым, времена. Ворошилов, недолго думая, ополоснул его, на всякий случай, в пруду.

Мы втроем — Ворошилов, я и гражданин проспоривший в мятой летней шляпе, которого поощрить мы решили, — выпили.

Светлая птица удачи пролетела над нами тогда, приветливо, даже по-дружески, по-доброму как-то, взмахнув над нашими головами своими легкими крыльями.

Почему-то решительно всем собравшимся возле пруда гражданам вдруг захотелось, да так, что азарт всеобщий, собравшись в единый, жаркий сгусток энергетический, как молния шаровая, пронзил округу мгновенно, спорить с Игорем, спорить и спорить, на бутылку портвейна, конечно: просидит он четыре минуты или даже, может, поболее под водой, вот в этом пруду, — или все же не просидит?

Наверное, всем собравшимся хотелось еще, по причинам, понятно, различным, для каждого, — но прежде всего — в удовольствие, на природе, в Сокольниках — выпить.

А тут, как в сказке, — такой вполне подходящий повод!

Ворошилов уже вошел в ритм — и вошел в роль.

К тому же, выпив портвейна, почувствовал он себя в отличной спортивной форме.

Каждому гражданину он вкратце, весьма толково, чтобы сразу стало понятно, разъяснял, не ленясь, терпеливо, почему он сидит в пруду, и спорил, с каждым в отдельности, потом, на бутылку портвейна, что пробудет он под водой свои четыре минуты.

Граждане — разволновались. В раж незаметно вошли.

Спор — заводная штукавина.

Граждане спорили, спорили — и проигрывали, проигрывали.

Им оставалось только бежать в павильон за портвейном, покупать его — и возвращаться как можно скорее обратно.

Ворошилов, стоя в пруду, отпивал из каждой бутылки, понемногу, пару глотков, остальным делился со мной и с проигравшими гражданами.

Он был, великий ныряльщик, великодушен и щедр.

Он хлебал портвейн — и нырял, вдохновенно, уверенно, снова.

Вскоре берег пруда был густо, словно семечками, усеян любопытными современниками.

Пруд, в который Игорь нырял, окружали плотным кольцом бутылки портвейна, частично пустые, частично полные. Стеклянные их бока поблескивали на солнышке.

Ворошилов нырял — и выныривал.

И — выигрывал, выигрывал, выигрывал.

Всегообщее, бурное, праздничное народное ликование придавало ему, герою, победителю, новых сил.

Он обрел спортивную форму.

Он чувствовал нынче себя действительно молодцом.

Он не только жажду свою утолил, да с каким размахом, но в придачу к ней получил возможность реальную — выпить, разумеется — тоже с размахом, да еще и вместе с народом.

Ну и, само собой, это была — работа.

Да, такая вот, своеобразная, но — работа. Творческий труд.

И это все поголовно сограждане осознавали.

К тому же у всех сограждан, просто чудом, в кои-то веки, появилась такая хорошая, счастливейшая возможность: выпить — вместе, здесь, на природе, от души, в свое удовольствие, выпить — впрок, — да еще и присутствовать при таком необычном зрелище.

В тот день в павильоне сокольническом, синем, как небо высокое над столицей всею, над летнею бестолковщиной и суетой, продан был на корню весь имевшийся запас портвейна дешевого.

В тот день молва быстрокрылая о славном ныряльщике Игоре разнеслась по всем развеселым, для кого-то, для большинства, островком природы спасающим сердца и души Сокольникам.

В тот день Ворошилов негаданно, словно в сказке, вдруг оказался на вершине успеха спортивного и даже спортивной славы, а с нею и выпивонной, что тоже почетно, доблести.

Он и сам как следует выпил — и всех вокруг угостил.

И все, кого ни спроси, кого ни возьми, сограждане, современники наши, люди, это прежде всего, люди, собравшиеся могучею ратью возле пруда были ему благодарны — и за зрелище, и за выпивку.

И рекордом личным его стало, к восторгу всеобщему, пребывание под водой в течение четырех, для кого-то — слишком коротких, для кого-то — долгих, минут, и пятидесяти пяти чемпионских весомых секунд.

А потом, незаметно как-то, а для многих и неожиданно, потому что день был хорошим, а для многих и замечательным, наступил, изумив сограждан появлением своим негаданным на приволье, вот здесь, в Сокольниках, среди блаженства хмельного, вечер — и водные процедуры, сулившие прорву выпивки, Ворошилов, слегка уставший, решительно прекратил.

Он выбрался из пруда к ликующей, как на празднестве, случайном, почти волшебном, и никак не иначе, толпе, где шло уже поголовное, с восклицаниями невнятных, с объятиями, с заверениями в дружбе навеки, братание.

И мы с ним вдвоем, снабженные немалым запасом оставшегося, выигранного в спортивной упорной борьбе портвейна, побрели, напрямик, сквозь заросли, сквозь аллеи и тропы, в сторону моего, передышку сулящего и пристанище нужное, дома.

Там, в тиши, на седьмом этаже, в однокомнатном скромном раю квартиры моей, спасительной для меня и моих друзей, предстояло нам скоротать этот летний, просторный, благостный, с летящим по всей округе, сплошным, воздушным, сквозным, белеющим в темноте, залетающим в окна открытые, уносящимся в гулкую даль, тополиным вселенским пухом, вечер — после дневных, непредвиденных, непростых, спортивных, отчасти, в основном же почти мистических, но зато и славных, трудов.

И уже ближе к ночи, сидя у меня в квартире, на кухне и задумчиво попивая портвейн, богатырь Ворошилов порою грустнел и вздыхал — об одном лишь вздыхал, об одном — эх, ну надо же, не удалось ему дотянуть всего-то пяти каких-то секунд несчастных — до пяти минут, ровно пяти полноценных, желанных минут сидения под водой!

Вот когда был бы полный порядок!

Вот когда был бы точно — рекорд!

И его неумная сила клокотала и пела в нем.

И поглядывая на него, понимал я: и это он — может.

Не сейчас, поднабравшись портвейна, он способен на подвиг, на взрыв, на решительный, мощный выход всех его потаенных энергий в мир, наружу, на белый свет, а потом, как-нибудь потом, в нужный час, и пожалуй — вскоре, вдруг начнется, само по себе, как-то исподволь, из ничего появившись вроде бы, став — сразу всем, тем, в чем явь и правь заодно, просияв над землей и восстав сквозь сумрак и бред, словно луч, долгожданное чудо, и проявится эта сила — не в нырянии, нет, но — в творчестве.

Что в дальнейшем и подтверждалось — и не изредка вовсе, а многажды.

Доказательств чему — смотрите же — более чем достаточно.

То есть — работ ворошиловских.

И дыхания в них. И света.

И движения — вглубь и ввысь.

А однажды сидели мы с ним, как это слишком уж часто в прежние времена с нами бывало, в печали, а может быть, и в тоске, с нищетой накоротке, совершенно без средств, столь нужных людям для существования, — говоря простым языком, всем на свете сразу понятным, четким, жестким, суровым и внятным, — без единой копейки денег.

Было это, пожалуй, вскоре после истории с нырянием ворошиловским в сокольническом пруду.

Ну конечно, все тем же летом, в шестьдесят девятом году.

И пора была, разумеется, теплой. Пора — в преддверии городской, надолго, жары. Солнечная. Цветущая. С птичьими дружными песнями и зеленой, свежей, приветливой молодой окрестной листвой.

А мы в эту пору — томились. Оба. Просто не знали, куда нам себя девать. Нечего нынче скрывать. Не было в душах покоя. Бывало ведь и такое. И не такое бывало. И проходило помалу. Всякое с нами бывало. Может, облюбовала доля нелегкая нынешний, звоном трамваев пронизанный, словно красною нитью прошитый, стежками неровными, день? Куда в нем бред законный свою отбрасывал тень?

Ворошилов, сумрачный, тихий, осунувшийся, докуривал слежавшиеся остатки своего привычного «Севера».

Если так и дальше пойдет, если сложится все потом для него неудачно, то примется, огорчившись, надувшись, отыскивать свои же окурки в пепельнице — глядишь, и хватит еще на две или даже на три коротких, на нервах, затяжки.

Для поддержания духа, в горький час, у себя и у друга, включил я старый проигрыватель и поставил пластинку — цыганские, весь набор, с перебором, песни и романсы, любимые нами, — в исполнении заграничного, удалого, лихого, буйного, а ля рюс, отчасти, с акцентом, непонятно каким, с оркестром разухабистым, струны рвущим, разрывающим людям сердца во хмелю, в гульбе воспаряющим к небесам, всюду восхваляющим страстей роковые сплетения и глубины их океанские, на земных просторах широких, в измерениях зазеркальных и в таинственных звездных высях, певца Теодора Бикеля.

Эту пластинку странную, модную в нашей компании, слушали, под настроение, мы частенько, особенно — выпив.

Заезженная, затертая, она скрипела, шипела, — и голос певца иностранного с натугой, с трудом немалым, пропадая и возникая, прорывался сквозь скрип и шип.

Но на сей раз нам и цыганщина, понимал я, не помогала.

Уже на третьей, с призывами к неведомым далям, песне выключил я проигрыватель, снял пластинку, ненужной ставшую, молча сунул ее в конверт и поставил на полку, к прочим, тем, что были тогда у меня, пусть немногим и тоже заигранным, но зато и хорошим пластинкам, — не до музыки нам, — с глаз долой.

Ворошилов ходил по комнате — и о чем-то сосредоточенно, лоб наморщив и шевеля то и дело губами, думал.

Подошел он к двери балкона, открытой настежь с седьмого нашего этажа — куда-то туда, в простор, столичный, и подмосковный, а может быть, и вселенский, — и оттуда, из этого радостного, несмотря ни на что, простора, сюда, в эту комнату, к нам, долетал разгонистый, теплый, но все-таки хоть слегка освежающий, приносящий с собою некие смутные намеки на что-то хорошее, подбодрить нас, наверно, желающий, приветливый ветерок.

Стоял он в дверном проеме, сутулясь, пристально вглядываясь в одному ему только и видимую сейчас далекую точку, поверх кварталов жилых и зеленых вершин деревьев.

Потом, в неожиданно плавном развороте, всем корпусом, сразу, повернулся Игорь ко мне.

В глазах его, прояснившихся, загоревшихся жарким пламенем, с нахлынувшим вдохновением, прочитал я тогда — озарение.

— Старик! — сказал Ворошилов и перевел дыхание с шумом. — Володя! Друг!

— Что случилось? — поднял я взгляд на него. И понял: случилось.

— Я знаю, что делать! Знаю!

- Что ты знаешь?
- Все!
- А точнее?
- Знаю все! Сказать?
- Говори!
- Болшево! — произнес Ворошилов, как заклинание.
- Что — Болшево? Ну и что — Болшево? Почему?
- Болшево! — четко, торжественно сказал Ворошилов. — Бол-ше-во! И все тут.

И только Болшево.

И тогда я сказал:

— Поясни.

— Поясняю, — кивнул, в знак согласия, головой удалой Ворошилов. — Поясняю. Слушай внимательно. Мы поедем сегодня — в Болшево. Там — ты знаешь об этом — Дом творчества кинематографистов. И там-то — наверняка сейчас есть мои знакомые.

Я вначале насторожился, а потом кое-что припомнил.

В свое время Игорь с отличием, всем на радость, друзьям, и родителям, им гордившимся, и сокурсникам, среди которых был он звездой настоящей, окончил ВГИК, получил диплом киноведа, работал по специальности и многих советских киношников действительно хорошо и довольно давно уже, знал.

И немалое, даже внушительное, так точнее будет, число людей из этой среды относилось, по старой памяти, к Ворошилову с явной симпатией, и многие, по-человечески, даже любили его, а некоторые, их меньше было, но все-таки были такие энтузиасты, — и ценили его, по-своему, разумеется, как художника.

Ворошилов по-деловому, с каждым словом своим все более оживляясь и становясь, на глазах, героем, воителем, всяких недругов победителем, возвышаясь на фоне стен, что увешаны были его многочисленными картинками и работами наших общих с ним друзей, развивал свою мысль:

— Мы с тобой, Володя, поедем в стан киношников наших, в Болшево. И поэтому, друг, давай-ка собираться прямо сейчас. Время ранее. Утро. День — впереди. Цельный день, представляешь? Все успеем, всех повидаем. А пока что — давай отберем, поскорее, мои работы. Вон их сколько вокруг, навалом. И с меня не убудет. Потом нарисую еще, и получше. Мы поедем к знакомым киношникам. Им, собравшимся в месте одном, я продам, по дешевке, работы. Купят, я убежден. А потом — хорошенько выпьем с тобою. Понимаешь? Давай поедем. Прогуляемся. Говорят ведь, что прогулки, особенно загородные, людям очень даже полезны. А у нас, надеюсь, полезное сочетаться будет с приятным.

— Ну что же! — сказал я другу. — Все ясно. Мы едем в Болшево.

Мы с Игорем принялись просматривать вороха хранящихся у меня чудесных его рисунков.

Из этих залежей он, по чутью в основном, выбирал кое-какие вещи, иногда — набум, иногда — попридирчивее, постороже.

В итоге образовалась пачка работ изрядной, и на глаз, и на вес, толщины.

Отыскали старую папку большого формата, наспех сложили в нее рисунки, черно-белые и цветные.

Игорь сунул папку под мышку — и уже меня поторапливал:

— Собирайся скорей. Поедем!

— Потерпи, — сказал я ему, — есть тут одна идея.

Моя идея была до смешного простой, но и грустной, — оттого, что решил я расстаться с некоторыми книгами из своей небольшой, в ту пору, но зато хорошей, подобранной тщательно библиотеки.

Отбрал я довольно быстро несколько книг, интересных, но не первостепенной важности, и сложил их стопкою в сумку.

И мы с Ворошиловым, выбравшись из дому, двинулись в путь.

Покуда мы с другом Игорем добирались до электрички, я успел по дороге зайти в находящийся неподалеку и давно мне известный книжный магазин — и там, очень быстро, с собою взятые книги сдать, — причем их, при голоде книжном тогдашнем и при наличии великой любви всенародной к чтению, взяли мгновенно — и выдали незамедлительно мне деньги, некую сумму, небольшую, меньше, чем следовало, но для нас пока что достаточную, — и, выходя поспешно из книжного магазина, я видел, что книги, только что принесенные мною сюда, уже покупали какие-то интеллигентного вида, в очках, с портфелями, люди, — но мне, признаюсь вам, было некогда сожалеть об этом, — бог с ними, с книгами, когда-нибудь их куплю вновь, а жертвы порою нужны и даже полезны, так что все к лучшему, как говорится.

Затем я зашел в другой магазин, уже в продовольственный, и купил там бутылку водки, и в сумку ее положил, вместо сданных недавно книг, — и Ворошилов, увидев эту водку, «Московскую», кажется, посмотрел на меня одобрительно и выразительно крикнул.

В киоске табачном купил я курево: для себя «Приму» и «Север» для Игоря.

Мы на ходу закурили.

Станция электрички находилась неподалеку, в двадцати минутах, не больше, а то и поменьше ходьбы.

Принципиально я купил нам обоим билеты, хотя Ворошилов робко и пробовал возражать.

Но с билетами ехать — спокойнее, уж это всем вроде бы ясно.

Постояли мы на перроне, двое путников неумных.

Подошла — зеленою лентой сквозь шитье воздушное дня и небес в синеве, расплеснутой вкривь и вкось, — электричка наша.

Распахнулись — вот, мол, входите, люди добрые, — двери вагонов.

Потянулись вовнутрь — торопливо, как бывает всегда, — пассажиры.

Мы зашли в вагон — и устроились на сиденьях возле окошка.

Электричка свистнула, дернулась — и со скрежетом, с лязгом двинулась, набирая скорость в пути, по направлению к Болшеву.

В вагоне, людьми заполненном, Ворошилов частенько поглядывал на головку бутылки, торчашую, ванькой-встанькой, из сумки моей, поглядывал — и выразительно, укоризненно как-то, вздыхал.

Слушая эти шумные, страданий полные вздохи, я делал упрямо вид, что ничего такого странного или особенного вовсе не замечаю.

В Мытищах Игорь не выдержал.

С некоторым смущением, но достаточно твердо, так, что металлом каждое слово прогремело и долгим эхом пронеслось по всему вагону, предложил он выйти на станции и незамедлительно выпить.

— Володя, — шаманским тоном произнес он при этом, — пора!

Я давно уже понимал, что пора. Да просто терпел.

Мы поспешно, я — сумку сжимая с бутылкой, он — папку с рисунками, выбрались из вагона — и вышли вдвоем на перрон.

Выпивать в людской толчее было делом, по всем статьям и по нашим твердым понятиям, неразумным, да и опасным: неожиданно, как всегда появиться могла милиция — вот вы пьете, мол, где! — и тогда...

Многое, слишком уж многое в прежние времена вставало за этим «тогда».

Ворошилов сердился, нервничал:

— Давай рискнем! Завернем за угол. Выпьем по-быстрому. И все дела. Не впервой ведь.

— Подожди! — твердил я ему.

И мы шли с ним, все дальше и дальше, шли вперед, отдаляясь от станции электрички, втянувшись в ритм этой вынужденной ходьбы, шли вдоль улицы, вдаль куда-то, в дебри общего безразличия, в подмосковную, летнюю, теплую, бесконечную, скучную глушь, — и желание ворошиловское беспокойное — выпить немедленно — незаметно передалось, обжигая горло, и мне.

И тогда я сказал Ворошилову:

— Надо просто зайти в подъезд и там по-быстрому выпить.

— Это дело! — поддакнул мне Игорь.

Сказать-то легко — зайти поскорей в подъезд. Но — в какой?

Мы шли вдоль домов незнакомых, понимая, что здесь, в Мытищах, выбирать нам особо и нечего.

Наконец один из подъездов, этакий чистенький с виду, почему-то мне приглянулся.

Почему? Да как объяснить!

Знать, вела незримая нить.

Поплутала — и привела.

Вот какие, братцы, дела.

Был подъезд как подъезд. И все ж...

На другие был — не похож.

Я сказал:

— Вот сюда и зайдем!

Ворошилов сказал:

— Здесь и выпьем!

Мы зашли в подъезд приглянувшийся, с немалым трудом открыв тяжелую неожиданно, массивную, свежеразкрашенную, похожую на крепостную, из романов рыцарских, дверь.

Там, внутри, было тихо, чисто и прохладно. Странно, ей-богу!

Тишина, чистота и прохлада?

Славен тройственный сей союз!

Мы поднялись по усланной ковровой красной дорожкой, аккуратнейшим образом вымытой, широкой лестнице — вверх.

На площадке просторной лестничной, расположенной меж этажами, увидели мы стол, и на нем — графин с водой и чистые, сразу ясно было, стаканы.

Стол был застелен отглаженной, приятного цвета, скатертью.

Рядом с графином стоял душистый букетик цветов.

Возле стола стоял мягкий, большой диван.

Рядом с диваном стояли в широченных и высоченных, деревянных, надежных кадках экзотические растения — пальма перистая и фикусы.

Мы с Игорем переглянулись.
Вот это, брат, обстановочка!
Вот это, дружище, комфорт!
Ну прямо как на курорте!
Вот так подъезд! Чудеса!

Это надо же! — вот ведь какие хорошие, нет, прекрасные, из восточных сказок, из фильмов голливудских послевоенных, замечательные подъезды есть, оказывается, в Мытищах!

Мы уселись на мягкий диван, музыкально, со вздохами тихими, с переливами, переборами, то высокими, то басовыми, запевший и заигравший вначале под нашей тяжестью, а потом, привыкнув, наверное, деликатно и незаметно, стушевавшийся, стихнувший, ставший просто местом сидения нашего, уселись мы с Ворошиловым посвободнее, поудобнее, с удовольствием явным откинувшись на упругую спинку такого вот, нам дарованного судьбою, всем устройством своим, всей конструкцией приспособленного для отдыха, и тем более приспособленного — для временной передышки, для привала дневного недолгого двух усталых суровых путников, в отношении всех чудесного, расчудесного просто, дивана, под вечнозелеными кронами перистой пальцы и фикусов твердолистных, расположились — надежно вполне, устойчиво, с ощущаемой нами гарантией безопасности и спокойствия, в тишине, чистоте и прохладе, без обрыдлых для нас нервотрепок, без поспешности, без тревоги, напряжения, суеты.

Взад и вперед в подъезде сновали какие-то люди, почему-то не обращавшие на нас никакого внимания.

Сновали они отстраненно, призрачно, как в кино.

Мы их воспринимали вовсе не как живых людей, а, скорее всего, как движущееся осторонь зыбкое изображение.

Мы их просто никак, и все тут, что гадать-то, не воспринимали, если на то пошло.

Мы их — в упор не видели.

Мы открыли бутылку водки.

Наполнили доверху чистые, блещущие стаканы.

Чокнулись, как полагается людям серьезным, воспитанным.

Потом — разумеется, выпили.

Выпили не спеша — с чувством, с толком и с расстановкой. Условия — позволяли.

Это ведь вам не на улице где-нибудь выпивать.

Вон какой здесь, в подъезде, уют.

Мы плеснули в стаканы чистые водички прохладной из полного, весело, звонко, празднично сверкающего своими широкими, светлыми гранями, устойчивого, массивного, достаточно плотно закрытого тяжелой, как гирька, пробкой, приспособленного хорошо для хранения влаги живительной, словно по мановению чьей-то волшебной палочки находившегося не где-нибудь вдалеке, но именно здесь, в месте нужном и в нужное время, вместительного графина — и запили только что выпитую нами обоими водку этой, во всех отношениях приятной, свежей, полезной, целебной, возможно, водичкой.

Мы, решив никуда не спешить хоть немного еще, закурили.

Синева-белесый дымок — от моей сигареты «Прима» вместе с иссиза-синим, от Игорева папиросы кондовой «Север» — колеблющимися, легчайшими, невесомыми даже, беспечными, беспечальными, тихими струйками потянулся, все выше и выше, разрастаясь в туман, к потолку.

Нам — почуяли мы — полегчало.

Мне — скажу откровенно — стало веселее как-то и радостней здесь, в Мытищах, дышать и жить, на душе спокойнее стало, разлилось по жилам тепло, не блаженством пусть отзываясь, но уж точно — чем-то подобным.

Ворошилову — после водки — стало жить значительно легче, с очевидного, небольшого, так себе, да все же — похмелья, как от него ни отбрыкивайся и как его ни замалчивай, — а все же что было, то было, — и теперь, помучив, прошло.

Мы, сказать можно смело, вдвоем, здесь, в пути своем, — отдыхали.

Пальма слегка шелестела над нашими головами перистыми своими декоративными листьями.

И глянцевитые, плотные, крупные листья фикусов, притягивая случайные и неслучайные взгляды, медленно, монотонно и верно, без всяких промашек, воздействуя на людское, от стрессов уставшее, зрение, а с ним, покоя дождавшимся, и на людское, к лучшему изменившееся настроение, завораживая растительной, природной, зеленой и темной, живучей своей зеркальностью, отражали в окно проникающий, временами — порывистый, магниевый, большей частью — неспешный, широкий, подмосковный, привольный, летний, с золотистой искоркой, с блеском катящейся где-то за стенами, в пространстве разъятом, ртути, и с отсветами литого, просторного серебра, дневной, несомненный, природный, свободой веющий, свет, — и мягкий, отчасти вкрадчивый, спокойный, благонамеренный, незыблемый — так мне казалось — и теплый свет электрический, плавно и ровно льющийся из матовых, стильных каких-то, особенных, это уж точно, может быть, и заграничных, приятных для глаз плафонов.

Мы допили водку. Допили.

Теперь нам было — чего там скрывать? — совсем хорошо.

По небритым щекам ворошиловским, бледным совсем недавно, быстрый румянец прошел. И глаза его вдруг разгорелись. Увеличились, угольно-черным каким-то, растаявшим сызна масла блеснув из-под век, потептели, мерцая, светясь, отдаляясь куда-то, зрачки. Нос ворошиловский, крупный, изогнутый, зашевелился, ожил, — ну прямо довольный жизнью зверок, а не нос. Губы его расплзлись, незаметно как-то, в улыбке. Был Ворошилов — домашним, временно, разумеется. Был Ворошилов — надежным другом. На все времена. Жизнелюбивым, спокойным, здоровым, уверенным, сильным. Словом — казак лихой, отдыхающий между боями. Раз уж такая возможность хорошая нынче представилась — право, не грех отдохнуть. Мало ли что предстоит впереди! — все походы, сраженья. Отдых — заслужен вполне. Хорошо иногда — отдыхать!

Эх, поистине благодать!

Ну как мне еще чудесное состояние наше назвать?

Благодать, да и только. Понятно?

И поди докажи мне, попробуй, коли выйдет, что это не так.

Именно так: благодать. Ну а что же еще тогда? Пусть небольшая. Но мы-то оба ее — ощущали!

И не напрасно, конечно, была она так вот, неожиданно, дарована — страждущим нам.

Ну прямо Сочи (Кавказ) или Ялта (солнечный Крым), а не мытищинский, чудный, но все же случайный подъезд!..

Сновавшие мимо нас по лестнице, взад-вперед, вверх и вниз, какие-то люди не обращали на нас вообще никакого внимания, ни малейшего, и совершенно нас, пришельцев, не замечали, будто нас здесь и не было вовсе, а были — просто диван, стол, застеленный скатертью, граненый графин с водой, пальма перистая, и фикусы, и лестница, чисто вымытая, и тихий, уютный подъезд, но только не мы, заглянувшие ненароком сюда — и временно, ненадолго вставшие здесь на постой, на короткий отдых в походе, — и мы с Ворошиловым тоже, так получалось, вовсе не замечали их, этих сновавших мимо, фантомных, условных людей.

Тепло, во всех отношениях приятное, разлилось по всем нашим жилам, по всем суставам нашим и косточкам.

Вспору было песню хорошую нам запеть, негромко и слаженно, или, может, беседу, тихую, задушевную, здесь вести.

Но — ждало впереди нас — Болшево.

Нам следовало не расслаживаться в покое, а двигаться дальше.

У нас ведь была — задача.

У нас — была важная цель.

Казак — он всегда в седле.

А мы-то с Игорем были — потомками запорожцев.

Посему — как всегда — вперед!

С неохотою поднялись мы с дивана — и вышли, отсюда, из подъезда, с его уютom, тишиной и покоем, — на улицу, в мытищинский, городской, неумолчный, настырный гул, подмосковный, провинциальный, но — явственный, очевидный, прямо в запаха бензина, солярки, мазута, в облако гари, ну откуда она взялась, только все же была она, гарь, а потом, вслед за ней, освежающий запах свежих стружек сосновых, а еще — запах пыли слежавшейся, и за ним — шорох пыли дорожной, неожиданно поднятой ветром, а там, за углом, чуть подальше, — ворох листьев зеленых в лицо, и сигналы машин, и свисток милицейский, и возгласы чьи-то, и смех, голоса — то мужские, то женские, все вперемешку, вслед за ними — высокие, детские, звонкой, шумной гурьбой, голоса, и вокруг — полдень, молодость, лето, — мы вышли на солнечный свет.

Почему-то я оглянулся — и увидел вдруг возле двери в покинутый нами подъезд вовремя не замеченную ни мною, ни Ворошиловым надпись, весьма выразительную: «Мытищинский горком партии».

Я толкнул Ворошилова в бок и показал на скромную — и такую солидную — вывеску, доходчиво поясняющую, где мы только что побывали.

Поначалу Игорь никак на это не отреагировал.

Был спокоен, задумчив. И бровью казацкой своей не повел. Но потом до него — дошло.

Посреди тротуара мытищинского, в беспокойной гуще людской, он широко, с былинным размахом и удалством, будто бы раздвигая воздушное, полное звуков, и запахов, и опасностей, и радостей мимолетных, и всяких чудес, пространство, а вместе с ним и всю эту, со всех четырех сторон, вплотную, давно и настырно, с подвохами, с заковырками, с бесчисленными своими загадками и парадоксами, окружающую его, раздражающую, поражающую, умиляющую его тем не менее, потому что всякого на-

видался, казалось бы, а вот надо же, что-нибудь поновее непременно преподнесет, ирреальную, нашу, родимую реальность, развел руками, кратко заметив:

— Сподобились!

И сделал весьма неожиданный, но вполне оправданный всем его грустным жизненным опытом вывод:

— Ну и что? Подумаешь, важность! И в горкоме партии можно, если очень захочется, выпить. Вот и мы: захотели — и выпили. Все-таки — не под забором, не в каком-нибудь закутке. И ментов там, это уж точно, ты пойми, просто быть не могло. Да еще и уютно, тихо. Пальма, фикусы. Мягкий диван. И графин с водой. И, старик, наготове — стаканы чистые! Все для нас было приготовлено. Будто ждали там именно нас. Ну и горкомы пошли в Подмоскovie! Чудо-горкомы! Кавказское побережье, а никакой не горком! Летний отпуск там проводить можно запросто. Партия! Ишь ты! Если бы сфотографироваться нам с тобой там, под пальмой, под фикусами, да показать знакомым фотографию эту, с надписью крупной: «Привет из Сочи!» — то ни за что не поверили бы, что не в Сочи с тобой мы снимались, а в Мытищах, в горкоме партии!..

Потом подумал и буркнул:

— Сами небось в этой партии, все поголовно, — пьют!..

Он покрепче к боку прижал старую папку с рисунками, я на плечо закинул опустевшую сумку, которая должна была нам еще, в скором будущем, пригодиться, — и мы, убыстряя шаг, направились напрямик к станции, к электричке, — и успели мы на нее, без всяческих происшествий, чудом, наверное, вовремя.

С Божьей помощью, это уж точно, добрались мы вдвоем и до Болшева.

Отыскать там киношный Дом творчества оказалось делом несложным.

Территория Дома творчества была почему-то безлюдной.

Никого, никогошеньки нет.

Почему — непонятно. Загадка.

Что стряслось? Что за странность такая?

Куда они все, киношники эти, вдруг подевались?

Ветром их, что ли, каким сдуло ненастным — всех, разом?

Или еще что-нибудь необычное, непредвиденное, из ряда вон выходящее, такое, чего, понятно, не только мы с Ворошиловым предположить не могли, но и все вообще никак, похоже, не предполагали, ужасное что-то — случилось?

Оказалось, что все — обедают.

Распорядок дня в Доме творчества у киношников наших такой.

Режим. По-советски — привычный.

Все здесь — по расписанию.

В том числе и питание.

Мы, решив к народу идти напрямую, зашли в столовую.

Из-за прикрытой, высокой, широкой, стеклянной двери доносился до нас, пришельцев, нестройный гул голосов киношных, звяканье ложек и прочие характерные звуки, сопровождающие процесс поглощения пищи.

— Вы кто? — поднялась нам навстречу бдительная дежурная.

Она, разумеется, сразу, моментально сообразила, что мы — не свои, а чужие, незнакомые, так, посторонние.

Но — мало ли кем эти люди, посторонние, незнакомые, чужие, а не свои, вдруг могли оказаться?

— Я Алейников! — очень спокойно, так, для справки, ответил я.

— А я — Ворошилов! — с некоторой аффектацией выкрикнул Игорь.

— А-а! — расплываясь в улыбке, только-то и сказала бдительная дежурная.

И услужливо посторонилась, пропуская нас, незнакомцев, ставших сразу знакомыми, в зал.

Да и как же ей было, дежурной, согласиться, не посторониться, как же было ей не пропустить нас?

Алейников — батюшки, это ведь, посудите сами, фамилия кинематографическая, уж Алейникова Петра, знаменитость, актера, все знают.

Ворошилов же — тут фамилия за себя сама говорила, о начальстве напоминала, и не только о нем, но еще и — ох, повыше бери! — о власти.

Кинематографисты советские в час, предписанный им, — обедали.

Оказалось их, творческих личностей, в столовой одной — многовато.

Все столы, до единого, были творцами прекрасных грез и видений сказочных — заняты.

Казалось, сама идея эта — обеда вовремя, с явной пользой для здоровья, после праведных, только так, и никак не иначе, трудов, обеда — а после него и отдыха послеобеденного, необходимейшего, целительного, благотворного, идея вполне разумная и всем едокам киношным понятная с полуслова, с полувзгляда, витала в воздухе.

Еда, к столу подаваемая, должна была пережевываться тщательно, хорошо желудками всеми усваиваться.

Ничто, при любой погоде, при любом настроении, даже неважнецком или плохом, вопреки настроению хорошему, то есть — норме, для всех советских, в коммунизм шагающих, граждан, создающих искусство главное, всех важнее на свете — кино, не должно было помешать естественному процессу, — ибо важен он, как и кино, для людей, — поглощения пищи.

Ведь это прямым, прямее некуда просто ведь, образом сказывается на творческом тоже серьезном, процессе.

А что — повторим, для памяти, чтоб усвоить надолго, — важнее всех искусств остальных, какими бы ни бывали они заманчивыми, для кого-то, как ни пытались бы на передний вылезти план?

Ясное дело, кино.

Вот киношники и питались.

Питались — целенаправленно.

Прилежно. Сосредоточенно.

Жевали пищу — не просто столовскую, общепитовскую, — не манну, конечно, небесную, — но, видимо, пищу особую, для избранных, домотворческую, — такую, какую заслуживали, — такую, которая им дана была — свыше ли? — вряд ли! — как и нынешний, вроде бы творческий, а может, и праздный день.

Однако на голоса наши — их головы, каждая — семи пядей во лбу, повернулись — все разом, немедленно, — к нам.

Киношные умные головы повернулись, как на шарнирах, в нашу сторону — и на нас уставилось множество глаз.

Я поначалу — поморщился. Ишь ты! — пялятся. Надо же! Все. Беспардонно. Бесцеремонно.

Потом — нахохлился. Ладно. Пяльтесь. Переживем.

Но вовремя спохватился — и сразу же взял себя в руки.

Зачем же смущаться, нервничать? Хотите — ну что же, смотрите. Пожалуйста. На здоровье.

Да, вот мы стоим — такие, как есть, — чужаки, пришельцы, — мы здесь, наяву, перед вами.

Занятный был у нас вид, наверное. Право, занятный. А может — и необычный. Для многих — и впрямь непривычный.

Ворошилов, длинный, с взъерошенной шевелюрой, смущенно глядящий на киношников, прижимающий к боку старую папку с рисунками, этакий тип — откуда-то извне, похоже — что с улицы, в одежде своей изношенной, в стоптанных башмаках, непохожий на элитарную, так считалось, киношную братию, залетный, инопланетный, неведомо как, и зачем, и ветром каким, попутным иль встречным, сюда занесенный, странный, страннее некуда, пусть и так, все равно, человек.

И я тоже, что там скрывать, в далеко не новой одежде, старающийся не смущаться, помнящий твердо о том, что следует марку держать, но прекрасно, лучше других, понимающий, что и я в этой чуждой, и для меня, и для Игоря, обстановке — просто случайный гость, непонятно каким же образом вдруг появившийся здесь — да еще и впущенный, надо же, нарушитель правил, вовнутрь, в эту столовую, чуть ли не в святилище, для кого-то, положим — для администрации, допустим — для едоков киношных, во всяком случае — человек неизвестный, неясный, да еще и глядящий вперед, прямо в стаю творцов прекрасного, с откровенным, пламенным вызовом.

Словом — как же сказать-то подходчивее, — загадочная — надеюсь, дошло до кого-нибудь, проняло наконец-то — двоица.

На нас не просто смотрели, нас — разглядывали, как в зверинце, с любопытством, бесцеремонно, — до того, до такой, действительно инопланетной степени, до такой высоты звенящей, мы не вписывались вот в эту, мнящуюся, конечно же, обедающим киношникам — элитарной, само собою, для избранных, для посвященных, интеллигентную, замкнутую, для чужаков, среду.

И вдруг — Ворошилова — надо же, — разглядели, с трудом — но узнали.

Из-за столов, оторвавшись от еды, уже поднимались с радостными восклицаниями — действительно многочисленные, еще со времен учебы во ВГИКе, где был он звездой восходящею киноведческой, Игоревы знакомые.

— Игорь! Ты?

— Ворошилов, привет!

— Сколько лет, сколько зим!

— Игорек!

— Игореша, иди сюда!

— К нам иди! Вот встреча так встреча!

— Братцы, это же Ворошилов!

Игорь довольно жмурился, слыша крики эти: узнали!

К нам подбежала стройная, приветливо улыбающаяся, миловидная девушка, сразу же быстро затараторила:

— Игорь, здравствуйте, здравствуйте! Я — дочка Адика Агишева. Папа так часто вас вспоминает. Куда ж вы пропали? Я так рада увидеть вас здесь. А это кто? — показала она глазами, сверкнувшими огнем, на меня. — Ваш друг?

— Это мой друг Володя Алейников. Он — поэт. Известный. Думаю — лучший, — ответил ей Ворошилов.

— Ой, как интересно с вами! — воскликнула дочка Агишева. — Ну пойдёмте, пойдёмте к нам. Покушайте. Мы сейчас что-нибудь быстро придумаем. Идите же, не стесняйтесь.

Агишев был закадычным ворошиловским другом во ВГИКе.

С годами стал он успешным, известным весьма сценаристом.

Игорь давно с ним не виделся. Но рассказывал мне о нем как о человеке хорошем, просто — очень хорошем, надёжном, верном дружбе и верном искусству, человеке — каких немного на веку своем он встречал.

Раз дочка Адика Агишева зовет — к ней надо идти.

И мы, друг на друга взглянув, шагнули вперед — и прошли в глубину столовой — и там присели вдвоем за стол.

Нас киношники чем-то кормили.

Отовсюду съестное тащили.

— Вот суп!

— Вот салат!

— Вот котлеты!

— Вот компот!

— Вот еще компот!

— Угощайтесь!

— Кушайте!

— Ешьте!

— Наедайтесь впрок!

— Есть добавка!

— Если надо, чай принесем!

Нам что-то, все вместе, они, угощая нас, говорили.

Голоса их — сливались в сплошной, непрерывный, раскатистый гул.

Ворошилову — все его давние знакомые были рады.

Видно было, что бывшие вгиковцы, в люди выбившись, то есть, став постепенно профессионалами, режиссерами, сценаристами, операторами, киноведами, актерами, каждый по-своему, как уж вышло, сделав карьеру или только мечтая об этом до сих пор, хорошо его помнили, даже больше того — любили.

Ворошилов, отведав супа, похвалил его, съел еще полтарелки, сжевал котлеты, съел добавку, потом намазал хлеб горчицей и съел этот хлеб, съел салат и еще салат, запил это компотом, чаем, поразмыслил немного, и выпил снова чаю, погорячее, и насытился вроде, и с некоторым усилием над собой объяснил киношникам, вкратце, но доходчиво, чтобы поняли, почему мы с ним в этот день появились именно здесь.

Цель его — проста и разумна: повидать своих старых знакомых, но не только их повидать, вместе с ними вспомнить о прошлом, рассказать им о настоящем, обо всем, что им интересно и ему интересно, поведать о таком, что всегда для души и для сердца дорого, нет, цель его — еще и продать, если это возможно, какое-то, больше, меньше ли, суть не в этом, и не в этом загвоздка, количество, взятых им с собою работ.

— Жить на что-то ведь надо! — подвел он, головой тряхнув удаю и рукою махнув, черту под запутанными своими, хоть была в них наивная искренность, с прямою крутой, объяснениями.

Киношники поначалу помедлили — а потом будто бы взорвались.

Они почему-то пришли в небывалое возбуждение.

Они, все разом, рвались тут же что-нибудь сделать, немедленно что-то важное предпринять.

— Да!

— Конечно!

— Само собой!

— Мы поможем!

— А как же!

— Купим!

— Где работы?

И — началось...

Киношники говорили все вместе, громко, взволнованно, друг друга перебивая, размахивая руками.

— Давайте смотреть работы!

— Скорее!

— Пойдемте смотреть!

Они подхватили нас — и вытащили во двор.

Там, возле зеленой скамейки, на которую, ничего толком понять не успев, присели мы с Ворошиловым, они столпились внушительной гурьбой — и принялись, времени не теряя, рассматривать содержимое взятой нами с собою папки.

Рисунки, один за другим, вынимались из папки, являлись на свет и на суд людской — и тут же передавались из одних рук в другие руки, по эстафете, по кругу.

Раздались, разумеется, вскоре на пространстве двора киношного, поднимаясь к листве подмосковной, к небу синему, характерные, в блестящих дружных эмоциях, возгласы.

— Блеск!

— Отлично!

— Вот это да!

— Ничего себе!

— Не ожидал!

— Посмотрите-ка!

— Чудо!

— Шедевр!

— И еще! И еще!

— Прекрасно!

— Превосходно!

— Ну, Ворошилов!

— Ну, Игорь!

— Васильич!

— Талант!

— Безусловно!

— Какой художник!

— А я ведь еще во ВГИКе всем вам говорил, что со временем из него настоящий художник выйдет. И — видите — вышел! А вы его все когда-то в киноведы идти агитировали.

— А я почему-то сразу поняла: вот это и есть его, Игоречи, призвание!

— А я, что скрывать, просто-напросто поражен. Для меня это — праздник. Нет, минутку, вы посмотрите, повнимательнее посмотрите. Какая певучая линия! Какой удивительный образ! Как это все современно, между прочим, и оригинально!

— Ворошильч!

— Игорь!

— Васильч!

— Старик! Ты нас просто потряс!

— Молодец!

И — тому подобное...

Ворошилов рассеянно слушал всеобщие похвалы — и задумчиво как-то помалкивал.

Слушал гул голосов — и все больше, уходя в себя, да поглубже, отрешаясь от этого дня, от листвы его с синевой поднебесной, от птичьего щебета и от слов похвальных, сутулился.

Слушал возгласы, мнения слушал торопливые — и, почему-то замыкаясь, все больше и больше, глядя под ноги, в землю, грустнел.

Все хотели помочь Ворошилову.

Все киношники, без исключения.

Незамедлительно. Тут же.

На месте. Прямо сейчас.

Но с деньгами, само собою, у всех, кого ни возьми, было, увы, туговато.

Впрочем, трешки вначале, а позже и пятерки, пусть небольшие, что же делать, но тоже деньги, что уж есть, то есть, замелькали мотыльками пестрыми в болшевском, разогретом, но свежем воздухе.

Извлекались они из карманов, из бумажников плоских, из дамских, модных, крохотных кошельков.

Они плыли по воздуху, двигались легкой стайкою — к Ворошилову.

Их горкой хрустящею складывали охотно в его ладони.

Их порою запросто всовывали с размаху ему в карманы.

И навстречу бумажным деньгам — замелькали роем густым, широким потоком двинулись в киношные руки — бумажные, трепещущие по-птичьи в разогретом болшевском воздухе с голосами людскими, листы с ворошиловскими рисунками.

Киношники наседали:

— А это вот сколько стоит?

— А это сколько?

— А это?

Ворошилов, глядя на них, сутулился и не знал, что ему и отвечать.

Вопрошающе, из глубины смущения своего, иногда смотрел на меня.

А что я прямо сейчас мог ему подсказать?

Его ведь рисунки. Пусть сам решает, как ему быть.

А вокруг зудели, звенели, разливались всюду голоса:

— Ой, купила бы я вот этот рисунок, но у меня, к сожалению, только пятерка!

— Поищу-ка. Так, трешка. Еще два рубля. И вдобавок — мелочь. А рисунок — хочу купить. Что же делать? Может, отдашь?

— Игорь, слушай меня, дорогой, а за семь рублей мне отдашь?

Ворошилов махнул рукой:

— Да что вы переживаете? Сколько есть у кого, за столько и берите! Рисунки — ваши!..

Но так оно, как-то само собою, уже и было.

Сколько там у кого денег в наличии было, столько ему, художнику, тут же и отдавали.

Содержимое папки изрядно вскорости поредело.

Мы сделали перерыв.

К тому же, как оказалось, киношникам после обеда полагался заслуженный отдых.

А у нас еще несколько летних полновесных дневных часов, до наступления вечера грядущего, было в запасе.

Киношники, прижимая к сердцам своим, переполненным самыми теплыми чувствами, ворошиловские рисунки, начали расходиться, не прощаясь, мол, вот поспим, да и свидимся вновь непременно, заверяя нас, что продолжают свою акцию дружеской помощи Ворошилычу, их Игореше:

— Здесь кое-кто есть побогаче!

— Посолиднее люди найдутся!

— Юткевичу надо рисунки показать обязательно, вот что!

— Юткевичу! Да! Он купит!

— Галичу показать надо попозже. Он купит.

Мелькнул посреди двора, поодаль от суеты людской, режиссер Мотыль. Помахал рукой Ворошилову:

— Игорь, ты слышишь? Привет!

— Привет, Володя, привет! — откликнулся Ворошилов. — Как жизнь? Чем ты занят сейчас?

— Да вот новый фильм снимаю! — залезая в машину, ответил Мотыль. — Приключенческий фильм. С восточным, представь себе, колоритом. Советский вестерн.

Мотор заработал. Машина плавно тронулась с места.

Мотыль, еще раз помахав рукой своей режиссерской, уже из окошка машины, и в нашу, отдельно, сторону, и всем, кто был во дворе, всей публике, оптом, уехал.

Этим новым фильмом его, как несколько позже выяснилось, стал всем известный нынче фильм «Белое солнце пустыни».

Киношный народ как нахлынул, так, сам по себе, и схлынул.

Надо нам было чем-то заполнить образовавшуюся в общении с многочисленными киношниками, пожелавшими помочь Ворошилову, паузу.

Да и денег, хотя они, эти деньги, и мелкие были, оказалось, по нашим тогдашним меркам, довольно скромным, в наличии у Ворошилова, как ни крути, немало.

— Ты бы, Игорь, хоть по десятке работы свои продавал! — сказал я ему заранее, твердо и грустно, зная, что втолковывать это ему бесполезно. — Тебе действительно на что-то ведь надо жить. А ты такие отменные рисунки не только запросто раздаешь за гроши, но еще и, всем на радость, щедро раздаливаешь.

— Наплевать на деньги! Подумаешь! Тоже невидаль экая, деньги! — взглянув на рубли, отмахнулся от них, как от мух, Ворошилов. — Посмотри, вон их сколько уже есть у нас. Что, мало? Нам хватит сейчас. А потом — потом видно будет, как быть. А рисунки — да пускай они у людей лучше будут, эти рисунки, раз уж они им так нравятся

— Поступай как знаешь, — сказал я. — Пожалуй, ты все-таки прав.

— Надо выпить! — в папку сложив оставшиеся рисунки, сформулировал мысль, давно сидевшую в нем, Ворошилов. — Надо выпить, и поскорее. Ты как? Со мною согласен?
— Можно, пожалуй, и выпить, — согласился с Игорем я.

Мы сходили вдвоем на станцию, купили в пристанционном магазинчике, закутке, для сограждан спасительном, выпивку.

Чтобы выпивки этой побольше получилось, да вышло покрепче, накупил Ворошилов тогда все того же, всеми в стране потребляемого поголовно, широко, повсеместно, дешевого, даже самого что ни на есть дешевого, дальше уж некуда, забористого, потому что — крепленого, на спирту, то есть с приличными градусами, белого, посветлее, и красного, мутноватого, с осадком на дне бутылок, с перебором явным, по части в напитке имевшейся краски, да представьте, обычной краски, с откровенным, большим перебором, но зато достаточно быстро на мозги выпивающих действующего, как нельзя, нам верилось, лучше годящегося для выпивки, и особенно для мужской, кочевой, боевой, суровой, без излишеств, козацкой выпивки, отечественного, советского, неизвестно какого разлива, да не все ли равно нам, портвейна.

Взяли мы и закуску — плавленные, по привычке тогдашней, сырки, мятые, скользкие, пахнущие чем-то молочно-затхлым, на ощупь ну прямо резиновые, а то и не просто плавленные, а какие-то вроде расплавленные, но зато по цене для всех доступные, просто дешевые, с натяжкой большой съедобные, согражданам нашим знакомые широко и давно, сырки, двести граммов грудинки — роскошь, а посему продавщице было сказано, в мягкой форме, со всею возможной вежливостью, порезать ее потоньше, на что она, кисло поморщившись, просто грубо ее разрезала на четыре неровных куска, — ну и, конечно же, хлеб, две буханки, на всякий случай, одну — бородинского, черного, посвежее, другую — белого, почерствее, но тоже мягкого, не похожего на сухари, — после чего Ворошилов, подумав буквально секунду, решительно прикупил еще и колбаски, так, для баловства, полкило, всего-то навсего, «Чайной» колбасы, розоватой, мягкой, как желе, с запашком, на рубль, — а после, не удержавшись, приобрел, завидев ее остатки в дальнем углу прилавка, и полкило соленой слежавшейся кильки, — с такими, по тем временам, внушительными запасами съестного, разнообразного, с выбором, нам с Ворошиловым не только в свое удовольствие выпивать на родной природе, но и кое-какое время существовать, питаясь умеренно, с экономией продуктов, купленных нынче, можно было вполне.

Обремененные всем закупленным в магазине, вернулись мы на территорию киношного Дома творчества.

Где нам выпить? — вновь назревал простой всегдашний вопрос.

Размышлять над этим всерьез, разумеется, мы не стали.

Приглянулась нам как-то сразу и симпатию вызвала нашу стоявшая чуть в стороне от корпусов домотворческих, в окружении буйной зелени, даже на первый взгляд, это видно было, уютная, совершенно пустая беседка.

Вот и отлично. Лучше, наверное, и не придумаешь.

Тишина. Это важно. Спокойствие.

Никто нам не помешает.

Значит — идем туда.

Устроились мы — в беседке.

Сидели вдвоем, в тиши подмосковной, неторопливо попивая вино, степенно, чинчинарем, закусывая, чем Бог послал, что купили, недавно совсем, в магазине, разговаривали — о чем-то своем, как всегда — о своем.

Громадные, кровожадные комары донимали нас непрерывно — и приходилось, ничего не попишешь, терпеть.

Но не так-то просто, поверьте, давалось нам это терпение.

И откуда здесь, в Подмоскowie, комары такие ужасные?

Всю гармонию, можно сказать, нарушают. Ни на секунду покоя нам не дают.

Они не просто зудели в прогретом слоистом воздухе, и не просто повсюду пели, тонко, настырно, пронзительно, зыбко, тревожно, густо, и не просто держали высокую, долгую ноту, стонали, уходя в этом стоне куда-то совсем далеко, в ультразвук, на такие частоты, где пение их прямым уходом уходило в подкорку, в подсознание, и там оставалось, глубоко, в мозгу, а не в свете неспешного, теплого дня, — нет, они гудели, как будто штурмовики, ревели, взывали, как боевые пронырливые машины летучие, эти злющие создания природы, и спасу от них, к сожалению, не было.

Поневоле, так получалось не по нашей вине, обстановка начинала напоминать, вот уж бред и кошмар, фронтовую.

Отмахиваясь машинально, с каждой минутой все чаще, от хищников-комаров, а то и метко прищепывая их с размаху широкой ладонью, Ворошилов сердито ворчал:

— Упыри! Кровососы! Вампиры!

И расправлялся тут же с очередным насекомым, отчего то на лбу, то на шее, то на узкой, небритой щеке, то на руке у него возникали потеки кровавые, брызги мелкие, крупные пятна, им стираемые, без особого усердия, то платком замусоленным, то музыкальными, гибкими, длинными пальцами, а то и прямо, — чего, мол, там сейчас мудрить, если надо постоять за себя, — кулаком.

Доставалось и мне от этих летучих чудовищ, жаждущих человеческой свежей крови.

Комары, досаждавшие нам с изуверством, не унимались. Наоборот, их полку, замечали мы, все прибавлялось.

Может быть, только здесь, в одной из немногих, считанных, недоступных для жукаков, для вторжений извне, цитаделей советского киноискусства, в непрерывном, густом роении сплошь творческих, занятых, деловых, да еще и с амбициями, четко знающих цену себе — и другим, кто помельче, личностей, незаменимых работников, творцов, а то и, подумай ведь, натуральных светил, развелись такие вот комариные, злющие, хищные особи, вампиры, мутанты, гибриды, насосавшись киношной крови, раздобрев на харчах дармовых, расплодившись, заматерев, регулярно, исправно питаясь и давно уж войдя во вкус, но, поскольку киношная кровь им, возможно, приелась уже, тут же, скопом, ордой всей, возжаждавшие вкуса нового, неизведанного, соблазнительного, притягательного, — вкуса крови, богемной, нашей, нищей крови, а все же — здоровой?

Да кто его знает! Может быть, так оно все и было.

Их, комаров окрестных, отовсюду, со всех сторон, к нам, скитальцам усталым двум, не куда-нибудь, а сюда, лишь сюда почему-то, к нам, двум друзьям хорошим, в беседку, словно что-то неумолимо притягивало, как магнитом.

Наверное, наше нынешнее присутствие именно здесь вдохновляло их на непрерывные, с жаждой крови нашей, атаки.

А в остальном — все было, смело можно сказать, нормально.

И вполне уютно, замечу, мы чувствовали себя здесь, вдвоем, в беседке, среди парковой, не совсем ведь киношной зелени.

Может быть, — кто скажет сейчас, кто подскажет, кто прояснит мысли, чувства, мечты и чаянья? — в душевном общении нашем было все-таки нечто особое, полагаю — традиционное, даже, думаю, ритуальное, корнями вглубь уходящее, в древность, где

даль и высь в ясном сиянье слились, нечто схожее, хочется верить, с общением удивительным старых китайских поэтов, например, с той только поправкой, что те, неизменно чувствуя среди природы себя как дома, в процессе своей беседы неспешной периодически наливали в чашки свои подогретое, так полагалось когда-то, вино из чайника, — ну а мы наливали себе свое покупное, дешевое вино в стаканы граненные из бутылок, так уж привыкли мы, — а вот ритм, и тон, и настроенность, и хорошая простота наших слов, а с нею и подлинная глубина их порой, и взаимное доверие, и само, Игорёво, и мое, и общее наше, теперешнее, ощущение, вот его свет перевозданный, себя во времени, которого, так нам казалось, впереди еще ох как много, и, при звуком неминуемым, ощущение себя в пространстве, которого тоже было вдосталь, и позади, и впереди, повсюду, куда ни шагни, везде, и понимание нами друг друга всего с полуслова, и надежды наши на то, что все еще образуется, все наладится там, в далеком, или близком уже, грядущем, и вера наша в свое звездное предназначение, и особая музыка нашей с Ворошиловым дружбы — я именно о ней говорю сейчас, — и весь этот лад, присутствующий в каждой нашей с ним встрече, в речах, в поступках, помыслах, жестах, в различных житейских историях, и весь этот свет нашей творческой, неповторимой дружбы, — все, совершенно все, что связано было прочно с пребыванием нашим в мире юдольном, и с воспарением нашим над ним, и с нашей созидательной, сложной работой, во имя добра на земле, для торжества добра над оголтелым злом, — все было для нас так дорого, и даже, скорее, свято, — и сознаюсь, что выразить это мне, поседевшему, трудно, потому что подобная дружба дается, конечно же, свыше, дается, как дар великий, единожды и навсегда.

Симпатичная — век бы ей любовался, такой хорошенькой, век бы помнил ее — синичка прилетела из глубины крон древесных лиственных к нам и уселась — вот, мол, и я — на перилах нашей беседки, вопросительно и лукаво все поглядывая на нас, не смущаясь присутствием нашим здесь, в ее подмосковной вотчине, быстрым, кругленьким, точно бисерным, с огоньком смекалки и смелости, быстрокрылой, летучей, птичьей, развеселым, но и с грустинкой потаенной, своим глазком.

Я насыпал ей хлебных крошек.

Наша гостья, нас не пугаясь, доброту ощущая нашу, совершенно спокойно, прыгая то туда, то сюда, в беседке, то ко мне поближе, то к Игорю, влево, вправо, кругами плавными, вслед за крошками хлебными, вкусными, для нее, принялась их клевать.

К ней откуда-то прилетела, по сигналу, видать, особому или просто свою подругу вдруг завидев издалека и решив пообщаться с нею, да еще и отведать нашего, для пичуг, угощенья нежданного, здесь, у нас, и другая синичка.

Игорь тут же, да пощеднее, наделил наших гостей пернатых, залетевших в наш временный стан, кочевой, походный, козацкий, стан в беседке, на территории Дома творчества всех советских или, может, не всех, но избранных, только все ведь равно киношников, пусть приятелей и знакомых среди них у него немало было, слишком большая разница между ним и этим вот племенем, между мною и ними, была, вот и все, на поверку, дела, пусть судьба нас к ним привела, — наделил, от души, едой.

Птички клевали старательно крошки, а мы с Ворошиловым умиленно смотрели на них.

Такая вот получилась, как-то просто, сама собою, домотворческая идиллия.

Синей тенью из лиственной зелени вдруг шатнулся навстречу Галич.

Был человек — это чувствовалось по лицу его, мертвенно-бледному, по выражению глаз, отчаянному, смятенному, по его дыханию, частому, прерывистому, нездо-

ровому, — с глубокого, глубже некуда, занырнуть-то туда несложно, а вот вынырнуть поспожнее, это знали мы все, похмелья.

С откровенной надеждой он, очевидно, еще не решаясь попросить нас о срочной помощи, а тем паче с ходу, с налету, этак запросто, вроде по-свойски, по нахалке, присоединиться к нашей тесной компании, где много выпивки было стандартной, с расстояния в три-четыре, да, всего-то, коротких шага, страшноватых, и все же возможных, если чудо произойдет, если здесь-то его поймут, и помогут ему немедленно, и поддержат его непременно, потому что нельзя иначе, потому что иначе кранты, но будто бы из другого, неведомого измерения, посмотрел, набычась, на нас.

И страшная, безысходная, отчаянная тоска, откуда-то из-под кожи, из нутра, из-под мутных, расширенных, выкаченных наружу, малоподвижных зрачков, неожиданно, обезоруженно, доверительно, откровенно проявилась в его тяжелом, обвисающем вниз лице.

Такая тоска — ну словно невысказанный, немой, крюками записанный древними для неслышных еще песнопений, в укор настоящему смутному, в поддержку грядущему светлому, где все еще, может, поправится, наладится, слюбится, сдвинется, вполне вероятно, к лучшему, а может быть, и к трагическому, кто знает, кто скажет, гадать бессмысленно, видимо, — крик.

Нет, сильнее, ужаснее, — видимый, но пока что без голоса, — вопль.

На столике перед нами, кочевыми друзьями, рядышком с разложенной на газете скромную нашей закуской, стояли бутылки с портвейном.

И в сумке походной, там, на дощатом полу беседки, под столиком с нашим питьем, какое уж было куплено, другого в наличии не было, и едой магазинной советской, лежало несколько полных, запечатанных крепко бутылок.

Питья, почему-то названного торговлей союзной портвейном, хотя богемные люди называли его жопомоем, и право имели на это, было у нас предостаточно.

Не просто, как говорится, в самый раз и не только в досталь, но даже, можно, пожалуй, похвастаться этим, с избытком.

Так что, ежели что, вполне можно было и налить хорошему человеку.

С нас не убыло бы, уж точно.

Да это ведь и когда-то — ну, вспомните, ветераны, могикане, герои прошлых героических лет, уцелевшие в неравной борьбе с алкоголем и ненавидимым строем, сулившим сплошные беды и бесчисленные невзгоды богемной отчаянной братии столичной, — подразумевалось, всегда и везде, у нас — не только самим, да и только, с эгоизмом противным, с жадностью, неприемлемой, скучной, выпить, но и людей угостить, а особо страждущих — выручить.

В те годы, с кошмарами их похмельными, с магазинными очередями длинными, нервичными, за бутылкой желанной, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, чтобы стать человеком снова, понимать, где находишься ты, где стоишь, или, может, сидишь, или, может, шагаешь куда-то, а куда — поди догадайся, не гадай, не надо, и так все, похоже, ясно для всех, да, конечно, яснее некуда, все во мраке и все во мгле, все в бреду на этой земле, только звезды есть в небесах, только стрелки на всех часах то стоят, то снова идут, и кого-то, вроде бы, ждут, ну а где, и когда, и зачем, это стерлось у всех, насовсем, стерлось в памяти, нет, живет, чем-то странным теперь слывет, — была в выпивонном деле у всех мужиков советских, на всех возможных широтах, по всему пространству громадному Союза, державы прежней, Империи, — круговая — коло древнее вспомним — порука.

Спасали тогда человека — не сочувствием, не участием вялым, так, может, зачтется, а может, и обойдется, и лучше уж проявить, хотя бы разок, участие, но — деятельно, совершая, от души, бескорыстно, поступки.

Себя обделяли, бывало, но других всегда — выручали.

Чудеса настоящие храбрости совершали, случалось, и часто, чтобы срочно где-то добыть, где угодно добыть, и все тут, принести как можно скорее погибающему от муки человеку необходимое для скорейшего поправления драгоценнейшего, в условиях нелюдских, жестоких, здоровья, а то и для продолжения жизни земной питье.

Вообще, читатель мой, выпивка в родном, для меня, для моих друзей давнишних, отечестве, при советской, канувшей в прошлое, как считают в газетах, власти, — это, твердо я знаю, единственный в своем роде, неповторимый, грандиозный, — и по масштабам, и по мощной полифонии судеб, жизней, историй, свершений, расставаний, надежд, утрат, обретений возможных, — эпос.

И когда-нибудь, верю, даст Бог, кто-нибудь из наших сограждан, испытавших все это на собственной, только так, разумеется, шкуре, воплотит его, зов ощутив, горний, или юдольный, в слове.

— Надо нам похмелить человека! — предложил я немедленно Игорю.

Он взглянул, сощурился, на Галича — и мгновенно понял его плачевное и печальнейшее, дальше некуда, состояние.

— Саша, — позвал Ворошилов, — иди поскорее к нам. Сейчас мы тебе нальем портвейна. Это поможет.

Галич, помедлив секунду, качнулся вперед, тяжело вздохнул, шагнул, из тоски своей, из отчаянья, — к нам, ждущим его с питьем, предлагающим помощь свою, просто так, чтоб спасти человека, поддержать его, жизнь ему, в этот день, и час, и минуту, продлить, — с превеликим трудом, шаг за шагом, передвигаясь, шатаясь, зашел наконец в беседку.

Он с натугой, с хрипом дышал.

Он молчал — и смотрел, из прорвы, из пустыни своей тоски, из другого, полуреального, неизвестного измерения, — на вполне реальное, зримое, похоже — материальное, в немалом вроде количестве имеющееся у нас и вполне доступное, кажется, для него, страдальца, вино.

Ворошилов налил ему полный до самых краев крепким красным портвейном щербатый граненый стакан:

— Пей! Прямо залпом. Быстрее!

Галич трясущейся, слабой от мучений своих рукой взял стакан, сжал влажными пальцами, очень медленно, с явным усилием, поднес его все же ко рту — и так же медленно выпил.

Сжал сухие, в трещинах, губы.

Сел напротив. Скорбно молчал.

Ждал — когда же вино подействует.

— Ну как? — спросил Ворошилов.

Галич пожал плечами: ничего, мол, еще не чувствую.

Надо было ускорить его — здесь, у нас, — возвращение к жизни.

Я налил ему второй — с портвейном белым — стакан.

Галич, уже быстрее, выпил покорно вино.

Посидел, надувшись, набычившись, сжав кулаки, крепясь, безмолвно, словно во сне, шевеля сухими губами.

Лицо его, мертвенно-бледное вначале, стало уже серым, землистым, потом — немного порозовело.

Движение к лучшему, что ли?

Он, кажется, оживился.

— Ну что, отошел? — сочувственно, проявляя заботу о ближнем, спросил его Ворошилов.

— Да вроде бы помогает! — стараясь поверить в эту винную скорую помощь, а больше веря, конечно, в нашу, людскую помощь, в наше с Игорем в этом деле, сложном деле его спасения, восставанья из мук, участие, печально и глухо не вымолвил, а нутром всем выдохнул Галич.

— Поможет, поможет! Я знаю! — заверил его Ворошилов. И налил ему решительного полный третий стакан. — Бог Троицу любит. Давай пей, и все тут. Сейчас полегчает.

Галич как-то послушно, покорно, механически, но и осмысленно, заверениям Игоря веря, сразу выпил третий стакан.

Тогда ведь мы с Ворошиловым понятия не имели, что у Галича было это не просто похмелье, привычное, для многих, почти для всех, вовсе не традиционное, не рядовое похмелье, которое все лечили спиртным, а, скорее всего, ломка так называемая, потому что уже давно, по причинам достаточно сложным, в коих трудно теперь разобратся, и не надо в ней разбираться, в этой гуще страстей, и сомнений, и страданий, колослся он.

Как тогда выражались и нынче говорят — сидел на игле.

Но спиртное-то — как без этого? — Галич тоже употреблял.

И мы, и знакомые наши это воочию видели.

В те годы пел Галич, бывало, в компаниях авангардных, богемных московских художников.

Пел, струны терзая гитарные, вдохновенно глазами сверкая, повышая и понижая, артистично, свободно, голос, в мастерской у Ильи Кабакова, на чердаке громадного, многокорпусного, странноватого, дореволюционной постройки, всем знакомого дома, на Сретенском, в самом центре столицы, бульваре, пел, в ореоле своей тогдашней, неофициальной, подпольной, но прочной, славы, находясь в кругу благодарных, внимательных, чутких слушателей, своих, надежных вполне, единомышленников, пел — и всегда перед ним стоял стакан со спиртным.

Наивные люди, мы с Игорем твердо верили в силу привычного для всех нас вина, всегда улучшающего любые, даже тяжелые самые, похмельные состояния.

А Галич не то чтобы как-то, выпив, повеселел, но стало в нем больше жизни.

По крайней мере, мы видели, задышал он теперь поспокойнее.

А лицо — лицо его все же оставалось малоподвижным, отяжелевшим, набрякшим, нависающим отрешенно над столиком с нашей выпивкой и закуской слишком скромной, такой уж, какая была у нас, — посреди беседки.

И только глаза его — словно выглянули наружу откуда-то изнутри, из глубины тоски, тягостное присутствие которой здесь, рядом с нами, ощущал я болезненно-остро.

— Тяжело, — почти шепотом, тихо, произнес неожиданно Галич, — тяжело мне совсем, ребята!

Потом на минуту задумался.

Тень смущения, резкая тень, прошла по его лицу.

Но все же решился он сказать нам то, что хотел.

— А что если... — начал он и умолкнул вдруг. Но потом пересилил себя и продолжил: — А что если мне махануть всю бутылку, разом? Клин клином вышибают — ведь так говорят. А что если это хотя бы, пускай ненадолго поможет?

Он уже не вопросительно, а моляще взглянул на нас.

— Да ради бога! — сказал я. — Ежели надо — пейте.

— О чем тут речь! — Ворошилов поддержал меня. — Пей на здоровье.

Он открыл зубами пластмассовую крышечку новой бутылки — и протянул ее, эту бутылку, полную почему-то до самых краев зеленого узкого горлышка, семисотграммовую, пыльную, с этикеткой полуотклеенной, — протянул, нет, заботливо, бережно, вложил прямо в руку Галичу.

Галич вначале растерянно повертел бутылку, и так, и этак, ну а потом тряхнул головой, взболтнул булькнувшее вино, вскинул бутылку наискось, над губами полуоткрытыми, — и осушил ее, до самого дна, буквально в три молодецких глотка.

Перевел, как водится, дух.

Занюхал вино горбушкой бородинского вкусного хлеба.

И что уж точно мы видели, может быть и на время, но — возвратился к жизни.

Хотя и срывались еще иногда с его губ невнятные слова — о тоске, его гложущей, об отсутствии минимального, много ведь и не надо, покоя, но было нам ясно уже, что ему получше сейчас, что ему, в таком состоянии, куда спокойнее с нами, нежели где-то там, у себя, в домотворческой комнате, как в застенке глухом, одному, — и если это, пока еще, был вовсе не тот знаменитый Галич, не светский лев, не душа столичных компаний, не гуляка, натура широкая, хотя, безусловно, и труженик, в недавнем прошлом — советский, модный, преуспевающий, драматург, а в нынешней яви — прославленный в тесных кругах нашей интеллигенции и среди богемы поэт, бард, исполнитель своих, полных печали, надежды, драматургии трагической и любви неразменной к людям, в своем, так все сходится, роде единственных, неповторимых, смелых, рискованных песен, то, во всяком случае, некое обаяние, шарм особый, да еще и такой притягательный, колдовской почти, магнетизм, которые у него были для всех несомненными, просто-напросто общепризнанными, — с усилием как-то, но все же проявились в нем наконец, — и он, человек благодарный, был уже способен к общению.

Он внимательно посмотрел ворошиловские рисунки.

— Замечательные работы! — сказал он. — Да, настоящие. Надо помочь. Обязательно надо, Игорь, тебе помочь. Вот ведь только: пообещаешь, обнадежишь, с похмелья, — и вдруг...

Он запнулся, смутился, сгорбился.

И совсем уже тихо, глухим полупшепотом, грустно продолжил:

— А ведь надо, надо помочь!..

— Ну, себя-то неволить нечего, — так сказал ему Ворошилов. — Пусть идет все само собой. Как уж выйдет. А там — разберемся. Приходи в себя лучше. Держись. Отдыхай. Набирайся сил. Просто — дыши. Смотри — да попристальнее — на мир.

Так вот мы и сидели втроем, за вином, в беседке дощатой, — и негромко, так, что никто не слышал нас тогда, — говорили.

О чем? Да о разном. О том, что развеялось в лиственном шелесте, в птичьем щебете, в свете волшебном подмосковного летнего дня.

Вспоминать об этом — непросто, да и душу ранят теперь, в дни иные, в иное время, отголоски былых речей.

Потом, поправив здоровье и наговорившись с нами, Галич встал, с церемонной вежливостью поблагодарил нас за помощь.

Получилось это, мне помнится, у него неловко и трогательно.

Попытался он улыбнуться — и вышло это не просто грустновато, и только, нет, вышло у него это слишком уж грустно.

— Игорь, Володя! Скажите мне — вы ведь еще побудете здесь до вечера, правда? — спросил он как-то совсем по-детски, но странным образом это сразу соединилось со всем его обликом — крупного, вальяжного, грузного, тертого, выдавшего всякие виды, немолодого уже, но еще и не старого, зрелого, солидного мужика, с его, таким очевидным, еще играющим в нем, сквозь боль, сквозь тоску, сквозь смятение, притяжением, блеском, шармом, с артистичностью несомненной, со всеми теми чертами, которые, в совокупности своей, все время и делали его, человека отважного, в глазах современников — Галичем, запретным и легендарным, выразителем, так получилось, своей, непростой эпохи, чей голос звучал годами с магнитофонных лент по всей огромной стране, чья жизненная позиция вызывала, и это важно, всеобщее уважение, чья трагедия, воплощенная в нем самом, таком, каким был он, приоткрылась тогда перед нами.

— Я вернусь! — заверил он нас и тяжело отодвинулся — в некую странную даль, в сторону, в светлую зелень.

Жить ему оставалось — восемь с половиной, всего-то, лет.

Но никто абсолютно этого — что за доля? — еще не знал.

(...Давней зимой, в феврале восьмидесятого года, познакомился я — случайно, или, может быть, не случайно, и, скорее всего, судьба так устроила все, чтоб встреча наша все же произошла, — с Аленой, дочерью Галича.

Я читал стихи свои людям, собравшимся зимним вечером, чтобы слушать меня, в квартире близких родственников замечательного художника Роберта Фалька, в одном из кирпичных, невзрачных корпусов, образующих нечто вроде крохотного квартала, находящихся во дворе, за приземистым светлым зданием бывшего ВХУТЕМАСа, на Мясницкой, почти напротив столичного главпочтамта.

В начале двадцатых годов где-то здесь, в корпусах этих, временно, после долгих своих скитаний наконец возвратившись в Москву, обитал председатель Земного, вихрем войн, революций, событий небывалых, объятого шара, человек, сочинявший стихи и поэмы, драмы и прозу, изучавший историю мира, прозревавший грядущее, чужавший там, вдали, вселенский язык, математик великий, мечтатель и создатель «Досок судьбы», одинокий, несчастный, бездомный, вечный странник по землям южным и восточным, звездный скиталец, птиц знаток, собеседник зорь и растений, тихий, усталый и больной Велимир Хлебников. Вхутемасовские студенты, художники-авангардисты, приносили порою в дар молчаливому русскому гению скудную пищу тогдашнюю, понемногу, что Бог послал. Некоторые из них иногда его рисовали. От общения с молодежью Хлебников оживал. Потом он исчез — навсегда. Остались — его творения. Еще раз он — для всех — звезда. Миру всему — в дарение.

В обжитой московской квартире, сплошь, вплотную, одна к другой, но зато и с любовью, завешенной работами Фалька, с которым общался в пятидесятых мой друг Толя Зверев, художник, о котором Фальк говорил, что подобные рисовальщики рождаются раз в столетие, читал я людям, пришедшим послушать меня, стихи.

Помогла здесь устроить мой вечер замечательная подруга, и моя, и друзей моих, по богемной нашей среде, в годы прежние, сложные, Лорик, так ее называли все мы,

по привычке, Лариса Пятницкая, чья отзывчивость — беспримерна, доброта — всегда велика, понимание жизни, искусства и поэзии — уникально, человечность — светла и чиста.

Я читал — в кругу современников образованных, умных, серьезных, тех, кому слово дорого русское и поэзия дорога.

Вечер длился — и снег за окнами шел все гуще — и с белыми хлопьями совладать не могла темнота, — и невидимая черта пролегла меж семидесятыми и началом восьмидесятых, там, вдали, — и в душах крылатых зазвенела чуткой струной, чтоб остаться навек со мной.

Вечер зимний — из давних лет.

Что за музыка в нем звучала?

В нем — грядущих речей начало.

Ну а с ним — и звучащий свет.

Алена Галич сама подошла ко мне — познакомиться.

Мы с нею разговорились.

И вдруг я увидел в ней такую же светлую внутреннюю силу, какая была и в отце ее и жила в нем всегда, пробиваясь упрямо ввысь, к небу и звездам, сквозь боль.

Приезжала позже Алена в нашу с Людмилой прежнюю, скромную, однокомнатную квартиру в Новогиреево.

Алена многое сделала для того, чтобы тексты Галича, разбросанные по разным собраниям, здесь, на родине, были опубликованы, как о том и мечтал сам поэт.

Вечер зимний. Снега повсюду.

Свеч мерцанье. Преданий груда.

И сквозь вьюгу — живое чудо.

Свет звучащий. И — голос вслед...

...Зимой, в декабре, морозном, с ледяными ветрами, семьдесят седьмого, Змеино-го, года, измученный предыдущими скитаниями своими и новых скитаний ждущий в грядущем году, я, стараясь держаться, еще бездомничал.

Приютил меня, только временно, разумеется, ненадолго, мой знакомый, из новых, более молодых, не из нашей компании, но зато для меня интересный, славный парень, Сережа Берков, остро слов, развеселый гуляка, выпивоха, рассказчик всяческих удивительных, с парадоксами современными, фантастических, для меня, например, историй, с которым я познакомился прошлым летом, в Крыму, в Коктебеле, где он, в окружении пестрой, хиппующей, загорелой толпы восторженный слушателей, хрипловатым голосом пел под гитару то песни бардов, то цыганщину, то романсы, то рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», в зависимости от выпитого перед этим, порой в изобилии, да таком, что запоем попахивало или долгою пьянкой, местного, в основном, сухого вина или напитков покрепче, а также от настроения и состояния духа, но всегда с неизменным успехом. Был я ему благодарен за участие, за ночлег.

Средств столь нужных к существованию у меня и в помине не было.

Своего жилья — да угла, и тому был бы рад я — не было.

Рукописи, оставленные на хранение в доме случайном, далеко не сразу, с трудом, но вернулись все же ко мне.

На полу стояла тяжелая сумка, плотно набитая ими.

За окном стояла холодная, для меня чужая, столичная, с одиночеством, с грустью, привычная, хоть страшная все же зима.

На широком пустом подоконнике лежал, словно знак или символ тревожный, неведомо кем оставленный для кого-то, огромный, с детский кулак величиною, жаркий,

как пламя, густо-оранжевый, отливающий вроде бы алым, отсвечивающий багряным, нет, скорее — багрово-красным, коктейльный, из бухт карадагских, вулканической прорвою пышущий меж снегов декабря, сердолик — и сам собою светился на фоне вначале серого, потом синевато-белесого, а потом, ближе к вечеру, въедливого, чернильного, сине-лилового, ну а к полночи — темного, черного, замерзающего, оконного, в ледяных наростах, стекла, почему-то напоминая о какой-то невероятной, неизбежной грядущей жертве.

Я включал иногда приемник — и в бездонном ночном эфире находил сквозь глушилки пробившиеся к нам, в Империю нашу режимную, с новостями последними, западные, всем известные, «голоса».

И в мое обиталище временное, словно жгучий разряд электрический, ворвалась ужасная весть из Парижа — о гибели Галича.

И — голос его, вопрошающий всех нас:

— А когда я вернусь?..)

Мы опять остались, в беседке домотворческой, с Ворошиловым, в окруженье ливы зеленой с комариным гулом, вдвоем.

Но вскоре, видимо, выспавшись, отдохнув, помаленьку, стали к нам, в беседку, один за другим, навещать и киношники.

Причем интересы их распространялись, как сразу же, в считанные секунды, здесь же, на месте, выяснилось, не только на ворошиловские оставшиеся работы.

Они — удержаться от этого трудно им было, наверное, — посягали еще и на наше оставшееся вино.

— Где Галич? — спросил Ворошилов очередного приятеля, забежавшего к нам, чтобы тоже приложиться скорее к стакану. — Он обещал вернуться, обещал помочь мне с картинками!

Приятель махнул рукой:

— Отлеживается, закрывшись у себя. Томится. Страдает. Тяжело ему. Пусть отдыхает.

— Ну, коли так, то ладно, — пробормотал Ворошилов.

А киношники всяких рангов, те, с которыми не успели мы повидаться после обеда, отдохнувшие, — любопытствуя, уже звали к себе нас, желая поглядеть, в обстановке спокойной, санаторной, отчасти творческой, ворошиловские работы,

Режиссер Юткевич, прозрачный, как пергамент, призрачно-бледный, элегантный, с манерами барина, удобно сидящий в кресле, в окружении интеллигентных дам различного возраста, преданно, раболепно даже, глядящих на своего повелителя и кумира, каждому слову короля своего внимающих, человек, по всему виду, избалованный, и давно, таким вот, повышенным, пристальным, страстным вниманием к мэтру, перебирая холеными, длинными, узкими пальцами ворошиловские рисунки, то поближе к ним наклонялся, чтобы цепко взглянуть в каждый на листе светящийся образ, то, пожав плечами, прикрытыми заграничным фирменным джемпером, словно флагман страны таинственной, той, в которой был он властителем, — от простуды, на всякий случай, — вдруг откидывался назад — и тогда, со значением, так, чтобы все вокруг его слышали, но негромко, спокойно, томно, с бархатистой ноткой, тоном знатока записного, матерого, всех на свете искусств, говорил:

— Да, работы хорошие. Нечто в этом роде я видел в Париже. Только эти — вот он, талант настоящий, — оригинальнее!

И, раскинув узкие кисти утомленного славой артиста, словно крылья, в знак одобрения своего, — ничего не купил.

Покупали — киношники рангом поскромнее, люди попроще.

Ворошилову надоела затянущаяся торговля.

И он, взяв папку с рисунками, как сеятель во поле русском широком — лукошко с зерном, принялся раздаривать их всем, кто под руку подвернулся, и налево — берите, дарю, мол, и направо — держите, мол, вам, все берите, все забирайте, разбирайте все по частям, вот вам всем — работы, на память.

За бесплатно — все брали охотно.

По всей территории болшевского подмосковного Дома творчества, сквозь листву зеленую, свежую, сквозь людское густое роение, прорываясь к летним, просторным, как шатер для всех пожелавших приобщиться к искусству сегодня настоящему небесам, белели в руках киношников Игоревы работы.

Получилась, как и всегда, по наитью, сама собою, — да и к лучшему ведь, наверное, что сейчас она получилась, — персональная выставка Игорева, — и не где-нибудь в галерее городской, а здесь, на природе.

На пленэре — так ведь сказали бы о подобном явлении французы, там сказали, в том же Париже, где бывал режиссер Юткевич, ну а мы-то с Игорем сроду не бывали и даже об этом здесь, в Империи проживая, как уж выйдет, не помышляли.

Посему — пусть лучше по-русски, по-простому, по-нашему: выставка — на природе, явление чуда, просто так, от щедрот его.

Комары, нежданно утроившие активность свою зловредную, вконец, обнаглев окончательно, просто заели нас.

Вечерело. Солнце давно ушло на запад — и, видимо, собиралось и вовсе скрыться с глаз людских, — на время, конечно.

Киношники, ошастливленные, все разом, сжимая в руках дареные, всем доставшиеся, ворошиловские рисунки, постепенно, неудержимо, разбрелись уже кто куда.

Пустую папку, в которой еще недавно лежала целая россыпь сокровищ, Игорь, внезапно почувствовав непривычную легкость ее, прижимал к себе острым локтем.

Нос его запорожский выдался — сквозь пространство и время — вперед.

Глаза его — тихо, задумчиво — светились подспудным огнем.

Он сутулился — больше обычного.

Он молчал — и смотрел на закат.

Мы стояли вдвоем — посреди совершенно пустого двора.

Никого вокруг нас больше не было.

Пора было нам, пожалуй, уходить отсюда, пора.

Уже у самых ворот услышали мы исходящий откуда-то сзади, слабый, едва различимый оклик.

Оглянулись мы оба — на голос.

Голос — рвался издали к нам.

Или — к выси, что с темью боролась.

Или — к новым песням и снам.

Просветлевший слегка, но все же, пуще прежнего, грустный Галич к нам тянул огорченно ладони: мол, куда же вы, братцы, куда?

Ворошилов знак ему подал крепко сцепленными руками: все, мол, будет в порядке с тобою, не сдавайся, воспрянь, старина!..

И мы, покинув киношный Дом творчества, потащились к электричке, навстречу новым — сколько будет их? — приключениям.

Некоторая их часть началась, для нас, еще в Болшеве.

Мы с ужасом вдруг обнаружили, что вина у нас больше нет.

Деньги — есть. А выпивки — нет.

Но кошмар настоящий — тот факт непреложный, что до закрытия магазина пристанционного остается, всего-то навсего, ровно четыре минуты.

Эти вечные, ворошиловские, непростые, четыре минуты — как с его недавним нырянием в Сокольническом пруду.

Опять — четыре минуты. Ну, разве что с крохотным хвостиком.

И мы с Ворошиловым ринулись — вперед, скорей! — к магазину.

Напрямик, наугад, напролом.

Только бы нам успеть!

Только бы не остаться в незнакомых краях ни с чем!

И мы неистово мчались, наобум, по чутью, вперед, не разбирая дороги.

Мы по-птичьи легко перемахивали через все порой возникающие на пути нашем верном заборы.

Мы срезали все, вероятные и реальные, оптом, углы.

Мы развили такую скорость, что побили наверняка все рекорды — трудно сказать, на какую конкретно дистанцию, — но был это дивный Бег, с большой, а не с маленькой буквы.

И мы в магазин — успели.

За четыре секунды ровно — вот ведь как! — до его закрытия.

Уже продавщица усталая, с ключом и замком в руках, направлялась к двери входной, собираясь ее закрывать, уже хотела она гасить, как положено, свет, когда ворвались мы с разгону в тесное помещение продмага пристанционного — и потрясли ее до глубины души взмыленным видом своим, да и тем еще, что Ворошилов на бегу протягивал ей стопку рублей измятых, и была во всем его облике такая просьба глубокая — подожди, родимая, миленькая, дорогая, не закрывай! — и такое было в глаза его исступленное, не иначе, и отчаянное желание — эх, успеть бы купить вина! — что усталая продавщица за прилавок вернулась безропотно — и безмолвно, с явным чувством к нам, свалившимся словно с луны, к ней, сюда, успевшим явиться до закрытия магазина, с нескрываемым изумлением, только молча, слегка, покачивая то и дело, то влево, то вправо, закутанной пестрой косынкой седеющей головой, улыбаясь задумчиво, нам, незнакомцам таинственным, выдала вожделенные эти бутылки отвратительного портвейна, ровно столько, такое количество, на которое денег хватило, и до двери нас проводила, и потом уже только, дверь на замок закрывая привычно, с одобрением, с укоризною и с приятною искренней, вымолвила:

— Ну и герои! Надо же! Глазам своим нынче не верю. Бывают орлы такие — в наши-то времена!..

И мы со своей добычей дождались на темном, безлюдном перроне своей электрички, и долго, но все-таки ехали в Москву, и пили вино, и смотрели, к походам привычные, в отражавшие наши лица ночные вагонные стекла, и говорили — о чем?

Господи, да о чем говорить в дороге могли два друга, живущих искусством!

Все о том же — о том, святом, изумительном, непростом, долгожданном, желанном, возможном, упоительном и тревожном, покоряющем все стихии, исцеляющем души людские.

(Потом, через годы, сквозь время пройдя, вспоминали мы с Игорем Галича.

...Он вышел, сутулясь, глаза опустив, прошел меж березой и елью, усталые, жесткие руки скрестив, и выдохнул горько: «Похмелье!» Над Болшевым сизая дыбилась высь, киношники жались поодаль. И друг мой привычно сказал: «Похмелись, стряхни с себя тяжесть и одурь». Он выпил бутылку, один, в три глотка, занюхал горбушкой сухою, — и глянул вокруг, и промолвил: «Тоска! Не жду его больше, покоя. Что ж дальше?..» А дальше — изгнание, и боль, и песен рыдание глухое, и все, что означено словом — юдоль, и гибель, и время лихое. И голос, о стольком для нас говоря, сквозь небыль Парижа плеснул: «На родину, братцы! Пусть хоть в лагеря, но только б домой!..» Он вернулся. И друг мой, когда вспоминали мы дни, сулившие бед возрастание, сказал: «А лицо его было — в тени, но было над тенью — сиянье».

Или, может быть, так.
Облака.

День ли прожит, и осень близка, или гаснут небесные дали, но тревожат меня облака — вы таких облаков не видали. Ветер с юга едва ощутим — и, отпущены кем-то бродяжить, ждуг и смотрят: не мы ль защитим, приютить их сумев и уважить. Нет ни сил, чтобы их удержать, ни надежды, что снова увидишь, потому и легко провожать — отрешенья ничем не обидишь. Вот, испарины легче на лбу, проплывают они чередою — не лежать им, воздушным, в гробу, не склоняться, как нам, над водою. Не вместить в похоронном челне все роскошество их очертаний — надыхаться бы ими вполне, а потом не искать испытаний. Но трагичней, чем призрачный вес облаков, не затмивших сознания, эта мнимая бедность небес, поразивших красой мироздания.)

И вот Ворошилов, мыкавшийся по знакомым, вдруг снял себе комнату.

Снял — за гроши буквально. Можно сказать, что — даром. Или же поточнее скажем — почти что даром.

Он вселился туда со всеми причиндалами: торбой с красками и кистями, бумагой, картонками, перевязанными шпагатом, одежкой кое-какой небогатой и стопкой книг.

И решил зажить независимой, по возможности вольной, жизнью.

Удалось ему, чудом, возможно, после долгих мытарств, продать иностранцам каким-то, которых притащили к нему, с трудом отыскав его где-то, знакомые, некоторые работы, живопись, давние темперы, и графику, свежие серии.

Покупатели — были довольны:

— Превосходные вещи!

— Недорого!

— Замечательно!

— Великолепно!

И — покупки скорей упаковывать.

И — бутылку виски на стол:

— Это — вам. Угощайтесь! Презент.

Ворошилов — отведал виски.

— Градус есть. Приличный напиток!

И — добавил. И вновь — добавил.

И — расчувствовался. Размяк.

Пробудилась в нем — доброта.

Захотелось ему — приятное иностранцам сделать гостям.

Грудю новых темпер достал он — и широким жестом творца показал на них:

— Выбирайте! Что понравится — то подарю.

— О! — воскликнули иностранцы.

И давай поскорей — выбирать.

— Это.

— Это.

— Вот это.

— И это.

— И вот это еще.

— И еще... О, какая работа!.. Это.

Ворошилов сказал:

— Все — дарю!

Изумились тогда иностранцы широте благородной души ворошиловской. Пошушукались. И — вторую бутылку виски из портфеля на стол:

— Презент!

Ворошилов открыл бутылку.

Приложился к ней. Раз, другой.

А потом, после паузы, третий.

Полбутылки — как не бывало.

Закурил свой «Север» привычный.

Бухнул грудю рисунков на стол.

Показал на них:

— Выбирайте! Что понравится — подарю.

— О! — воскликнули иностранцы.

Принялись выбирать — рисунки.

— Это.

— Это.

— Вот это.

— И это.

— И вот это еще.

— И еще...О, какая сангина!.. Это.

Ворошилов сказал:

— Дарю!

Иностранцы — переглянулись. И — бутылку виски на стол. Третью. Бог ведь Троицу любит.

И сказали они Ворошилову:

— Извините, но больше — нет!

Посмотрел на них Ворошилов. Пить — не стал. Взял пачку рисунков. Протянул иностранцам:

— Дарю!

Иностранцы были растеряны. Даже больше — потрясены.

Уж чего-чего, но такого видеть сроду им не приходилось.

Головами все закачали. Загудели, залепетали:

— О, спасибо!

— Спасибо!

— Спасибо!

Ворошилов сказал:

— Да бросьте! Все о, кей, как у вас говорят.

Принялись иностранцы покупки и дары упаковывать Игоревы.

Ворошилов помог им. Сказал:

— Там, в своих заграничных странах, окантуйте работы. Все. Пусть висят у вас. Есть не просят. Вспоминайте меня иногда.

Иностранцы сказали:

— Конечно!

Иностранцы сказали:

— Повесим!

Иностранцы сказали:

— Вспомним!

Ворошилов сказал:

— Надеюсь!

И — опять приложился к бутылке.

Иностранцы сказали:

— О!

Ворошилов сказал:

— Годится!

Иностранцы сказали:

— Много!

Ворошилов ответил:

— Нормально.

Иностранцы сказали:

— Крепкое!

Ворошилов ответил:

— Сойдет.

Собрались уходить иностранцы.

— До свидания!

— До свидания!

— До свидания, добрый русский богатырь! Спасибо! Гуд бай!

Ворошилов — их проводил.

— Приходите еще. Буду рад.

Ворошиловские знакомые, наблюдавшие процедуру иностранных приобретений и даров ответных, сказали напоследок художнику щедрому, провожать уходя привезенных покупателей:

— Ты чего?

Выразительно покрутили у висков своих пальцами:

— Спятил?

И добавили:

— Ну, ты даешь!..

Ворошилов от них отмахнулся, как от мух:

— Ничего! Прорастет!..

Все ушли. Захлопнулась дверь.

Ворошилов — на деньги взглянул заработанные:

— Жить можно!

И — опять приложился к бутылке, сделав только один глоток.

Остальное — оставил на утро.

Заварил себе чаю покрепче. Подождал, пока настоится. Всласть напился. Вот это вещь! Не чета какому-то виски.

Взял бумагу, мелки цветные. Помаленьку стал рисовать.

Впереди были — вечер и ночь.

До утра — было времени много.

Все сомненья и страхи — прочь.

Мир — велик. Жизнь прекрасна, ей-богу!

Надоело уже — кочевать.

Надо — комнату где-нибудь снять.

Надо — снова работать. Надо.

Труд — спасенье. Выход из ада.

И — нашлась наконец-то комната. В коммуналке. И то хорошо. И на том спасибо судьбе. Да и сдавшим ее хозяевам.

Было это — везением. Явным. Несомненным. Но и заслуженным. Вот и с комнатой — повезло, безусловно. Хвала везению!

Вообще, коль на то пошло, если вдуматься, было похоже, что пора испытаний всяческих и весьма тяжелых периодов остается уже позади, там, в былом, — и теперь начинается в невеселой его, сумбурной и действительно сложной жизни наконец лоса везения.

В принципе, это, как водится, следовало бы отметить.

Все тогда отмечать полагалось.

И тем более — очевидное, вот смотрите, судите сами, каково оно нынче, — наличие, для художника, для творца, для скитальца, в недавнем прошлом, а теперь — человека с комнатой, пусть и снятой, на время, пусть, но зато ведь в Москве, не где-нибудь, это важно всегда, — везения.

И Ворошилов надумал устроить в снятой им комнате и хорошенько отпраздновать желанное новоселье.

К делу он подошел обстоятельно, со всей возможной серьезностью, с той, врожденной, видать, добросовестностью, которая в нем проявлялась, не всегда, иногда, но все-таки проявлялась — и отдавала всегда, обычно, имеющей негаданное продолжение, последствия, да такие, какие вообразить невозможно было заранее, и очень уж бурное, прямо-таки стремительное развитие, этакое сплошное, непрерывное ускорение, движение по нарастающей, — хозяйственностью, такой, как он ее понимал.

Дело было действительно важным.

Закупал Ворошилов — провизию.

Закупал художник — питье.

Он, имеющий опыт немалый, опыт жизненный, кочевой, многолетний, суровый, божемный, не поспешил на выпивку.

И если уж приобретал водку, то набирал и целую батарею «Жигулевского» в основном, но отчасти и «Рижского» пива, и некоторое количество минеральной воды, боржоми, нарзан и эссенуки, и даже, на всякий случай, пригодится небось, лимонад.

Купил он портвейна, много, белого, красного, розового, купил сухого, дешевого, по девяносто семь копеек бутылка, белого, на вкус довольно приятного, легонького вина.

И все это сам он тащил, кряхтя, в жилье свое новое, в нескольких, разумеется, авоськах, в один прием, чтоб не метаться с покупками по новой. И — дотащил.

Потом — покупал он еду.

Начал с того, что купил сразу десять — впрок, чтоб запас был еды, — килограммов картошки.

Взял, подкинув их на ладони, чтобы вес ощутить и плотность овощную, два кочана, свежей, светло-зеленой капусты.

Взял вдобавок два килограмма — пригодится — капусты квашеной.

Купил огурцов соленых.

Купил один килограмм лука репчатого, в шелухе сизовато-коричневатой.

Купил килограмм оранжевой, в кудряшках зеленых, моркови.

Купил макароны, крупные, как патроны, купил вермишель, маленькую, рассыпчатую.

Купил черный перец и лист лавровый — для приготовления сытных и вкусных супов.

Поразмыслив, купил в мясном отделе свиные ножки с копытцами — для холодца, им любимого с детства, для студня, как он его называл.

Купил две банки студенческой еды — баклажанной икры.

Купил майонеза баночку.

Потом — измятый, слежавшийся пучок зеленого лука.

Вслед за луком — пучок петрушки.

Потом — две банки зеленого, крепкого с виду, горошка.

За горошком — две банки хрена.

И потом — две банки горчицы.

Купил килограмм колбасы «Чайной» и килограмм ливерной колбасы.

Купил сразу три килограмма дешевой мороженой рыбы — и, когда эта рыба оттаяла, засолил ее тут же, причем делал он это умеючи.

Купил он грудку селедки — ее он любил, и ел помногу, и называл уважительно — лабарданом.

Хлеба купил побольше — черного «Бородинского», черного круглого, черного кирпичиком, несколько белых, по двадцать копеек, батончиков.

Купил он четыре пачки индийского, со слонем на желтеньком фоне, чаю, — подвезло, случайно увидел и немедленно приобрел, правда, с нагрузкой, в виде четырех подозрительных банок маринованной свеклы, но, впрочем, и она для еды сойдет.

Купил килограмм соли.

Купил килограмм сахара.

Столько всего накопил, что запросто можно было пир для друзей закатить.

И всю эту гору провизии следовало на пиру всенепременно съесть — так задумывалось изначально, так планировалось, ну а замыслы вместе с планами, столь масштабными, надо было в жизнь воплощать.

Ворошилов убрался в комнате.

Он вымыть не поленился затоптанный, грязный пол.

Он влажной тряпкой протер стол, стулья и подоконник, все в комнате находящиеся предметы хозяйской, скудной, обстановки — благо таких здесь было наперечет.

Он даже оконные стекла протер — так светлее, праздничнее.

Он варил картошку, разделявал селедку, лук нарезал, готовил на кухне суп.

Он расставлял на столе, по возможности — покрасивее, тарелки, чайные блюдца, раскладывал аккуратно ложки, вилки, ножи.

Он украсил стол пирамидами разнообразных бутылок.

Для каждого им ожидаемого на новоселье гостя он поставил отдельный, вымытый добросовестно, чистый стакан.

Гостей назвал он немало. Даже, может быть, многовато. Пригласил он всех, до кого удалось ему дозвониться.

Он волновался — так хотелось ему перед ними выглядеть хлебосольным, щедрым, добрейшим хозяином.

Он побрился. Надел заранее выстиранную и выглаженную, чистую, тесноватую, светленькую рубашку.

Поглядывая на себя, изредка, бегло, в зеркало, висящее на стене, он одобрительно кричал: ишь ты, а все-таки он парень еще хоть куда!

Близилось время визита целой орды гостей.

Игорь успел приготовить.

Оставалось еще немножко потерпеть, чуть-чуть подождать.

Он сидел в тишине за столом, не притрагиваясь к спиртному, — успеется, наверстаем, все ведь еще впереди.

Он просто курил — и ждал.

В назначенный час раздался с площадки лестничной громкий, долгожданный, долгий звонок.

Ну, вот оно, вот! Начинается!

Идут. Что ж, вперед! Пора!

Ворошилов ринулся к двери входной, широко распахнул ее — и, сделав широкий, плавный, торжественный жест рукою, с подобающим случаю пафосом в голосе, возвестил:

— Дорогие гости, входите!

В коридор коммунальный, громко, так, что пол прогибался, топая сапогами казенными крепкими, деловито, целенаправленно, с быстротою, непостижимой для советских граждан простых, не вошел, а вихрем ворвался жутковатым — наряд милиции.

— Стой!

— Ты кто?

— Документы!

— Взять его!

— Разберемся! У нас — разберемся!

Ворошилова, потрясенного милицейским диким вторжением в мир, которого ждал он, в эту комнату, где мечтал он, погуляв с друзьями вначале, новоселье отметить с ними, здесь, в покое, сосредоточиться и работать все время, — схватили, как преступника, — и увезли, в неизвестность куда-то, в чем был, в тесноватой чистой рубашке и в домашних разношенных тапочках.

Оказалось, что комната, снятая незадорого и надолго, у ментов была на учете, что хозяева, люди темные, что-то вроде бы натворили и куда-то быстро исчезли.

Чем запретным они занимались, в чем конкретно они провинились, что за люди были такие — совершенно сейчас не помню.

Был куда страшней и существенней тот нелепейший факт, что именно из-за них, ни за что ни про что, пострадал мой хороший друг.

В милиции на Ворошилова — навешали чье-то дело.

Так случалось в прежние годы.

Легче легкого для милицейских, при чинах, при погонах, властей было в чем-нибудь очень серьезном обвинить ни в чем не повинного, да еще и к тому же творческого, беззащитного человека.

Опять-таки и разыскивать действительного преступника, поскольку был заместитель найден ему, не требовалось.

Галочку там, у себя, в канцелярских своих бумагах, поставили — вот и все.

Видимость проведенной с успехом, большой работы.

Привычка типично советская — в типично советской, с подменой одного другим, ситуации.

Имитация. Подтасовка.

В случае с Ворошиловым это произошло потому еще, что художник, не удержавшись, высказал провязавшим его ментам все, что о них он думал, все, что считал для себя необходимым сказать.

Их реакция на слова, прозвучавшие, как набат или гром среди ясного неба, оказалась незамедлительной.

В русле мраком покрытой, подлинной, — а не липовой, показной, для отчетов, для планов, — жизни учреждения, в нашем народе, понимавшем все, нелюбимого, учреждения — порождения всей советской тогдашней системы.

И менты — случай выдался — просто отыгрались на Ворошилове.

Ага, мол, художник? Ишь ты, поди ж ты! Абстракционист? Или кто там? Нигде не работаешь. Тунеядец, значит? Бродяга?

Так ты еще и возникаешь?

Ну, тогда получай сполна!

Его из ментовки отправили прямо в тюрьму. В Бутырки.

Распрекрасное выбрали место для воздействия — в лоб — на психику — что там чикаться с ним, церемониться? — задавить! — и на душу художника.

Традиции — были. И — навыки. И — методы. Вон их сколько!

Такое местечко, где хочешь не хочешь, а призадуматься о справедливости в жизни.

Особенно в той, что во мгле затянувшегося бесчестия проходила в нашем отечестве.

За что? — вопрос этот глохнул в пространстве тюремной камеры.

Вины отсутствие полное — доказывать было некому.

Ворошилов, однако, упорствовал.

Его козержоже упрямство выиграло с невиданной силой и сказалось по-новому в этой трагической ситуации.

Пробудилась в нем воля — и крепость необычную обрела.

Ни за что не сдаваться! Держаться!

Справедливости добиваться!

Должна ведь быть в мире, сложном, жестоком порой, справедливость!

Он твердо стоял на своем.

Неужели его мучителям непонятно, что он ни в чем совершенно не виноват?

Пребыванье в тюрьме — его, ворошиловское, — ошибка.

Неразумное что-то. Бессмысленное.

Бред, и только. Нонсенс. Абсурд.

Уж чего только не довелось навидаться ему, человеку горемычному, но тюрьма — это ясно как Божий день, всем на свете должно быть, — не место для художника. Неужели не желает никто понять, что художнику здесь нельзя находиться категорически?

Почему он должен сейчас отвечать — неизвестно за что, за кого? Почему он вынужден — за кого-то, вместо кого-то, виноватого в чем-то, — страдать?

Наваждение, да и только.

Все, что нынче с ним происходит, иначе и не назовешь.

Прирожденный воитель, он не хотел быть безвинной жертвой, не желал становиться безвольной, бессловесной, покорной игрушкой в чьих-то грязных руках, вставал против лжи, противился всячески тому, чтобы так вот, по чьим-то указаниям, или приказам, или прихоти, или блажи, или мести, или зловредности, по случайности, по нелепости, по причине идиотического, в корне, прежде всего, по сути, вот куда посмотрите, стечения разных жизненных обстоятельств быть разменной картой в каких-то изощренных, иезуитских, политических, может быть, играх милицейских московских властей.

Тогда его из тюрьмы отправили на принудительное лечение — в нехорошую, как Булгаков сказал бы, психушку, похуже тюрьмы, в Столбовую.

Кошмарное было — в годы минувшие — заведение.

Известность была у него широкая и дурная — такая, что, при одном только упоминании о нем, бывалые люди, кое в чем хорошо разбиравшиеся, кое-что получше других понимавшие, тут же вздрагивали, замолкали и напрягались.

Там попытался Игорь по-хорошему, по-человечески, по-честному объяснить, с глазу на глаз, с главным врачом.

Ведь это вполне нормально и даже очень ведь правильно — взять да и поговорить с человеком, дававшим клятву Гиппократу, серьезным, толковым, напрямую, начистоту, откровенно, как на духу, ничего от него не скрывая, искренне, доверительно, в надежде на человеческое и врачебное понимание.

Тот, как это ни странно, вдруг снизошел до художника.

Почему? Да кто его знает!

Может быть, проявилось в нем обычное любопытство.

А может, имели место интересы профессиональные.

После того как Игорь рассказал ему о нелепой истории, произошедшей с ним и приведшей его по чьему-то распоряжению, таинственному, покрытому пеленою туманных домыслов и догадок, сюда, в психушку, а потом откровенно поведал, вкратце, о жизни своей и непростой судьбе, ну а потом, незаметно увлекшись, подробно, доходчиво, хотя, как всегда, с основой философской и метафизической, с привлечением, для наглядности, цитат из Святого Писания, из Корана, из мифологии, из Гёте, из Бёме, из Экхарда, из Хлебникова, рассказал о своем понимании живописи и тут же ему прочитал интересную и поучительную лекцию о Ван Гоге, — «лечение» принудительное сразу же, в тот же день, после беседы, усилили.

После второй, вдохновенной, разумеется, и обстоятельной, лекции о Сезанне, прочитанной, неожиданно для самого себя, Ворошиловым, почему-то, — в полном составе появившемся перед ним, навестившему вдруг его как-то утром, — по чьей команде и с какой целью — неясно, заинтересовавшему его, ворошиловской, творческой, художнической, не такой, как у членов МОСХа, не очень-то доступной для понимания, вовсе не реалистической, формалистской какой-то, сложной, деятельностью, с ко-

торой разобраться бы надо как следует, и его сокровенными, личными пристрастиями в искусстве, — коварному, как оказалось, но все-таки пораженному эрудицией небывалой и редкостным красноречием пациента, выдавшему виды, но с подобным случаем сроду не встречавшемуся, озадаченному, — тем не менее выполнявшему исправно свою работу, разрушительную, жестокую, медицинскому персоналу, — после некоторой заминки, после кратких переговоров меж собою, за дверью, надежно закрытой для посторонних, словно поспешно слишком наверстывая упущенное, да и так, для порядка больничного, а вернее, чтобы скорее проучить и вконец запугать вот этого, странноватого, если мягко сказать, художника, ему назначили, кажется, тридцать, пусть, мол, помучится, может и станет попроще потом, инсулиновых шоков.

Словом, чем дальше, тем хлеще.

«Лечение» шло — исправно, регулярно, по нарастающей.

С компонентами всеми возможными процесса этого долгого — жестокостью, издевательством, откровенным садизмом — и прочими, помельче и покрупнее — и не было им числа.

Испытывали на нем непонятные препараты, от которых, раньше ли, позже ли, ежели не загнуться, то свихнуться уж точно можно было всем подопытным людям.

У советской психиатрии средств подобных было с избытком.

Почему же их лишний раз не опробовать на отдельном, да таком еще, как Ворошилов, то есть мыслящем, человеке?

Вот и пользовались удобным, подходящим для этого случаем.

Вот, войдя, вероятно, в роль или в раж войдя, и старались.

Человек-то был — беззащитным.

Был — беспомощным. В их руках.

Выбивали здесь из него — всеми способами, какие подходили более-менее и какие годились, так, на авось, на глазок, «художническую дурь». Но что скрывалось тогда под этим определением, что конкретно имелось в виду, спрашивать было не у кого.

Непохожесть, всегдашняя, давняя, ворошиловская, на других, сама по себе уже должна была раздражать и ставить в тупик врачей.

А тут еще и спихнули-то его, им в руки, — мол, вот вам экземпляр, поработайте с ним хорошенько, вы это умеете, — не какие-нибудь московские, при погонах, шестерки, пешки, а милицейские власти.

Значит, был у них, у властей милицейских, для этого повод.

Значит, были причины для этого.

Так зачем же тогда теряться?

Вот он, подопытный кролик.

Ну и, следует помнить, конечно, что сказано было сверху: помучить его как следует здесь, да так, чтоб со временем он и родных своих не узнал.

Посему — за работу, товарищи!

Что с ним только ни вытворяли, как над ним только ни издевались!

Доселе понять невозможно, как Игорь все это выдержал.

Продержали его в психушке — полтора долгих, горьких года.

Вы вдумайтесь в эту цифру.

Полтора бесконечных года настоящих пыток, жестоких издевательств, сплошных истязаний.

Полтора беспредельных года ни на час, ни на миг, хотя бы, днем ли, ночью ли, не прекращающегося, нескончаемого кошмара.

Полтора безнадежных года постоянного, на измор человека берущего, ада.

И если бы не богатырский ворошиловский организм, то вышел бы из психушки великий русский художник законченным инвалидом.

Если бы вообще в таких условиях — выжил.

Из писем. На смятых листках, в основном — из тетрадок школьных, или вырванных из блокнотов, торопливо и густо исписанных ворошиловским крупным почерком, разрозненных, сложенных вчетверо, чтобы спрятать их и потом передать украдкой, при случае, навесившим его друзьям, — чтобы те поскорей их отправили, из Москвы, далеко, на Урал, драгоценной, любимой Мире.

Из неволи. Из заточения в аду подмосковном. Игорь Ворошилов — Мире Папковой.

— Милая! Что с тобой случилось? Я написал уже три письма, от тебя же никаких вестей. Отзовись. Я на инсулине. Неволя доконала меня. Теперь я понимаю зверей, которые в неволе не размножаются. Я — из их породы. Жизнь здесь проходит скучно и безобразно — но ничего не поделаешь — хотя временами и не могу сдержать своего бешенства. А это мне вредит.

— С утра просмотрел я пустые сны и коловращенье миров в калейдоскопе Вселенной, о движении Духа в самом центре ядра атома; о распаде Бога, который неожиданно перестал быть единственным, о сумасшедших домах, в которых я еще не бывал, но обязательно побываю — не в этом времени, так в другом; о предательстве любимых, желания которых менялись молниеносно — и горько мне было и страшно в этом инсулиновом бреде: пустые сны, пустое сердце, пустая жизнь — и никакой надежды.

72 — 26-1.

— Голубушка моя, от тебя ни слова, ни проклятий. Боюсь говорить — неужели в болезнь ввергнутая? Столько врагов, столько сук! О, не дай тебе Боже заболеть. Милая, я умру. Я всегда притворялся. Я люблю тебя безумно. И больше чем ты — меня. Я это знаю, но я скрывал, потому что ты глупа, а я боюсь твоей глупости. Ты баба, тебе позволено мучать. Как ты меня мучала. Я все прощаю. Я говорю — люблю. Я говорю — Мирочка, милая моя деточка, выздоравливай, похорони меня — тогда все будет в порядке. Не затоскуй, когда это будет. Все — можно найти. Только — не меня.

— Как отдаленный гул весенней ночи, когда рассвет чуть брезжит, а свиданье еще в зените страстного моленья, горячих поцелуев и упреков, и горьких слез и жалобного счастья, — я, воспаленный, в гнев ожиданья прозрений неожиданных, пророчеств, брожу по темной комнате, как леший, и грежу наяву — и вижу небо других, неведомых и страшных сказок, где только нарождается мгновенье — и все в чаду тропического жара, в котором млеют души и туманы, и мы в любви смертельной жаждем боли, чтоб через путь и мету слез кровавых познать другое, скрытое, благое, — неуловимое, как суть миров высоких, которым мы в болезни отвечаем горячим словом, воспареньем, светом, не зная ни покоя, ни отрады, ни легких снов, ни призрачного счастья, всегда в пути, в ревнивом напряженьи, всегда в пути — до самой, самой смерти.

— Приглашая вас на танец, что мне делать, Маргарита? Поцелуем ли отметить вашей смуглой шеи выгиб иль ревниво упавая до колен — колонн высоких, овном

радостно заблещать или горестно заплакать. Нет в душе моей решенья, разум страстно помутился, и уходят в синий вечер грезы странные мои. Может, завтра, может, в полночь встречу вас с веселым мужем, содрогнусь и бедным сердцем запылаю и умру. Но сегодня я не в силах оторвать шального взгляда от лукавейших вопросов ваших влажных быстрых глаз. Страхи — прочь, не зацелую, я ведь рыцарь чистой веры, только плачу и вздыхаю, только мучаюсь во сне.

Почему не пишешь? Здесь ужасная скука. Инсулин ничего не дает, кроме того, что в шоках открываются довольно пугающие потусторонние вещи. Целую тебя нежно, — всю, много-много раз. Игорь.

6/II — 72.

— Милая! От тебя никаких вестей. Я уж отчаялся дождаться. Что-нибудь опять случилось? Пиши мне почаще. Я здесь задыхаюсь от скуки и тоски. А еще сидеть и сидеть. Все опротивело, видеть никого не могу, угнетенное состояние, депрессия. Очень тяжело. Представь себе вокзал — с его шумом, гамом, переполненностью — вот в таком отделении я живу. Нет минуты, чтобы побыть одному. Оттого-то я смертельно устал. Единственное спасенье — сон. Я буквально спасаюсь сновиденьями. По крайней мере хоть во сне побудешь сам с собой. И за какие только грехи выпал мне этот ад? Соскучился по живописи. О тебе и не говорю. Пиши. Игорь.

— Мира! Теряюсь в догадках, пытаюсь понять, почему ты молчишь. Как-то не верится, что тому причиной какое-нибудь глупое или горькое событие. Во всяком случае, от тебя нет писем уже 1,5 месяца (!!). За это время можно было бы написать и о несчастье, если оно случилось, и о еще какой-нибудь задержке. Ты не представляешь, как мне здесь тяжело приходится. С прошлого года мая я не могу найти ни места, ни времени, чтобы порисовать. А желание было так велико. Сейчас нет ни желания, ни мыслей. Во мне тупо ворочается тоска и какая-то особенная глухая боль. Жаль золотого времени, что уходит безвозвратно, жаль себя за неустройство и призрачность будущего, жаль, что все, что наработал, расплылось, разошлось по рукам — и теперь я как сирота или как отец, потерявший в старости опору — своих сыновей, и задыхающийся в одиночестве, да чего только еще не жаль. Того и изобразить невозможно. Времени здесь много, жизнь трезвая — и вот все думаешь и думаешь — и потихоньку седеешь. В таком состоянии каждое слово друга и любимой на вес золота — неужели ты этого не поймешь. Не пиши только лишнего, потому что письма читают — и все. Уж как мне совершенно нечего писать родителям, я, зная, как там тоскует мать — пишу же и нахожу, о чем. Хоть два слова, но уже письмо, уже весть. Обязательно напиши. Я прошу тебя перенести отпуск на август — раньше я вряд ли выйду. Это тебе ничего не стоит, а я в неволе и от меня ничего не зависит. Пиши. Целую крепко. Игорь.

4/V — 72.

— Милая! Я получил от тебя письмо. Был очень обрадован, но должен снова тебе заметить, что здесь письма читают внимательно. Ради Бога, о моих делах в больнице — ни слова. Все или почти все письма, которые ты от меня получаешь, переданы тайно, минуя врача. Так что не обо всем, что я тебе пишу, можно говорить открыто. Я могу еще раз сказать тебе — хватит мучаться, хватит жить врозь. Это до хорошего не довело. А если будет так продолжаться, то может быть еще хуже. Я не скрою от тебя, что мой срыв — следствие болезненного состояния. Нельзя жить человеку в таком напряжении. Я тебе говорил, когда мы шли в «Большой Урал», что я нахожусь под страшной силы прессом. Ты, однако, не обратила на это внимания — или обратила в том смысле, что такой уж у меня тяжелый характер. Характер характером, а он у меня, как не совсем неправильно заметил Лева Пасекон, отличен тем,

что большей своей частью объясним и зависит от моей внутренней работы, которую я ревниво оберегаю, что дало повод Стесину назвать меня хитрым и скрытным другом, который редко говорит то, о чем думает (не знаю, насколько он прав) — характер, говорю я, характером — но обстоятельства, которыми я был окружен последнее время, были столь зловещими и ненормальными и все это, к несчастью, было так глубоко внутри меня запрятано, что рано или поздно нарыв должен был прорваться. Честно говоря, я за 1,5 месяца предчувствовал надвигающуюся беду, но ничего не мог с собой поделать. Милиционеров я не мог видеть без злобы и содрогания. И постепенно заболел элементарной манией преследования. Когда же пришлось с ними столкнуться — меня прорвало, и я им кое-чего сказал, за что и сижу сейчас в больнице. Живи я другой жизнью, я уверен, что этого не произошло бы. Целую тебя нежно. Игорь.

— Милая! Я получил два твоих письма. Слава Богу, что у тебя все в порядке. Конечно, молчание твое в это время — преступление, но я помолчу... У меня 24 мая была комиссия и принудку врачи мне сняли. Сейчас дело уже направлено в суд, который тоже должен снять с меня принудку. К августу я выйду. Я не совсем тебя понял в последнем письме. Ты пишешь, что я должен предупредить тебя письмом о своем приезде в Свердловск. Это по меньшей мере странно. Ты же собиралась в отпуск в Москву — и это было бы удобнее. Я жду разъяснений. Отпуск бери в августе. Я по выходе снял бы в Москве комнату. У меня здесь скопилось много дел — и честно говоря, я так истосковался по живописи, что мне не терпится скорее приняться за нее. В Свердловске я не смогу заниматься ею. Вдобавок же — с места в карьер бродяжить, обивать пороги Аркаши или Валеры для меня сейчас было бы очень тяжело. Я утратил интерес к людям и мечтаю о затворничестве и покое. Нелепые претензии людей меня крепко раздражают. Никто на меня не имеет права, никому я ничего не должен, а между тем меня содержат как скотину совершенно мне посторонние люди, да еще вдобавок всячески ущемляют в правах. Это безнравственно — и в высшей степени абсурдно. Человеческое общество с его порядками мне активно враждебно. Когда начинаешь смотреть на человека со стороны социальной, трудно, как говорил Ницше, скрыть «вздых презрения». В общем, я за Москву. Деньги мне нужны, да потом не исключена возможность, что к половине июля я выйду. Крепко целую. Игорь.

1/VI — 72.

— Милая! Я очень сочувствую тебе за маму. Утешать я не умею, да и сама смерть, размышление о ней — постоянно производят в моей душе опустошение — я бываю временами совершенно раздавлен очевидным абсурдом — тем не менее скажу, что плач о покойной никак не успокаивает ее душу, которая покат носится над землей; наоборот огорчает ее, предает ее мучению. Как бы велика ни была скорбь, надо всегда помнить, что самое худшее у почившей — позади. Я исхожу в этом из своей твердой, детской веры в бессмертие души — и тебе желаю этой же самой веры. Я также твердо уверовал в то, что этот мир — юдоль страданий, что противоречит конечной цели человеческого существования, что в свою очередь говорит в пользу других миров и другого бытия, где нет похищения, нет дисгармонии, нет абсурда. Впрочем, я только рассуждаю — и поэтому прошу простить меня, если что-нибудь не так выразил. Добавлю только, что ты напрасно считаешь себя сволочью за то, что два года ей не писала. Конечно, это не очень хорошо. Но, в конечном счете, важна твоя любовь к ней, а не что-нибудь другое. В этом смысле, — у тебя нет причин для терзаний. Я не получил пока от тебя письма с разъяснениями. Почему ты ждешь меня в Свердловске? Ты знаешь, как там трудно, почти невозможно устроиться с жильем — не говоря уж о том, что там будет совершенно невозможно заниматься живописью. Пощади меня. Конечно, вам трудно представить, какое мучение и ка-

кая пытка для художника невозможность работать в то время, когда он полон замыслов и желания. 10 месяцев я нахожусь в условиях, которые могут порождать только истерию и скрежет зубный. Я не чаю дожидаться того часа, когда освобожусь и измажусь в свои любимые краски. У меня тут есть кое-какие деньги. В июле я, по всей вероятности, выйду. Бумаги уже в суде. Сниму комнату. Бери на август отпуск и приезжай сюда. Это будет по-человечески. А в Свердловске опять будет черт знает как. Напиши мне быстрее. Неужели не наберешь денег на поездку? Целую тебя крепко. Игорь.

14/VI — 72.

— Мира! Я знал, что беда обрушится — и сочувствую тебе в меру всех своих возможных и даже невозможных сил. Я разделяю твою скорбь и твою горе — поверь, мне это все так понятно, что слова, пожалуй, и излишни. Я очень любил твою маму. Она была прекрасной и, к сожалению, редкой женщиной. Я думаю — ей было нелегко с ее мягкосердечием и врожденной деликатностью. Возможно, раньше было иначе — но сейчас, когда вампиризм стал повальным явлением, таким людям жить просто невыносимо. Не думаю, что раньше было намного меньше кровососов. Отсюда и заключаю, как ей было нелегко, поражаясь ее выдержке, умению держать себя в руках. Для этого нужны душевные силы — и немалые. Милая, я не знаю, как тебя утешить. Могу сказать, что есть только один выход — смириться с неумолимостью хода событий. Другого выхода — нет.

— Милая! Будет хорошо, если ты возьмешь отпуск в августе и приедешь с Верой к Яше. Я должен выйти к августу. Домой я хочу уехать в октябре — и буду там долго. По выходе же у меня будут здесь дела и я все равно сразу не смогу приехать. Потом — мне хочется немного отдохнуть. А дома отдых вряд ли возможен (я имею в виду отдых психический). Дома меня начнут ежедневно пилить за то, что не женюсь — и они правы. Что им возразить? Уроды и те имеют семьи и детей, стараются их иметь. Как-то я тебя спросил в сердцах (вопрос глупый) — почему ты так рано вышла замуж? Ты ответила, что боялась слышать от людей насмешки и пересуды относительно девичества. Это тебе сколько было! А у меня уже вышли все сроки. Можешь представить, как изводят меня отец и особенно мать по этому делу, не говоря уж о всяких встречных-поперечных. Из-за этого мне домой хоть не езди. Поэтому-то я и хочу месяц-полтора побыть здесь в тишине и уединении. Я не могу поверить, что ты не можешь сюда приехать. Много ли надо? В общем, я надеюсь, что ты откликнешься на мою просьбу и приедешь. У нас жара, в палате невыносимо душно, я изнемогаю. Отвечай сразу же. Целую крепко. Игорь.

Мира Папкина, тихая, задумчивая, печальная, прошлое вспоминавшая, когда ее навестил я несколько лет назад зимнею снежной порой, ворошиловская Лаура или, может быть, Беатриче, любовь его встарь великая, вручила мне эти письма.

И они говорят о минувшем времени, о тяжелом Игоревом периоде, о начале, еще только самом начале его психушек, страданий, мытарств и бед в семидесятых годах — его, ворошиловским, голосом.

Боролся Игорь с постигшей его бедою, как мог.

Сумел он собрать воедино для этого — всю свою волю.

В который уж раз Ворошилов собирал ее, вновь собирал — и не просто в комок, а в светящийся энергетический сгусток.

Так было надо. И он, как никогда, отчетливо, это здесь понимал.

Воля — это ведь жизнь, для него.

Воля — это победа грядущая.

Надо было и здесь, в аду, выжить, надо было — держаться.

Он писал стихи здесь — пронзительные, полные философских обобщений, и взлетов мистических, и неизбывной горечи.

Если когда-нибудь их удастся опубликовать, то окажутся перед читателем свидетельства духа, который пытались когда-то сгубить, но который, среди испытаний, оказался не просто живучим, и не просто высоким, нет, проявился он в этих стихах во всей своей редкостной мощи.

Дух — сквозь мрак. Да, именно так.

Дух — сквозь боль. Что было, то было.

Он пытался здесь — рисовать. Иногда. Хотя бы — урывками.

Но какое могло рисование быть в больничном его заточении?

Разумеется, это его огорчало и угнетало.

Но куда же было деваться?

Оставалось только мечтать, что когда-нибудь все равно он дорвется до карандашей и до красок — и уж тогда отведет наконец-то душу, с упоением, власть поработает.

А пока что, в стенах психушки, — сам себе задавал он уроки, ежедневные, неустанные, сплошные уроки терпения.

Бесконечные дни и месяцы все тянулись, все шли, в ожидании просвета, хотя бы крохотного, — все равно ведь за ними придет настоящий свет, — впереди.

Дал он знать «на волю», где именно и в каком, увы, положении, — и отчаянном, и опасном, и критическом, — нынче находится.

И друзья, богемные люди, потрясенные этим известием, далеко не все ведь их тех, кого, по своей наивности, по привычке давнишней, искренней, видеть в них всегда только лучшее, Ворошилов считал друзьями, а считанные, но зато проверенные в беде, иногда его навещали.

Приезжал я к нему в Столбовую, привозил ему курево, чай, фрукты, кое-какую еду. Покупал я то, что, в ту пору, на свои крайне скудные средства, мог, для друга, приобрести.

Но гостинцы скромные эти привезти — считал своим долгом.

Ведь все-таки витамины, для поддержания сил.

Их получить их там, в условиях тяжелейших психушки, бывшей, во многом, еще и похуже тюрьмы, Игорю было приятно.

Какая там никакая, пусть и маленькая, да радость.

Кто и сам побывал в подобных, лучше, хуже ли, все равно ведь непростых всегда, ситуациях, тот меня прекрасно поймет.

А немало перебывало ведь — в психбольницах — знакомых, здоровых и талантами разнообразными наделенных щедро, людей.

Важно было — увидеться с другом.

Поддержать его. Подбодрить, по возможности, как уж выйдет.

Сказать ему — важные, нужные, сегодня, теперь, — слова.

Помочь ему непременно надежду свою укрепить.

По-дружески, по-человечески, пусть и недолго, столько, сколько нынче врачами дозволено, здесь, в психушке, с ним рядом побыть.

Ворошилов ко мне выходил — исхудавший, желтый, небритый, но зато с волевым, сечевым, гордым блеском в усталых глазах.

Был он, друг мой, потомок славных запорожцев, казак лихой и орел, — изможденным, измотанным, был — закормленным всякими странными для него, совсем непонятными и, похоже, что просто убойными современными препаратами.

Но он — противился гибели.

Он, созидатель, творец, — противостоял разрушению.

И это видел я сразу — по взглядам его, в которых читалась решимость внутренняя — все препятствия на пути к желанной грядущей победе обязательно преодолеть.

Мы с Игорем потихоньку, так, чтобы нас не слышали шныряющие вокруг санитары, а то и врачи, уединившись где-нибудь подальше от этих монстров, беседовали, — и я с ужасом осознал, что это за развеселое заведение, эта психушка, где находится, ни за что, ни про что, мой хороший друг.

Все голливудские, без исключения, фильмы ужасов, увиденные в дальнейшем, после развала Союза, когда хлынул к нам бурный поток западной кинопродукции, все книги подобного рода, прочитанные потом, просто меркнут, сходят на нет, при сравнении с нашей, советской, отечественной психушкой.

Все в ней, рядом, на каждом шагу, с каждым взглядом, с каждой минутой, проведенной здесь, обнаруживалось — Босх и Гойя, Данте и Гёте, и Дали, и наш дорогой Николай Васильевич Гоголь, и Булгаков, — да и чего там только не было, что там только в дни приездов моих к Ворошилову то и дело не узнавалось!

Лучше, мой вероятный читатель, мне сейчас помолчать да вздохнуть.

Вытащить Ворошилова из психушки было в те годы нам, друзьям его, невозможно.

Что мы сделать могли тогда, как могли мы тогда это сделать — при полнейшем отсутствии должного, с непременной закалкой, опыта, и не только его, но еще и нужных, крепких, надежных связей, без которых в былые, мглою днесь покрытые, времена, да и нынче, в период нашего затянувшегося междувременья, коль на то уж пошло, и шагу было всем нам не сделать, чтобы не наткнуться вдруг на преграды, а спокойно весь путь пройти?

Оставалось только поддерживать Ворошилова, хоть по-дружески.

Оставалось лишь верить — в его избавление — в грядущем — от бед.

Он сам себе цель поставил: всенепременно выбраться отсюда, пусть и не сразу, тут уж все и ежу понятно, и придется еще потерпеть, и помучиться здесь немало, но потом, через время какое-то, когда все эти адовы муки, круг за кругом, будут им пройдены, и победа будет за ним.

И — сумел из психушки выбраться.

Через полные всяческих ужасов полтора — жизнь убавивших — года.

Дали, на всякий случай, «группу» ему, как психически больному, долго лечившемуся в соответствующей больнице, нуждающемуся в помощи медицинской, необходимой наперед, на долгие годы, если выживет, человеку.

От пресловутой «группы» этой, читай — от надзора властей и врачей незримого, некуда было деваться.

Этакое специальное клеймо, для вольнолюбивых, независимых от заведенных в Империи, столь давно, что казалось уже — навсегда, порядков тоталитарных, от раб-

ского повиновения кремлевским властям, трагических в своей фантастической стойкости, людей, современников наших, соратников, собеседников, мучеников, героев.

Клеймо, дающее право людям — на жалкую пенсию.

Дело с милицией — как-то само по себе затихло, забылось. Никто о нем почему-то и не вспоминал.

Ворошилов вернулся к нам из психушки слегка постаревшим, но с каким-то особенным, новым, ему открывшимся знанием тайным — о мире и людях.

И — с подорванным основательно — медициной советской — здоровьем.

Всем понятно было тогда, почему оно оказалось подорванным основательно — и кто именно так расстарался, чтобы его подорвать.

О болячках думать всерьез не желал он сейчас, и все тут.

Не желал. Не хотел и слышать. Принципиально. Сознательно.

У него-то — какие годы? Вполне еще молодые.

Некогда, просто некогда чувствовать всюду себя угнетенным, разбитым, больным.

Да мало ли что там болит?

Лучше — этого не замечать.

Стараться — не замечать.

Приучить себя — не замечать.

Здоровье — дело, похоже, поправимое. Так он считал.

Панацея от бед — работа.

Вот что сейчас для него в жизни самое важное.

Вот в чем сейчас для него — спасение настоящее.

И он принялся — работать.

Так мечтал он в психушке проклятой о возможности заниматься искусством — и наконец-то получил — нет, радостней надо сказать об этом, пожалуй, — обрел он эту возможность.

Наконец-то дорвался он до живописи своей.

Наконец он сможет «измазаться в свои любимые краски»!

Ворошилов ринулся к творчеству — в свой мир, в свой лад, в свои ритмы, в животворный свой, рукотворный свет, — словно ринулся в бой.

Только это сражение нынешнее — было радостным для него.

На подъеме сплошном, на одном невероятно долгом, свободном, широком дыхании, на взлете, великолепный в своей одержимости новой работой, в своей вдохновенности, в своей неистовой страсти к художническому труду, создавал он за серией серию, одна сильнее другой, свои дивные темперы, с магией обобщений и всех деталей, и цветные, с празднеством линий, рисунки в смешанной технике, и сангины очаровательные, и рисунки углем стремительные, и рисунки тонкие тушью, и еще, и еще работы, в самой разной технике, сызнова, так и надо всегда, на любом подвернувшемся материале, на картоне, и на холсте, на бумаге, и оргалите, на каких-нибудь там деревяшках, все равно, и работа кипела, непрерывно, в его руках, — и это, следует знать потомкам нашим в грядущем, не фантазия и не сказка, но свидетельство достоверное, и мое, и не только мое, но и многих других очевидцев, — и, скажу вам сейчас нечто важное, из всего вот этого, сказочного, да и только, потока работ, возникающих, чудом, казалось бы, ниоткуда, как по мановению, взмах — и чудо, волшебной палочки, в наикрат-

чайшие сроки, из всего вот этого света, изумительного сияния, из этих образов светлых души, из образов мира, из добытой кровью гармонии — звучала тогда для меня новая, мощная, близкая к музыке, полифония ворошиловская, звучали сразу несколько тем, которые переплетались, аукались, приглушались и возникали сызнова, — и образовывали единое целое, синтез, уникальный, сложный, не всеми постижимый, но и прекрасный в душевной своей чистоте, в сердечном порыве, в движении к сути, — и это был совершенно особенный, редкостный, ворошиловский контрапункт, в этом было нечто вселенское, по структуре своей, по размаху, по развитию связей духовных, по срастанию нитей незримых на путях земных и небесных, нечто баховское, грандиозное, — то, что им сейчас разрабатывалось, на глазах у нас, то, что потом получило, в восьмидесятых, не в Москве уже, а на Урале, в долгий, зрелый его период, озаренный любовью, такое — поражающее людское, на столетья, воображение, — удивительное развитие, то, чего словами не высказать никакому искусствоведа, и поэту даже не высказать, то, что, братцы, и называется искони на земле — Искусством, — и вот этим-то словом, кратким и довольно простым, все и сказано.

Семидесятые, трудные и уже легендарные, годы — сердцевинный большой период в небывалом, и по масштабу, и по силе духовной, разбросанном, в наши дни, по странам различным и по многим собраниям, выжившем, состоявшемся и оставшимся навсегда, ворошиловском творчестве, — и на светлой палитре его появились новые, скорбные, иногда и суровые краски.

Но природное жизнелюбие, ворошиловское извечное, вопреки скорбям, изумление перед радостью бытия, — не позволили им затемнить остальные, на редкость чистые, для души крылатой целительные и для сердца людского, тона.

И кто нам скажет, что за век нас ожидает, неуклюжих, вот здесь, где тополиный снег, слетев с висков, зовет в ковчег, бегущий праздных и досужих? Целованные каждым днем, испытанные каждой ночью, играем, гордые, с огнем, доверчивые, гибнем в нем, чтоб с Богом встретиться воочью. Я пью за то, чтоб вся листва, в глазах усталых отразившись, услышав скорбные слова, нашла высокие права, юдоли нашей поразившись. Вот так в зрачке сопряжены и вдохновенье, и виденье с движеньем страницы-весны, где притяжение луны подобно древнему раденью. Так открывается тетрадь, поверив только посвященным, чтоб ран извечных не считать, но только Ангелам под стать, хотя б грядущим быть прощенным. А в небе плачет и поет душа, расправившая крылья, затем, что радость сознает меж озарений и невзгод, хранящих Света изобилье.

* * *

Говорила мне бабка,
И бабка была права:
Живи безмятежно,
Расти, как трава —
На лужайках, болотцах,
Среди оврагов и трещин.
А еще — не засыпай на восходе луны,
Будут мучительны твои сны
И зловещи.

Но я вовек не слушала никого,
И меня подхватило тягучее колдовство,
Так что я делаю недопустимые вещи:
Засыпаю на восходе луны,
Выбираюсь из дома с подветренной стороны,
Брожу допоздна,
Гошу до весны,
А потом до полудня
Смотрю беспросветные сны.
И сны мои вещи.

ЛЕТО

Думаешь: надоели
одинаковые окошки,
Небо невзрачное городское
И дождь, что сверлит
то крыши, а то дорожки
И не хочет покоя.

А в квартале возле старой котельной
Жить, может быть, интересней,
Но нет давно ни тропы отдельной,
Ни птицы, сочиняющей песни.

Анна Гедымин — поэт, прозаик. Окончила МГУ, факультет журналистики. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Арион», «Континент», «Юность» и др. Автор восьми поэтических и двух прозаических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Международной Волошинской премии в номинации «За сохранение традиций русской поэзии», премии имени Анны Ахматовой журнала «Юность», премий «Литературной газеты», журналов «Литературная учеба», «Дети Ра», «Зинзивер».

Видимо, остается лишь память,
Где тепло и уютно,
Где уже не сумели нас до смерти ранить
И где скучать не дают нам

Соседок пересуды-разговоры,
Мол, с кем я да во что я одета,
И ситцевые флоксы, без которых
И лето — не лето.

* * *

Говорила Наташка:
Не ездил в эту дыру,
Дома сиди в жару.
Возражала Наташке:
Уеду, не то помру.

И знаешь, Наташка,
Ты была неправа.
Здесь кашка, букашка —
Малиновые рукава.

Подсолнухи смотрят вверх,
Яблоки пикируют вниз —
В шиповник,
Крыжовник,
Смородину,
Барбарис.

Осень наступит,
Будет дождь затяжной.
Что ты вспомнишь о лете?
Непогоду и зной.

А я — кошку, картошку,
Сыроежку в траве,
На террасе окрошку
И стишок в голове,

Лопухи на задворках,
Каждый скроен как щит,
И подругу Наташку,
Что звонит и ворчит.

* * *

От меня останется только сын —
Птичьим эхом, отсветом золотым
Посреди сгустившейся темноты,
И не будут мои закрома пусты.

У меня была большая семья:
Мама с папой, бабки, деды, мужья...
Но закончилось время, их век простыл,
Ото всех остался один мой сын.

Если ты, Господь, отберешь его,
То от нас не останется ничего.

* * *

И все-таки я помню о тебе.
Так путник, заплутавшийся в судьбе,
Забыть не в силах полдень конопатый,

Перед околицей последний дом,
И речи, различные с трудом,
И легкость непугающей утраты...

Как больно помнить то, что никогда
Не повторишь...
Казалось — ерунда.
Но неприятно, железнодорожно
Два пламени, два карих вслед глядят.
Слова-то ладно, а вот этот взгляд
Забуть не можно...

* * *

Вроде рукой подать, А не дойти никогда: Тихая благодать, Медленная вода.	И цвели, как вчера, Мальвы, меняя суть — Если уже пора, Если уже — забудь.
---	---

Впереди холода, Первых снежинок сверк... Только бы не беда, Только бы свет не мерк!	Не умножить года, Вечность не обуздать... Медленная вода, Тихая благодать...
--	---

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ

Протрезвели, разулыбались,
Покосились на зеркала...
Ночь в окне вызывает зависть,
Так торжественна и бела.

Сквозь нее глядят ниоткуда,
Как сквозь матовое стекло,
Все зануды твои, все иуды,
Все, что было и что прошло.

Но за то, что восходишь из мрака,
Несмотря на лихое житье, —
Только радоваться,
Только плакать
Остается.
И славить ее.

Калле КАСПЕР

ВАРИАНТ
ДОКТОРА СТОКМАННА
Вариации на тему пьесы
Генрика Ибсена «Враг народа»

Эве посвящается

Civis romanus sum

Доктор Стокманн: Хотел бы я видеть, в состоянии ли человеческая дрянь заткнуть рот патриоту, который стремится оздоровить общество!

Генрик Ибсен. Враг народа

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Др. Томас Стокманн
Катрине, его жена
Доброжелатель

Пока публика потихоньку собирается, доктор Стокманн сидит в кресле и слушает музыку. Катрине предлагает прибывающим чай. Когда все усаживаются, др. Стокманн выключает граммофон и садится лицом к гостям.

Др. Стокманн: Итак, Катрине, чай есть у всех?

Катрине кивает, отходит в дальний угол комнаты и берется за вязанье.

Др. Стокманн: Тогда порядок. Мы можем начинать.
Доброжелатель (*из угла*): Значит, ты опять начинаешь все сначала?

Калле Каспер — поэт, прозаик и драматург. Родился в 1952 году в Таллине. Окончил отделение русской филологии Тартуского университета и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве (теоретический курс). Автор нескольких романов, в том числе эпопеи «Буриданы» в восьми томах (премия Таммсааре), пяти сборников стихов на эстонском и двух на русском. Двукратный лауреат премии журнала «Звезда». Стихи Каспера печатались в журналах «Звезда», «Новый мир», «Нева», «Литературная Армения» и «Аврора», а эссе — в журналах «Звезда», «Нева», «Палимпсест», «Традиция и авангард», «Восток—Запад» и др. Каспер — лауреат премии имени Ивара Иваска, многолетнего редактора журнала «World Literature Today», за сборник литературных эссе (2021). Автор 37 книг.

НЕВА 6'2024

Др. Стокманн: Да.

Доброжелатель (*зевает*): И тебе еще не надоело?

Др. Стокманн: Есть вещи, о которых даже подумать невозможно, что это может надоест.

Доброжелатель: Господи, какая патетика!

Др. Стокманн: Если нам чего и не хватает, то это пафоса. Настоящего пафоса.

Доброжелатель: Но ты же великолепно знаешь, чем все это кончится?

Др. Стокманн: Знаю.

Доброжелатель: И все же?

Др. Стокманн: И все же.

Доброжелатель (*встает*): Ну что ж. Уже время, начинай.

1

Доброжелатель: «Я — доктор Стокманн...»

Др. Стокманн (*запинаясь*): Я — доктор Стокманн.

Доброжелатель: «Доктор Томас Стокманн...»

Др. Стокманн: Доктор Томас Стокманн.

Доброжелатель (*пародируя*): «Еще недавно меня здесь почти никто не знал, но теперь я — доктор Стокманн, человек с положением (*смотрит выжидательно на др. Стокманна, а тот молчит*)... человек, благодаря которому реализованы значительные мероприятия, принесли нашему городу немало славы и величия (*кивает в сторону др. Стокманна*)... уважаемый глава семейства, который после долгого прозябания имеет более-менее приличный доход — видишь, Катрине, мы можем себе кое-что позволить, даже принимать гостей. И неудивительно, что наиболее просветленные умы нашего городка с удовольствием проводят время в этих стенах, потому что доктора Стокманна уважают в прогрессивных кругах, доктор Стокманн — умный человек, он видит много такого, чего другие не замечают (*кивает в сторону др. Стокманна*)... Да, человек, у которого голова на плечах, а кроме того, страстное желание что-то толковое сделать — такой человек всегда заходит далеко. Но только теперь все действительно осознают, что такое на самом деле этот доктор Стокманн — потому что я сделал открытие, важное открытие...»

Др. Стокманн: Ладно! (*Доброжелатель умолкает.*) Да, я доктор Стокманн. Доктор Томас Стокманн.

Доброжелатель (*вставляет*): Врач-курортолог.

Др. Стокманн: Какая разница, курортолог или естествоиспытатель, писатель или философ, адвокат или инженер? Должность в данном случае не имеет никакого значения. Как не имеет значения и имя. Сегодня я — доктор Стокманн, завтра...

Доброжелатель (*рычит*): Молчать!.. Как зовут, фамилия?!

Др. Стокманн: Стокманн.

Доброжелатель: Имя?!

Др. Стокманн: Томас.

Доброжелатель: Отчество?! Дата рождения?! Национальность?! Вот так... Ишь, начал, понимаешь, язык распускать! Мало ли кем ты завтра будешь... Знаем мы таких!.. Ладно, продолжай... Я жду.

Др. Стокманн: Я не могу.

Доброжелатель: Почему?

Др. Стокманн: Ты не даешь мне сосредоточиться.

Доброжелатель: Ах, какой ты чувствительный! Это же просто небольшой отеческий урок. Чтобы ты знал, с чем тебе придется иметь дело. Ладно, больше вмешиваться не буду. Итак, еще раз: «Я — доктор Стокманн».

Др. Стокманн: Я — доктор Стокманн. Доктор Томас Стокманн. Но было бы неправильно утверждать, что я только что сделал колоссальное открытие. Только на сцене может случиться, что у кого-то вдруг открываются глаза. В жизни так не бывает. Я всегда шел по жизни с открытыми глазами, много думал и, как мне кажется, кое-что понял. Это все бродило во мне уже давно, и сейчас я чувствую, что настало время, моя чаша переполнилась и меня уже ничто не остановит. Уже завтра...

Доброжелатель: Тихо!

Др. Стокманн: Что случилось?

Доброжелатель: Обожди. *(Подходит к двери, прислушивается, затем резким движением распахивает дверь.)* Порядок. *(Закрывает дверь, внимательно осматривается.)*

Др. Стокманн: Чем ты занимаешься?

Доброжелатель *(замечает, что задник присборен)*: Где были мои глаза! *(Заходит за занавес и расправляет его.)*

Др. Стокманн: Прекрати немедленно этот балаган!

Доброжелатель: Ничего-ничего, осторожность — мать мудрости... *(Указывает на публику.)* Ты всех знаешь, кто здесь собрался?

Др. Стокманн: Как ты смеешь?

Доброжелатель: А ты можешь быть уверен в каждом из них? Посмотри хорошо, может, заметишь какое-нибудь постороннее лицо.

Др. Стокманн: Какое это имеет значение, если я все равно завтра пойду и...

Доброжелатель: Ты еще не пошел.

Др. Стокманн: Я пойду.

Доброжелатель: Поживем — увидим. Станет ли завтра для тебя первой возможностью высказать все, что тяжким грузом лежит на сердце?

Др. Стокманн: Какое это имеет отношение к настоящему?

Доброжелатель: Разрешите спросить, доктор, где вы раньше были? Почему раньше нам не говорили о своих наблюдениях?

Др. Стокманн: Что, когда и кому я говорю — это должно быть исключительно моим личным делом.

Доброжелатель: В общем, да, доктор, в общем... Но будьте добры понять и нас: ибо сами посудите, что мы должны подумать, когда в какой-то момент некто игравший в нашей духовной жизни долгое время весьма значительную роль, некто имевший достаточно возможностей ознакомить нас со своими взглядами вдруг приходит и бросает нам в лицо неисчислимое количество принципиальных обвинений — обратите внимание, доктор, не злободневных, а принципиальных обвинений — и при этом утверждает, что всю жизнь думал именно так?

Др. Стокманн: Позвольте!..

Доброжелатель: А поскольку такое поведение со стороны человека, которого мы все столь высоко ценим и уважаем, производит крайне странное впечатление, то не приходится, доктор, удивляться, если мы интересуемся подлинными причинами столь резкой смены мнений.

Др. Стокманн: Позвольте-позвольте!

Доброжелатель: Прошу вас, поймите нас правильно, доктор: мы здесь вообще не для того, чтобы вас осуждать, мы здесь для того, чтобы понять — понять, что вызвало столь резкий поворот в ваших взглядах. Потому что — положи руку на сердце —

мы просто не в состоянии поверить, что вы, настолько честный и прямолинейный человек, могли все это время водить нас за нос.

Др. Стокманн: Я никого за нос не водил.

Доброжелатель: Вот видите! Значит, мы правы?

Др. Стокманн: В чем?

Доброжелатель: В том, что за вашим кажущимся невероятным поведением кроется какая-то иная, неведомая причина.

Др. Стокманн: Позвольте!

Доброжелатель: Не стесняйтесь, доктор, расскажите нам, что вас так вывело из себя. С вами поступили несправедливо? Вас кто-то обидел?

Др. Стокманн: Позвольте-позвольте!

Доброжелатель: Но ведь какая-то причина, доктор, должна быть!

Др. Стокманн: Нет никакой другой причины, нет!

Доброжелатель: Но, дорогой доктор, ваши нервы уже просто никуда не годятся. Знаете, что я вам посоветую: идите домой и подумайте надо всем этим спокойно. Наверняка вы убедитесь, что ситуация далеко не так трагична, как вам кажется. И завтра вы пожалеете о многом, что сегодня в припадке ожесточения наговорили.

Др. Стокманн: Нет, как я уже сказал, все это бродило во мне долгое время. И теперь пора высказать правду.

Доброжелатель: Но если так, доктор, то нам надо с вами поговорить о другом. Я спрашиваю снова: почему вы только сейчас выступили со своей истиной? Почему не сделали этого раньше? Отвечайте, доктор, мы хотим знать почему.

Др. Стокманн: Раньше я был к этому не готов.

Доброжелатель: Подумать только, он был не готов!.. Ложь! Бесстыдная ложь! На самом деле, доктор Стокманн, вы все давно уже детально продумали, запрограммировали на годы вперед. Вы знали, что не следует спешить раскрывать карты, вы и сами понимали, что, если начнете провозглашать такого рода идеи в ситуации, когда вас никто не знает, вас просто засмеют. Ваши соображения были просты: вы натянули на себя маску честного и сообразительного человека и бурно погрузились в общественную жизнь — не для того, чтобы способствовать нашему общему делу, а чтобы сделать себе имя, обзавестись сторонниками, заработать авторитет. Ваши соображения были просты: положение — это все, из уст человека с положением и самая оголтелая ложь звучит как непреложная истина. Значит, надо завоевать положение. Вот почему вы все эти годы таились, прятали свое истинное лицо! Вы примирились с длительным ожиданием, таились и выжидали подходящий момент, чтобы выйти и осуществить свои честолюбивые намерения. Вот, доктор, как вы трусливы и коварны. Но ваш план провалился. Вы сделали ставку на то, что теперь, когда ваша первая цель достигнута, когда вас все знают, уже невозможно будет замолчать то, что вы сказали! Говорите, говорите, сколько вам угодно — каждый мало-мальски разумный человек все равно поймет, что такие речи могут звучать только из уст врага.

Др. Стокманн: Я — враг?!

Доброжелатель: Да, опасный враг. Ох, как ловко вы пытались пустить нам пыль в глаза — но мы видели вас насквозь. Ваша правда — никакая не правда, а отчаянная попытка злущего человека всех вымазать в грязи. Стокманн, вы страдаете манией величия, вы всегда презирали всех, кроме самого себя. Вы ни на йоту не заинтересованы в улучшении нашей жизни, вашей целью всегда была и остается власть. Власть.... Но теперь ваша песенка спета. Вы пытались угодить и нашим и вашим и тем самым выдали себя с потрохами. Доктор — вы лицемер, и одно это — уже достаточная причина не верить ни единому вашему слову. Я закончил.

Др. Стокманн: Это демагогия. Подлая демагогия.

Доброжелатель: А зачем ты мне это говоришь? Постарайся им разъяснить.

Др. Стокманн (*трясет кулаками*): Я разоблачу их! Я разорву эту паутину, в которую они пытаются меня поймать! Я выскажу им все прямо в лицо! Я назову вещи своими именами!

Доброжелатель: Это ничего не даст. Эмоциями с ними не справиться.

Др. Стокманн: А что ты посоветуешь?

Доброжелатель: Как мне кажется, Томас, нельзя спешить, ничего несвоевременного, непродуманного. Подожди еще немного и увидишь, настанет день, когда все предстанет перед тобой в совершенно другом, более ярком свете. Тебе вдруг все станет ясно — и если ты тогда выступишь, Томас, это будет совсем другое дело, и я тебя тогда удерживать не буду.

Др. Стокманн: Если я тогда еще выступлю...

Доброжелатель: Прошу, не пойми меня неправильно.

Др. Стокманн: Я тебя великолепно понял. Какое прекрасное, логичное самооправдание! А вот когда этот настоящий день наступит...

Доброжелатель: Этого я не говорил.

Др. Стокманн: Все равно. Неужели ты думаешь, что я ослеп? Я знаю множество людей, которые ведут себя по твоему рецепту. И что с ними стало!

Доброжелатель: А что с ними стало? Спокойно доживут свою жизнь, потом умрут, и всё.

Др. Стокманн: Да, и всё...

Доброжелатель: Именно! Стокманн, в том-то и дело. И тебе не избежать логического конца, однажды и ты умрешь — не завтра, не через год, но когда-нибудь — обязательно. Я сдохну, ты сдохнешь, все мы сдохнем. Так зачем эти бессмысленные потуги?

Др. Стокманн: Именно для того, чтобы не сдохнуть.

Доброжелатель (*саркастически улыбается*): Хочешь оставить след после себя? Продолжать жить в памяти будущих поколений?

Др. Стокманн: Я не знаю, чего я хочу. Но я знаю, чего я не хочу. Я не хочу умирать преждевременно. Я не хочу быть живым трупом.

Доброжелатель: Но почему это должен быть именно ты?.. Что тут смешного? Ты не единственный, кто так думает, почему именно ты должен рисковать своей шкурой?

Др. Стокманн: Но кто-то же должен быть первым.

Доброжелатель: Да, конечно! Кто же еще, если не Стокманн! Ты у нас самый храбрый, самый отважный! Вот и выходит, что тебе надо просто продемонстрировать свое превосходство. Видите — трусы, подхалимы, гадкие червяки, перед вами гордый человек, который ничего не боится, который вам в лицо говорит, что он о вас думает!

Др. Стокманн: Ты меня не понял. Я не собираюсь говорить никому ничего в лицо. Я скажу... так просто... спокойно, тихо.

Доброжелатель: Ох, Томас, Томас! Вместо того чтобы без конца возражать, мог бы поднапрячься и задуматься вместе со мной. Моя задача — не переубедить тебя, я здесь лишь затем, чтобы помочь тебе самому себе все уяснить. Единственное, к чему я действительно апеллирую, это твой трезвый разум.

Др. Стокманн: Наконец-то! Этих двух слов я так давно ждал. Трезвый разум! Этот изумительный аргумент, которым нас пичкают с детства. А почему ты думаешь, что мои расчеты не базируются на трезвом разуме? А вдруг на нем основан весь мой план?

Доброжелатель: Абсурд. Даже пословица гласит: с волками жить — по-волчьи выть.

Др. Стокманн: А еще пословица гласит, что трусливый волк — зубами щелк.

Доброжелатель: Ах ты, хитрован! Bravo, Стокманн! Отличный ход. Значит, ты пришел к выводу, что время настало и всеобщее брожение настолько сильно, что брошенный тобой камень вызовет лавину? Ведь это должна означать твоя фраза о плане, основанном на трезвом расчете? Чушь! Что привело тебя к такому выводу? То, о чем ведутся разговоры в обществе? Это ошибка, грубая ошибка! Ибо что представляют из себя разговорчики в обществе? Это игра, конвенция. Другого значения они не имеют. Неужели ты действительно веришь, что кто-нибудь из тех, с кем ты вел разговоры на эту тему, осмелится поддержать тебя, выступить открыто в твою защиту? А может, ты даже надеешься, что они бросятся тебя защищать с криками «Стокманн прав! Дальше так жить нельзя! Да здравствует демократия! Ура!»?

Др. Стокманн: Я ни на что не надеюсь.

Доброжелатель: Скромность украшает тебя, Стокманн. Конечно же, ты не осмеливаешься признаться в этом во всеулышание — ты не так глуп. Но втайне ты ведь надеешься? Надежда умирает последней... Ах, чтоб тебя! Никто тебя не поддержит. Самое большее, на что ты можешь рассчитывать, это молчание — и даже на это пойдут немногие. Потому что и в молчании есть риск, и молчание требует храбрости, честности и, я уж не знаю, чего еще.

Др. Стокманн: Не преувеличивай.

Доброжелатель: Нет, я не преувеличиваю. К сожалению. Я знаю, что ты имеешь в виду. Ты думаешь: как они посмеют после этого смотреть мне в глаза? Они — которые меня так уважают и любят? И именно в этом заключается твоя самая страшная ошибка. Ибо подумай сам, за что тебя любят? Да, ты умен — но за ум еще никого не любили, наоборот, скорее, за это могут тебе завидовать, а то и ненавидеть. Почему они тебя любят? Они любят тебя за то, что ты честен, благороден, за то, что сердце у тебя болит за все и всех, за то, что ты страдаешь, когда сталкиваешься с несправедливостью, одолеть которую не в состоянии. Одним словом, тебя любят, потому что ты — наша живая совесть. Слышал: совесть... — но не обвинение! И делай что хочешь, но после своего выступления ты для всех превратишься именно в обвинение, живое обвинение. И это плохо. Потому что все остальные тоже умные, честные и благородные люди, и они вовсе не хотят, чтобы появился некто, кто их мудрость, честность и благородство подвергнет сомнению, у кого будет моральное право смотреть на них свысока, чьи полные упрека, презрительные, обвиняющие взгляды они должны будут терпеть.

Др. Стокманн: Я никого не собираюсь презирать, не говоря уже об обвинениях. Чем я их умнее! Молчал и молчал, вместо того чтобы давно уже начать говорить. И если я сейчас что-то для себя решил, то это не значит, что я жду от других того же.

Доброжелатель: Твое отношение вообще никак дела не касается. И то, как ты будешь себя вести, тоже. Вопрос в том, что как бы ты себя ни вел, они будут перед тобой ощущать себя виноватыми.

Др. Стокманн: Но тут я ничего поделать не могу.

Доброжелатель: Вот именно, Томас! Именно это я и хотел доказать! От тебя уже ничего не зависит. Они сами стыдятся, чувствуют себя виноватыми — и этого достаточно.

Др. Стокманн: Достаточно для чего?

Доброжелатель: Для того, чтобы их подсознание взбунтовалось против такой ситуации. Чувство вины — омерзительное чувство, и человек не в состоянии бесконечно его испытывать. И разум его начинает совершенно невольно искать выход

из частогокола самообвинений... Как оправдать собственное молчание? Как после выступления доктора Стокманна чувствовать себя полноценным человеком, а не червяком? Каким бы ни был ответ, пусть даже самый абсурдный, бессмысленный — главное, чтобы он предохранял совесть от угрызений и мук. Так-то, Томас. А что дальше будет, можешь себе представить.

Др. Стокманн: И что же будет? Рассказывай! Тебя так интересно слушать.

Доброжелатель: Начало будет, конечно, самым обычным — тебя будут встречать ухмылками. Вот идиот! Зачем ему это надо? Чего он надеялся достичь?

Др. Стокманн: Пусть ухмыляются.

Доброжелатель: А потом у них появится все больше оснований на тебя злиться. Ибо ясно, что после такого наглого шага общественный климат несколько охладится. Кому-то наступят на мозоль, кого-то шарахнут по башке и так далее и тому подобное... И на кого все это обрушится? Конечно, на тебя. Начнутся разговоры: вот видите теперь, что за чушь он несет? Лучше ничуть не стало, даже наоборот, а мы-то думали, что он борется за то же, что и мы.

Др. Стокманн: В этом они сомневаться не смогут.

Доброжелатель: Смогут. А еще через некоторое время начнут размышлять, а почему с тобой до сих пор ничего не сделали — ведь на самом деле может случиться, что с тобой ничего не сделают — и тогда кто-то придет к заключению, что во всем этом деле есть нечто подозрительное. Начнут припоминать разговоры, во время которых ты что-то прямо высказывал, обратят внимание на твою беспримерную храбрость, откровенность, к этому добавят твое донкихотское на первый взгляд выступление, увяжут все с тем фактом, что тебе так до сих пор за это ничего и не было, и...

Др. Стокманн: Чего же ты умолк?

Доброжелатель: Ради бога, только не раздражайся.

Др. Стокманн: Это уже моя забота.

Доброжелатель: И потихоньку сформируется общее мнение, что тебе нечего было бояться...

Др. Стокманн: Замолчи!

Доброжелатель: Что это вообще была не твоя идея...

Др. Стокманн: Замолчи!

Доброжелатель: Что ты уже долгое время служишь понятно кому, а теперь просто с твоей помощью пытаются нас заманить в ловушку. Тебя начнут сторониться, и ты чем острее будешь чувствовать отторжение, тем с более гордым видом расхаживать. И когда ты, едва приподняв шляпу, будешь проходить мимо, у них уже будет основание полагать, что ты и сам понял — тебя видят насквозь, и именно поэтому ты не можешь смотреть никому в глаза, а это уже бесспорно доказывает, что ты...

Др. Стокманн: Умолкни!

Доброжелатель: Что ты — стукач и провокатор.

ПАУЗА

Др. Стокманн: Я устал. Дай мне передохнуть немного.

Доброжелатель: Может, хочешь выпить? Глоток шампанского? Ты же любишь шампанское, Стокманн? Официант, шампанского! Пусть будет сегодня хороший день, а, Томас?.. Попробуй только — ледяное. Как открывать будем: с хлопком или без? Конечно, с хлопком! Вот это ягодка! Прозит, Томас! Глотай с удовольствием. Это напиток богов... Помнишь, как лилось шампанское еще тогда, когда мы были

студентами? Мы тогда жевали черствый хлеб, но в вине недостатка не было!.. Были времена! Есть что вспомнить... Томас, а ты не голоден? Я, к примеру, да. Как волк. Официант! Ты какую кухню предпочитаешь, Томас? Китайскую? Французскую? Итальянскую? Ладно, пусть сегодня будет французская. Итак: фаршированные овощи, яйца в луковом соусе, вареная форель, фрикасе из телятины — и далее, по порядку все десять ходов... а ты все равно приуныл, Томас? Чем же тебе настроение поднять? А, знаю! Маэстро, музыку! Парам-па-па, парам-па-па — прозит, Стокманн! Поживем еще?.. Ах, какие лакомства!.. Приятного аппетита, Томас!.. Как время летит!.. Помнишь, Томас, всего лет десять назад у нас были университетские друзья: Олаф, Хьялмар, Росмер... а сейчас, кто они? Консул, редактор газеты, министр! Все — важные господа... Неужели, Томас, тебя не волнует, что они... которые по своим способностям тебе в подметки не годятся... что они могут жить, как хотят... могут наслаждаться всем, ни в чем себя не ограничивая... а ты.. достойный в тысячу раз большего, чем они... ты не можешь?... Наверняка ты думал об этом, думал... Но ничего, настал наконец и твой звездный час... и с сегодняшнего дня, Томас... Ты можешь иметь все, что захочешь. Если ты этого хоть немножечко хочешь. Прозит, Стокманн! За твоё будущее! Ох, ну и вкусно было... Как усталость, прошла? Отлично! А дальше? А что, Томас, если мы вспомним молодость? Давай так и сделаем!.. Шофер! Автомобиль к подъезду!.. Я знаю, Томас, куда мы поедем — в «Гранд-отель». Там, говорят, сегодня выступает танцовщица экстра-класса. Ты только подумай, Томас: мы со скрежетом тормозов подведем к распахиваемым перед нами дверям — нас уже ждут, нас ждут!.. Лучший столик, хозяин и шампанское, море шампанского!.. Музыка, полумрак — и вот, Томас, вот она, ты видишь? Ты только посмотри, она танцует для тебя! Понимаешь, Томас? Для тебя!.. А ты так равнодушен? Конечно, как я сразу не сообразил — это не в твоём вкусе. Я знаю, тебе нужен кто-то, кого ты мог бы воспринимать в масштабах своей духовности, своего интеллекта, своей чувствительности. Но прошу тебя, Томас, оглянись вокруг — самые утонченные, самые обворожительные, самые одухотворенные женщины только и ждут, чтобы ты обратил на нее внимание. Твой шарм, твое умение вести себя в обществе, твоя тактичность — все это обезоруживает их. Так будь мужчиной, не заставляй их дольше мучиться. Мужчина ориентирован на весь мир, женщина — на мужчину. Встань, говорю я тебе, встань и осчастливь их! Чего ты раздумываешь? Ты же знаешь, как коротка жизнь, как редко выпадают моменты, достойные всей этой бессмыслицы, — и ты, ты хочешь добровольно отказать и от этого немногого? Ты, всегда обожавший наслаждение? Очнись, Томас! Встань, расправь грудь и иди! Слышишь меня? Встань, говорю я тебе, Стокманн, встань и воссияй!

Др. Стокманн: Нет.

Доброжелатель: Нет?

Др. Стокманн: Нет.

Доброжелатель: Ладно, тогда возьмем небольшую паузу. Катрине, можно попросить налить мне чаю?

Доброжелатель (*ставит со звоном чашку на стол*): Томас, ты готов: Итак, повторяю...

2

Доброжелатель: Ты же знаешь, как коротка жизнь, как редко удается уловить момент, достойный всей этой бессмыслицы, — и ты хочешь добровольно от-

казаться и от этого немногого? Ты, который всегда обожал наслаждение? Одумайся, Томас! Встань, расправь грудь и иди! Слышишь? Встань, говорю тебе, Стокманн, встань и воссияй!

Др. Стокманн: Нет.

Доброжелатель: Нет?

Др. Стокманн: Нет.

Доброжелатель: Что ж, как я вижу, тебя уже ничто не в силах поколебать. А ведь в мире столько интересного...

Др. Стокманн: Знаю.

Доброжелатель: И ты готов от всего отказаться? В том числе и от свободы?

Др. Стокманн: Зависит от того, что понимать под свободой.

Доброжелатель: А то, что ты потеряешь всех друзей, — это тебя не беспокоит? Одиночество медом не покажется.

Др. Стокманн: Одиночество? Катрине! Катрине, что говорит этот человек? Он утверждает, что мне грозит одиночество. Это действительно так?

Катрине встает, подходит к Стокманну, целует его и возвращается к своему вязанью.

Доброжелатель: Да, если бы у тебя не было Катрине...

Др. Стокманн: Но она есть.

Доброжелатель: И такую женщину ты хочешь затащить за собой в этот ад? Ты что, не знаешь, что вас ждет? Тебе ее не жаль?

Др. Стокманн: Ты не знаешь Катрине.

Доброжелатель: Да? Ладно. Какого сочувствия можно от тебя ждать — от тебя, которому плевать даже на то, что станет дальше с нашей жизнью.

Др. Стокманн: Но позволь!

Доброжелатель: Что тут позволять! Неужели тебе не ясно, что после такого шага ты будешь выброшен из игры. Конечно, ты и впредь можешь выступать с пышными воззваниями, но внимания на это никто обращать не будет, и ничего реального, ничего положительного ты уже сделать не сможешь, и вот тут ты и станешь пустым местом, круглым нулем... Ты говорил недавно, что не хочешь быть живым трупом — но именно тогда ты им и станешь!

Др. Стокманн: Чушь!

Доброжелатель: Ты сам идешь по пути наименьшего сопротивления, а когда тебе говорят правду в глаза, называешь это чушью?

Др. Стокманн: Неужели то, что я собираюсь сделать, представляет собой, по твоему разумению, путь наименьшего сопротивления?

Доброжелатель: Сжигать мосты, Томас, вовсе не искусство. С этим может справиться любой, но попробуй преодолеть свои амбиции, попробуй, несмотря на чувство омерзения, работать, работать и еще раз работать, чтобы действительно что-то совершить — на такое у тебя мужества не хватит.

Др. Стокманн: Позволь же!

Доброжелатель: Нечего здесь позволять. Признайся, что на самом деле тебе лень трудиться, что громкая слава для тебя желаннее и поэтому ты рад, что сможешь под вывеской благородного поведения избежать до смерти замучивших тебя обязанностей.

Др. Стокманн: Позволь все же и мне сказать.

Доброжелатель: А тебе есть еще что сказать?

Др. Стокманн: Пункт первый: ты сказал, что этим шагом я выхожу из игры. Частично ты прав. В эту старую игру я действительно больше играть не намерен.

Доброжелатель: А ты можешь предложить что-нибудь получше?

Др. Стокманн: Хотя бы что-то такое, где правила диктует не одна сторона. Где я не должен чувствовать себя пешкой, находящейся под ударом.

Доброжелатель: Откуда такая наивность! Именно в эту предлагаемую тобой игру они умеют играть в сто раз лучше тебя. В этой игре ты никогда не пройдеши в ферзи. Это, Стокманн, вода, льющаяся на их мельницу. Они вздохнут с облегчением, когда увидят, как еще один выдающийся человек, кто-то, кто мог бы им серьезно угрожать, сам объявил себя вне закона.

Др. Стокманн: Но именно по-другому ничего сделать нельзя! Даже если мне не удастся сейчас создать серьезную угрозу, я останусь для них бельмом на глазу.

Доброжелатель: Совсем наоборот: на самом деле им такие сумасшедшие, как ты, просто необходимы. Как иначе смогут они достоверно доказать, что некоторая строгость в управлении все же необходима? Ведь для этого нужен явный враг, кто-то, на кого можно нападать в открытую. Ведь тогда можно будет сказать: как волка ни корми... и так далее. Печально, но факт — ты их осчастливишь.

Др. Стокманн: С ними на сделку идти нельзя.

Доброжелатель: Как я сразу не сообразил: Стокманн и компромиссы — под одной крышей они невозможны.

Др. Стокманн: С чего ты взял, что я ненавижу компромиссы? Если бы вопрос был в договоре между равными сторонами, когда обе признают если не позиции друг друга, то, во всяком случае, право на эти позиции, я бы ничего не имел против таких компромиссов. Но если все ограничивается тем, что одна сторона зажимает другую в зубах и уговаривает: будь хорошим мальчиком, тогда я, может быть, заглочу тебя не сразу, — подумай сам, можно ли называть это компромиссом?

Доброжелатель: Художественные образы побереги для более легковверной публики. Если хочешь убедить меня, что ты не блефуешь, скажи прямо: чего ты своей выходкой надеешься достичь?

Др. Стокманн: Если я тебе заранее скажу, то тебе легко будет разнести мой план в пух и прах. Никто не может предсказать, к каким последствиям может мое выступление привести.

Доброжелатель: Томас, не прыгай в воду в неизвестном месте.

Др. Стокманн: Но это единственная возможность.

Доброжелатель: Раскрой глаза и посмотри: каждый день что-то делается, что-то совершается.

Др. Стокманн: Но какой ценой?!

Доброжелатель: Кто умеет ловко вести дела, тот не обанкротится. И вообще, мы собирались поговорить о результатах, а не о том, какую цену за них приходится платить — что проблема этическая.

Др. Стокманн: Отнюдь не только этическая. Цена, которую мы платим, имеет прискорбные последствия. Игра, в которую все играют, хлопая в ладоши, ведет нас к гибели.

Доброжелатель: Смотри, какой Нострадамус объявился! Вот это уже настоящая логика — логика Стокманна.

Др. Стокманн: Я понимаю, какое клеймо ты хочешь на меня поставить: честный, но дурак, так ведь? Прости, но с твоей стороны это не очень умно.

Доброжелатель: Уловил слабое место?

Др. Стокманн: Человек, мне тебя жалко. Ты такая же жертва обмана зрения, как и все остальные.

Доброжелатель: Позволь!

Др. Стокманн: Ты видишь только те ухищрения, к которым прибегает каждый в отдельности — и так действительно может сложиться впечатление, что, если следовать твоим советам, то выиграть можно больше, чем проиграть. Но как только мы начнем сравнивать тихие достижения отдельных людей с теми огромными потерями, которые мы несем по причине молчания, равнодушия и трусости, становится ясно, что нас каждый день только бьют, бьют и бьют. И мы не отдаем себе в этом отчета только потому, что роль каждого отдельного человека в этих огромных потерях столь мала, что на первый взгляд вообще не видна. Поэтому и проще утверждать, что в происходящем никто не виноват — это объективная неизбежность, против которой мы бессильны. Хотя на самом деле эта неизбежность — плод нашего раболепия.

Доброжелатель: Давай дальше.

Др. Стокманн: Нами овладело иллюзорное спокойствие, которое возникает у того, кто видит только собственные крохотные достижения и не обращает внимания на то гигантское свинство, которое формируется общими усилиями и которое, как внушается ему стремлением к самооправданию, его зуб неймет.

Доброжелатель: Еще что-нибудь?

Др. Стокманн: Мы пока говорили только о внешних потерях. Но у этого дела есть еще одна сторона... Ты меня слушаешь?

Доброжелатель: Просто каждое слово на лету ловлю. Ты закончил?.. Ясно.

Др. Стокманн: Что ясно?

Доброжелатель: Верти, как хочешь, все равно в конце выяснится, что среди нас лишь один умный и прозорливый человек, один-единственный настоящий гражданин — пожалуйста, познакомьтесь, доктор Стокманн, наша гордость и слава! А мы, остальные, все до последнего, трусы, свиньи и, как сейчас выяснилось, что именно мы сами — ты, ты, ты и ты, конечно, тоже — виновны в том, что в течение нашей жизни, да и в предыдущие столетия нас постигло кошмарное количество потерь. И вместо того чтобы теперь, когда наш вождь и учитель доктор Стокманн открыл нам глаза, искупить свою вину, мы покорно остаемся при наших повседневных заботах о хлебе насущном — это теперь стало совершенно ясно.

Др. Стокманн: Позволь!

Доброжелатель: Не позволю! Я твоих разъяснений уже нахлебался! Скажи, неужели тебе действительно больше нечего предложить нам, бедолагам, кроме твоего собственного воодушевляющего примера? У тебя, кроме жертвенности, больше ничего за душой нет? Стокманн, ты до омерзения неуступчивый.

Др. Стокманн: А ты у нас образец гибкости, да?

Доброжелатель: Думаю, да.

Др. Стокманн: Сейчас посмотрим, насколько ты гибок. Сядь! Нет, не так. Сядь между двумя стульями. Вот так. И теперь слушай. Ты спросил, не надоело ли мне уже это все. А тебе, друг дорогой, все прочее еще не надоело?

Доброжелатель: Что все прочее? Что ты имеешь в виду?

Др. Стокманн: Мы топчемся в грязи — да что там топчемся — мы по уши в нее провалились — в грязь лжи, и никто не осмеливается даже пикнуть об этом, чтобы там, где надо, не узнали, что мы думаем — хотя там так и так знают, что мы думаем. И как долго нам такое терпеть? Эта покорность, которую мы всосали с молоком матери, это раболепие, воспитывавшееся веками, неужели они действительно так сильны, что мы

даже разок рискнуть не осмеливаемся? Неужели мы забыли, как трудно сводить счеты с теми, кто смел и солидарен? Неужели это повседневное нытье более ценно для нас, чем один-единственный момент, полный гордости и красоты, — момент, когда ты чувствуешь, что мы стали людьми — свободными людьми?.. Неужели мы не в состоянии понять, что, продолжая по-старому, утрачиваем мы то самое главное, что нам вообще дано, — достоинство? Время идет, ничего не меняется, и если мы намерены так и остаться сидеть между двумя стульями, то может случиться, что в один прекрасный день окажется поздно, что с нами просто поступят вот так (*выбывает один из стульев из-под Доброжелателя, тот падает на пол*)... и все.

Доброжелатель (*вставая*): Ты стал тверже и уверенней, Стокманн.

Др. Стокманн: Только так можно на что-то рассчитывать.

Доброжелатель: Но твоё поведение кажется несколько однобоким.

Др. Стокманн: Иной раз надо отбрасывать сомнения. Иначе может случиться, что ничего сделать не удастся.

Доброжелатель: Хватит притворяться. У тебя это получается не слишком удачно. Твое несчастье в том, что ты не умеешь хитрить. Я тебя насквозь вижу, Стокманн, вижу даже то, чего ты сам не видишь, потому что боишься увидеть.

Др. Стокманн: И что же это?

Доброжелатель: До нынешнего момента мы были в неравном положении, Томас. У тебя было мощное оружие, которое тебя защищало, — твоя миссия! Тебе было легко добиться морального превосходства надо мной, пока она тебя облагораживала. Ты как бы выступал за всех нас. Но когда сомнение вызывает сама миссия, что тогда? Что ты будешь делать в таком случае? Признайся, Стокманн, что, несмотря на свою целеустремленность, ты в самой глубине души все-таки сомневаешься в том, нужен ли твой гордый и красивый момент вообще кому-нибудь?

Др. Стокманн: Дальше.

Доброжелатель: Ибо за кого ты борешься? Только за себя. Ну, еще за горстку людей. Для остальных — большинства — твоя свобода, гласность и все прочее нужны так же, как корове седло. Что с того, что они ворчат — человек ворчал всегда, — но твои идеалы им ни к чему, без них жить куда приятнее. Ты — не они, а они — не ты — так было всегда, так и будет.

Др. Стокманн: Ты прав. Но это, похоже, проблема неразрешимая. И поэтому я солидарен с человеком, который сказал, что большинство никогда не бывает право.

Доброжелатель: Но если так, Стокманн, то ты — враг народа.

Др. Стокманн: Нет. Что с того, что я не могу понять, как люди могут жить такой жизнью, как они живут, это еще не означает, что я их ненавижу или презираю. Мне их просто жаль.

Доброжелатель: А им всем должно быть жаль тебя! Жить — это значит приспособливаться, глубочайшая сущность жизни кроется в приспособливании к жизни как таковой — все равно, в каких условиях!

Др. Стокманн: Каждому свое.

ПАУЗА

Доброжелатель: Пора подводить итоги.

Др. Стокманн: Да, пора.

Доброжелатель: Итак, все говорит за то, что надо идти. Идти, чтобы сказать: «Так дальше жить нельзя!»

Др. Стокманн: Надо.

Доброжелатель: Надо сказать о том, что мы тонем в омуте лжи.

Др. Стокманн: Надо.

Доброжелатель: Надо сказать, что рабы не достойны свободы, но для того, чтобы стать свободными, нужна отвага.

Др. Стокманн: Надо.

Доброжелатель: И все же ты не пойдешь.

Др. Стокманн: Не пойду...

Доброжелатель: Ты выжал из себя все, ты выговорился до конца. На большее у тебя сил нет. А ко всему ты еще и боишься. Ты даже не знаешь, чего ты боишься, разумом ты как бы свои страхи преодолел — и все-таки боишься...

Др. Стокманн: Боюсь...

Доброжелатель: Так-то, дружок. Наше время прошло. Пошли спать, Томас. Утро вечера мудренее.

Др. Стокманн: Наверное.

Доброжелатель: И то, что вечером казалось таким жутким и безнадежным, может утром выглядеть весьма приемлемым. Не так ли? Я имею в виду жизнь.

Др. Стокманн: Может.

Доброжелатель: Вставай. Пошли спать. Катрине тоже смертельно устала... И все-таки я тебя спрошу, Стокманн, доктор Стокманн, курортолог или естествоиспытатель, инженер или философ: как долго еще? Скажи мне: доколе?

Др. Стокманн: Я не знаю.

Доброжелатель: А кто знает?!

Др. Стокманн: Хватит, пошли спать.

Доброжелатель: Спокойной ночи, Томас, и хороших снов!

Др. Стокманн: Спокойной ночи.

ЗАНАВЕС

1979

Перевод с эстонского Лейви ШЕРА

Ольга АНИКИНА

ДЕРЖАВИНА ВОСЕМЬ, КВАРТИРА ШЕСТНАДЦАТЬ¹

Маленькая поэма

I.

Красно-коричневая краска на двери,
в ее потеках цифры — это номер.
Тут нет глазка: тебя не видно изнутри.

Наверное, хозяин экономил,
звонок не устанавливал.

Тук-тук.
Кто там?

Свои.

И где-то там, в глубинах
я слышу шорох лапок голубиных,
а может, скрип драконьей чешуи,
и слышу, как пылинки бьются в паутинах,
как воздуха сдвигаются слои.

За дверью, в коридоре у стены
есть вешалка и сверху антресоли.
Две комнаты проходом соединены.
Заглянем, что ли.

Ольга Аникина — поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Окончила Новосибирский медицинский институт, Литературный институт им. Горького, курсы повышения квалификации Европейского университета в Петербурге по специальности «Перевод с идиша». Автор пяти книг стихов, четырех книг прозы. Член оргкомитета и один из создателей литературной премии «Антоновка 40+». Редактор отдела малой прозы в журнале «Эмигрантская лира» (Бельгия). Дипломант (2015) и лауреат (2022) премии им. Н. В. Гоголя. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2016), Волошинского конкурса (2021). Стихи, проза, переводы, критические эссе опубликованы в журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Аврора», «Сибирские огни», «Зинзивер», «Дети Ра», «Этажи» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Адрес моего детства.

II.

В гостиной есть буфет, там хрупкое стекло,
которое легко разбить назло.
Под ним комод, в нем письма и альбомы,
но что-то там еще такое есть,
и очень хочется в комод залезть —
я лезу, если взрослых нету дома.

Резная ручка на двери еще цела,
а рядом стол, и скатерть со стола
укроет все, что я нашла на полках.
С газетою и книгой на столе
соседей катюшка и иголка,
и чья-то смерть хранится в той игле.

Стоит диван, укрытый покрывалом,
внутри него пружины из металла,
на нем растет зеленый в клетку ворс,
к нему когда-то леденец примерз,
и я тайком его спилила бритвой,
остался след, овальный ровный ноль,
и бабушка, найдя его, сердито
ворчала — дескать, снова в доме моль.

Диван был дедушкин — наверно, там он спал,
но почему-то мне казалось, будто
из вечера он сразу входит в утро,
из прошлого — в сегодня, сквозь портал.
Ход, через ночь ведущий напрямик,
лежал в шкафу, запрятан между книг,
с потертыми цветными корешками,
их все берут, а мне нельзя пока.

Вот чемодан в углу, зеленые бока
с заклепками и звучными замками.
(Был у него особый статус-кво.
«На всякий случай» — звали мы его.)

Вот светятся, как золотые, днем
оранжево-коричневые шторы.
Вот подоконник: ящики на нем,
в них тонкие восходят помидоры,
и тянут листья в сторону окна,
как тянет ножку балерина.

У входа в маленькую комнату стоит
закрытое и строгое на вид,

похожее на маму пианино,
я каждый день
играть на нем должна.

И если елку приносили в дом,
она вставала рядышком, сюда же.
Подставка деревянная крестом
и ворох веток в серебристой пряже.
Вот хвоя на полу, бумажные флажки,
божки игрушек и снегурка без башки.

III.

Вторая комната была почти моя,
я днем сидела здесь. И своды трех кроватей
меня скрывали, словно муравья,
и красным жаром дул обогреватель
под темным куполом пружинных крон
меж тонких металлических колонн.

Одна кровать — прабабкина. В углу
над ней висела под платком икона.
Прабабушкины ноги на полу —
обутые в носки ступни дракона,
незрячего, неслышащего, но
летающего в ночь через окно.

В другой кровати бабушка спала,
и ночью к бабушке под одеяло
тихонько судорога заползала,
упрямая змея или пчела,
и пряталась, и случая ждала,
чтоб высунуть невидимое жало.

А третья, деревянная, кровать
стояла у стены посередине.
И я на ней плыла, как на дельфине,
ловила сон и не могла поймать.
И желтый шкаф, как голый великан,
стоит с приросшими к бокам руками,
и табуретка, и на ней стакан,
и что-нибудь невкусное в стакане.

Где были в нашем доме зеркала?
И мама — мама, где она спала?

Не помню. Может, мама по ночам
вслед за прабабкой прыгала в окно.

На пару
они в пустынном небе, хохоча,
летели на проспект, потом к бульвару,
оттуда — в парк, когда вокруг уснули все —
на чертовом кататься колесе.

IV.

Еще за кромкой штор я вижу двор,
сирень и клен, переплетенье веток.
Над ними тополь, словно дирижер,
Качает палочкой — то так, то этак.
И музыканты смотрят с табуреток,
и все играют пьесу до мажор,
вздыхают скрипки, вздрагивают цитры,
а я никак не попадаю в ритм,
и дирижер мне строго говорит:
из-за тебя — с начала, с первой цифры.
И все с укором на меня глядят,
и листья снова по ветру летят.

V.

Шаг от окна, и снова шаг назад.
Кровати, шкаф, игрушки, табуретка,
на белом фоне черная розетка,
и запахи — гвоздика и мускат,
и желтый с красной крышечкой флакон
хранятся в ящичке, что под замком.
В белье на полках корки апельсина,
от моли.

Снова шаг назад. Диван,
буфет, и книжный шкаф, и пианино,
и елка, и зеленый чемодан,
и тянутся к окошку помидоры,
и тянет холодком из коридора.

VI.

На кухне пустота и чистота.
Спят по шкафам кастрюли и тарелки,
считают время луковые стрелки,
растет корней густая борода,
и страшно прорастает в никуда,
собою хочет все заткать вокруг,
сама себе и паутина, и паук.

Ползет по стенам, через потолок
в дверной проем, навек преображая
весь дом и каждый тайный уголок.
Была когда-то комната большая,
а нынче словно съежилась она.
Обшивка, ламинат, стеклопакеты.
В шкафах чужие прячутся скелеты,
и все вокруг чужое, кроме света,
текущего из каждого окна.

VII.

Он остается, даже если ты
уехал навсегда. Он остается,
он, как и прежде, льется, льется, льется —
им все пространства в доме залиты.
Его волна то холодней, то горячей.
Он, как хранитель, связкою лучей
гремит и, дверь за дверью отпирая,
за жизнью жизнь приводит в старый дом:
вот эта первая, а вслед за ней — вторая,
и третья, и четвертая потом.

И я в одной из них, я в шарике на елке,
я в каплю памяти помещена,
подобно отражению в осколке,
где старина становится видна,
и в этой амальгаме, в этой пене
мелькает девочка —
я это или нет? —
она бежит, бежит.
Ее ведут ступени
по лестнице, туда, откуда свет.

Татьяна ОКОМЕНЮК

ПО УТОЧНЕННЫМ ДАНЫМ...

Рассказ

— Слышь, братан, не мог бы ты в субботу за меня подежурить, а? Мне во как надо, — провел ребром ладони по горлу спасатель второго класса Ванька Кордуба, обращаясь к своему сослуживцу Олегу Фомину.

— Не могу, дорогой, — развел тот руками, — теща припахала на дачу ее отвезти, я уже пообещал.

— Теща — это святое, — вздохнул расстроенный Иван. — А попросить-то мне больше и некого: Пашка к свадьбе готовится, Вертоградов — на больничном, Палыч — на курсах повышения квалификации, Юрец уволился. Прямо вылы...

— Анек в тему, — раздался в раздевалке задорный голос начинающего спасателя Женьки Рокотова, недавно влившегося в коллектив взвода военизированной горноспасательной службы МЧС. — Чтобы сэкономить на бензине, Олег отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал ее в ноябре.

— Ха-ха-ха-ха! — грохнула раздевалка смехом.

— Кстати, вот тебе и замена, — мотнул Фомин подбородком в сторону новенького. — Молод, полон энергии, рвется в бой. А, Жень? Подежуришь в субботу за Ваньшу? За ним не заржавеет, он потом отбатрачит, а ты получишь плюстик в карму.

— Говно-вопрос! — не стал ломаться парень, мечтающий стать своим в суровом мужском коллективе. — Анек в тему: звонит тетка в Службу спасения: «Алло, помогите!!! Мой дом в дачном поселке Дубки взял и загорелся». — «Оппаньки!!! Какие люди! Лидия Прокофьевна, зятек ваш на проводе. Вы как? По-прежнему, считаете, что лучше сдохнуть, чем еще раз увидеть мою противную рожу?»

Мужчины снова разразились хохотом — настроение у всех было отличным, дежурство спокойным, грядущие выходные обещали хорошую погоду, отдохновение от забот праведных и полный дзен...

После окончания Технического пожарно-спасательного колледжа двадцатилетний Женька Рокотов попал на стажировку во взвод военизированной горноспасательной службы МЧС, базирующийся в промышленном городке Кумаринске. Там и остался

Татьяна Владимировна Окоменюк родилась в 1962 году в Днепрпетровске (Украина). Окончила филологический факультет Тернопольского государственного педагогического университета. Публикуется в литературных журналах Германии, Австрии, России, Беларуси, Греции, Бельгии, Франции, Чехии, США, Израиля, Латвии, Украины. Автор 20 книг художественной прозы, изданных в Германии, США и России. Лауреат литературных премий имени: А. С. Грибоедова, А. П. Чехова, А. Т. Твардовского, Л. Н. Толстого, В. В. Маяковского, святого благоверного великого князя Александра Невского. Живет во Франкфурте-на-Майне.

служить по контракту. «А почему нет? Поднаберусь опыта и, имея приоритет, поступлю в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, продвинусь по службе, женюсь, возьму в ипотеку приличную квартиру, куплю автомобиль... — оптимистично рассуждал он. — Это сейчас я — последний подползающий, живу в общежитии и на тусовку в областной центр добираюсь на автобусе. Со временем же все изменится, профессия-то уважаемая: стабильный доход, возможность получения ипотечного сертификата, полтора месяца отпуска, график работы сутки через трое, возможность подработки в свободное от дежурства время, бесплатный санаторно-курортный отдых, оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно... Как при таких условиях не дослужиться до спасателя международного класса? Впрочем, все это — не самое важное. Главное — ощущение причастности к ответственному делу спасения человеческих жизней».

Мать Женьки, вдова погибшего на службе пожарного, его выбор не одобряла.

— Куда тебя несет, сынок? — вздыхала она. — Зачем тебе этот ад вдали от родного дома? Ненормированный рабочий день, психологическое напряжение и риск для жизни за зарплату в тридцать тысяч рублей? Ведь это же — вызовы среди ночи, учения, тревоги, внезапные командировки, запрет на выезд за границу... Ты не будешь себе принадлежать и ничего не сможешь планировать... Неужели в жизни тебе так не хватает драйва?

— Не хватает, мам, — признался Женька. — А зарплата будет со временем повышаться, появятся надбавки за звание, выслугу, опасные условия труда, командировки в отдаленную местность. И вообще — я хочу быть, как папа. Спасатель — это не работа, это — призвание, а оно нам посылается свыше. — С тем и уехал далеко за Урал.

В Кумаринске его приняли хорошо, без издевательских шуточек и тупых приколов, сопутствующих «прописке» новичка в коллективе. Оно и понятно: Женька — парень симпатичный, компанейский, мастер спорта по кикбоксингу, КМС по армрестлингу, гитарист, шутник и балагур, всегда готовый помочь ближнему.

В тот день он заменял своего коллегу респираторщика¹ Ивана Кордубу. Заняться в выходные ему все равно было нечем: любимой девушкой и друзьями парень на новом месте пока не обзавелся. С развлечениями и культурным досугом молодежи в шахтерском моногороде было не просто плохо, а совсем никак. «Вот куплю автомобиль и буду гонять „на выгул“ в областной центр на все три выходных, хотя нет, на два», — вспомнил он напутствие командира взвода. Зачисляя Женьку на службу, тот строго предупредил, что сутки, предшествующие дежурству, предназначены не для загулов и напряженной работы, а для сна и занятий спортом, иначе от усталости можно не только подставить коллег, но и самому погибнуть. Любой «звон» в шахте может закончиться смертью.

Впрочем, его это не касается. Какие загулы могут быть в Кумаринске? А до покупки автомобиля ему — как до китайской границы. Да, у всех ребят их взвода машины есть, так они и пашут в свои свободные дни, как заведенные. Кто занимается промышленным альпинизмом, кто работает инструктором по технике безопасности, кто подвизается на шахте каким-нибудь консультантом. А он, Женька, пока еще не освоился на местности, но это — дело наживное. Будут и у него подработки, отсутствие финансовых проблем и весь пакет жизненных благ: квартира, машина, дача, приличная техника в доме, модные шмотки.

Ход мыслей парня, занимавшегося проверкой исправности своей кислородно-дыхательной аппаратуры, прервали сигнал тревоги и голос оперативного дежурного по гром-

¹ Сотрудник военизированной горноспасательной части, подготовленный к проведению спасательных работ с применением средств защиты органов дыхания и владеющий приемами оказания первой медицинской помощи.

кой связи: «Первое и второе отделение, — на выезд!» Через две минуты спасатели уже стояли в гараже рядом со своими белыми спецмашинами, на борту которых красовался девиз: «Предотвращение, спасение, помощь».

— Классные у нас тачки! — восхитился Женька, любуясь тяжелыми автомобилями на шасси КамАЗа с эмблемой ВГСЧ на двери.

— Это еще что! — многозначительно хмыкнул респираторщик Илья Корзухин, откусывая один из шоколадных батончиков, которых у него было напихано по всем карманам. — В прошлом году я был в командировке в Якутии, так тамошние коллеги ездят на трехосных вездеходах на пневматиках низкого давления. Вот это машинки! Кабина с системой обогрева и шесть колес, каждое — размером с бегемота. Прикинь, для пневмохода любое бездорожье нипочем, как зимой, так и летом. Он может преодолевать водные преграды, не оставляет после прохода глубоких следов, безопасен при движении по тонкому льду. Нам бы такие!

— Раскатал губу! Ты не за Северным полярным кругом служишь, — скептически заметил командир отделения сержант Мамаев. — А ты, Рокотов, что там мнешь в руке? Ну-ка покажи!

Женька разжал кулак. На его ладони лежал старый оловянный солдатик в форме рядового бойца Советской армии. Фигурка была темно-серой, и только каска на голове — светлой, отполированной. Видно, игрушку часто гладили по голове.

Брови сержанта удивленно поползли вверх.

— Что это?

— Наш семейный талисман, — смутился Женька. — Сначала он был у моего деда, потом — у отца. Батя всего один раз забыл его взять с собой на работу и в тот же день погиб на пожаре, вынося из огня двух пацанят. Он у меня был огнеборцем.

— Понятно, — уважительно произнес командир отделения, возвращая Рокотову оберег. — Никогда его дома не оставляй, а то у нас на службе... всякое случается.

— Анек в тему, — зажал Женька солдатика в кулаке. — На вопрос: «Что получает горноспасатель после смерти?» — армянское радио ответило: «Три дня отпуска, а потом — опять под землю».

И снова мужчины, привыкшие ходить по лезвию бритвы, зашлись в истерическом хохоте. К смерти, которой они не единожды бросали вызов, спасатели относились не то чтобы несерьезно, но как-то отстраненно, по-философски.

— А вот еще один, — решил вставить свои пять копеек респираторщик Руслан Сябитов, который с появлением во взводе Рокотова лишился титула первого шутника и балагура. — Объявление в газете «Спасатель»: «Приглашаем молодежь на работу в МЧС. Только у нас: ненормированный рабочий день, оплата труда триста у. е. в месяц, отсутствие тринадцатой зарплаты, возможность переходить улицу на красный сигнал светофора, заплывать за буйки, стоять под стрелой, ходить по крышам без страховки, работать с открытым огнем и другие узкосоциальные льготы. Также вы получите уникальный шанс редко видеться с родными, близкими, друзьями и за максимально короткий срок сможете приобрести различные заболевания (от начальной стадии алкоголизма до глубокого маниакально-депрессивного психоза). Проверьте себя на прочность!!!»

Спасатели хохотали так, будто надышались веселящим газом. До икоты, до колик в животе. Смех оборвался, как только в дверях появился заместитель командира взвода майор Топорков с «путевкой на аварию» в руках. Он не стал делать подчиненным замечание, поскольку понимал: смех — это один из способов отогнать от себя тревогу перед неизвестностью. Что-то вроде «наркомовских ста грамм», выдаваемых бойцам Красной армии перед атакой.

— Вот что, орлы, — окинул он взглядом выстроившихся в шеренгу спасателей. — Едем в Шахтерск. На шахте «Разлогая» в вентиляционном штреке произошло задымление. Вентиляция вышла из строя. Сейчас под землей, на глубине четырехсот метров, находятся двести сорок три горняка. Наша задача — определить причину задымления, оказать первую помощь пострадавшим и вывести живых на-гора. Одним словом, все как обычно. По машинам! Ни пуха нам, ни пера!

— К черту! — выдохнули спасатели, запрыгивая в пассажирские отсеки автомобилей с оранжево-синей полосой на борту. Включились сирены, замигали проблесковые маячки, и белые КамАЗы понеслись в пекло — до Шахтинска было более сорока пяти километров.

— Очкуешь? — поинтересовался у Женьки Руслан Сябитов, остро завидовавший его чувству юмора, самоиронии и мастерской игре на гитаре.

— А что, уже пора? — погладил подушечкой большого пальца каску своего оловянного солдатика не нюхавший пороху парень,

— Вот ты, Сябит, новенького все время троллишь, а он сегодня возьмет и подвиг совершит, — лукаво улыбнулся сержант Мамаев. — Его наградят медалью, а тебя — нет. Тогда и посмеемся.

— Дай бог нашему теленку волка съесть! — скривился спасатель первого класса, дайвер, водитель снегоходной техники и речных судов, бывший шире в плечах и на голову выше Рокотова.

— Аnek в тему, — совсем не обиделся Женька, всегда готовый сам над собой посмеяться. — Награждают, значит, меня, отличившегося во время спасательных работ на шахте... э-э-э...

— «Разлогая», — подсказал ему спасатель второго класса Олег Белобородов.

— Точно! — поблагодарил его кивком Рокотов. — Как водится, вокруг девушки с цветами, звучат речи, пресса щелкает фотоаппаратами, телевизионщики стрекочут своими камерами. Директор шахты распинается: «...и этот замечательный парень, зная о возможности взрыва метана, не удрал из забоя, а, лежа на спине, удерживал своды галереи до тех пор, пока не были закончены восстановительные работы и сняты все временные домкраты». Я стою и скромно улыбаюсь. Корреспонденты выкрикивают: «Потрясающе! Евгений — настоящий герой! У него — открытое доброе лицо, с которого не сходит широкая улыбка!» — «Ну, улыбка — дело временное, — чешет директор лысину. — Просто коллеги-спасатели второпях установили домкрат на его подбородке».

— Га-га-га-га! — взорвался смехом автомобиль. И даже ревнивый Сябитов растянул в полуулыбке уголки своего скептически скривленного рта.

— Премия за лучший анекдот месяца! — протянул Корзухин Женьке шоколадный батончик.

Тот механически засунул его в карман брюк, поймав на себе завистливый взгляд Руслана.

— Станция Березай, кому надо — вылезай! — остановил спецмашину водитель. — Гляньте, пацаны, папарацци раньше нас приехали, — кивнул он головой в сторону машины с маркировкой «Пресса». — Опять эти уроды пристроились у самого устья ствола, перегородив дорогу!

— Куда только менты смотрят? Вон их сколько сегодня нагнали! — покачал головой Мамаев, глядя в окно. — Зевак за черту оттеснили, а то, что эти стервятники раскочерячились посреди дороги, в упор не видят.

— Это, сержант, не зеваки, это — близкие оставшихся под землей горняков. Видишь, слезы вытирают? — тяжело вздохнул Белобородов. — Видно, плохи дела сегодня. Не иначе, метановоздушная смесь взорвалась.

Пока замкомвзвода получал у главного инженера предприятия информацию, необходимую для работы спасателей, последние надевали спецодежду, проверяли исправность аппаратуры, готовились к спуску в шахту.

Недалеко от них возмущались и рыдали вытесненные со двора шахты родственники потерпевших аварии.

— Сын не раз мне рассказывал, что уровень содержания газа в забое во много раз превышает допустимые показатели, поэтому руководство изнутри проклеивает датчики скотчем, — плакала седая женщина в скромном платочке. — Спаситься при такой загазованности просто нереально. Даже если прижаться к стенке, плотно прикрыв дыхательные пути, все равно выдержишь не больше пяти часов.

— Во-во! Полная безалаберность! — подхватил эстафету мужчина в шахтерской куртке. — Перед тем как приехать на «Разлогую», проверяющие всегда предупреждают местное руководство о своем визите. Иногда, чтобы создать видимость контроля, выписывают мелкие штрафы. Сами же никогда не спускаются под землю. Что им наши жизни?

— Муж давно жаловался на условия труда, говорил, что метан у них просто зашкаливает. Прибор пищит, мужики его смочат водой, он и замолкнет, — всхлипывала невысокая беременная женщина в берете, наспех натянутом на влажные волосы. — Руководство же на это безобразии никак не реагирует. Говорит: «Не нравится — увольняйтесь». Легко сказать! Попробуй найди в нашем регионе другую работу. В шахте они получают грязными тысяч пятьдесят-шестьдесят, в лаве — все семьдесят. Заработок зависит от выполнения плана, вот и не увольняются. Наши мужики для хозяев предприятия — расходный материал.

— Это точно! — поддержал ее сухонький, без конца кашляющий старичок. — Если горнорабочий уволится, ему могут выставить крупный штраф. И запись в трудовой электронной книжке сделают такую, что на другую шахту уже не устроишься, а семью-то нужно кормить. У всех же — кредиты, ипотека, алименты.

— Да что тут говорить, шахта находится в руках холдинговой компании, чей владелец — долларовый миллиардер, — развела руками пожилая интеллигентная дама в шляпке. — Еще в прошлом году обещали создать комитет по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. И где он? Прибыль, господа, и ничего личного. Налицо — преступление без наказания.

Записав на диктофоны все произнесенное родственниками, пасшиеся в толпе журналисты заметили наконец белые машины МЧС.

— Братва, черепахи прибыли! — выкрикнул кто-то из них, и представители СМИ бросились к спасателям с неуместными в данный момент вопросами. Напрасно. Те в их сторону даже головы не повернули.

— Ну и наглые — пробы негде ставить, — возмутился Евгений. — Сначала черепахами нас обзывают, а потом тычут под нос свои диктофоны. Пусть бы сами попробовали раньше нас из Кумаринска добраться.

— Темный ты, Рокотов, как душло! — снисходительно хохотнул Сябитов. — Мы не потому черепахи, что вечно опаздываем, а потому, что похожи на них в своем специальном снаряжении.

К моменту возвращения Топоркова все они уже стояли на старте в герметичных защитных костюмах, касках с аккумуляторным фонарем и лицевой маской. Послед-

няя соединялась гофрированной трубкой с висящим за спиной дюралюминиевым ранцем, в котором находился респиратор.

— Вот что, ребята, — нахмурился майор, — по предварительной версии, причиной аварии стал взрыв метана. По закону подлости случилось это в пересменку, когда рабочих в шахте бывает вдвое больше обычного. Из двухсот сорока трех находившихся под землей горняков ста семидесяти четырем удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Им сильно повезло: когда произошел хлопок, электричество какое-то время еще работало, и те, кто оказался рядом с «бабой Леной»², упали на нее и выехали наверх. Остальные шестьдесят девять человек ждут сейчас нашей помощи. Будем надеяться, что еще ждут. С богом!

На разведку в штрек первое отделение спускалось с опаской. От перемены атмосферного давления закладывало уши.

— Это с непривычки, — пояснил Женьке Сябитов. — Как сказал о нашей работе один остряк: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.

— Оптимист, блин, — фыркнул недовольно Корзухин. — Вечно ты на новеньких жуть наводишь и кармаешь под руку...

С разведки ребята вернулись с двумя телами и двумя живыми горняками. Последние были ранены и обожжены. На них спасатели натянули свои вспомогательные респираторы. Оно и понятно: собственные портативные дыхательные устройства шахтеров, рассчитанные на один час работы, давно исчерпали свое полезное действие.

Увидев шатающихся из стороны в сторону спасателей и перепачканных угольной пылью горняков, к ним тут же бросились Топорков и четверо медиков в синих куртках с надписью «Медицина катастроф». Горняков они увезли сразу и тут же вернулись за спасателями, трое из которых уже едва держались на ногах.

— Товарищ майор, в шахте — раскаленные угольные пласты, сильная задымленность и нулевая видимость. Взрывом выбиты все шлюзы, способные остановить распространение газа. Нами обнаружены два нулевых забойщика и два живых проходчика, которые умудрились на козе³ проехать двести метров нам навстречу, — пытался удержать равновесие сержант Мамаев. — По их свидетельствам, бобик сдох⁴, верблюд⁵ тоже. Аварийный участок с людьми отрезан обрушившейся горной породой. В шахте кислорода нет, полно маргарина⁶, температура — плюс пятьдесят. Взяли пробы на треугольник взрываемости и...

Закончить он не успел: потерял сознание. Медики подхватили отравившегося оксидом углерода мужчину и вслед за Корзухиным и Белобородовым повезли к своему реанимобилеу, вызывая по рации подмогу — число медицинских бригад экстренного реагирования сегодня было критически малым.

Из первого отделения в строю остались только двое: Руслан Сябитов и Женька Рокотов.

— Ну, тебя, Сябит, и оглоблей не перешибешь, а ты-то, Жека, как не скопытился? — кинулись коллеги обнимать выбравшихся из ада спасателей. — Видать, твой ангел-хранитель на перекур не отлучается.

«Это точно», — подумал парень, поглаживая оловянного солдатика у себя в кармане.

— В забое остались шестьдесят пять человек, — задумчиво произнес Топорков.

² Ленточный конвейер.

³ Вагонетка для перевозки людей и грузов.

⁴ Поломался проходческий комбайн.

⁵ Насос, работающий от сжатого воздуха.

⁶ Газы после взрыва.

— Или шестьдесят пять тел, — дрожащим голосом добавил появившийся рядом с ним заместитель директора шахты. — Бедствия подобного масштаба «Разлогая» еще не переживала. Вон уже явились Следственный комитет и губерн со свитой. Сей-час начнется адский движняк.

— И правильно начнется! — психанул майор. — Надо было провести предварительную дегазацию пласта, поставить дополнительный вентилятор на горах и снизить добычу, чтобы лава успевала проветриться. Экономите на безопасности? Вот и доигрались.

После проверки проб, взятых первым отделением, выяснилось, что из-за высокой концентрации газа и неработающей вентиляции реальна угроза повторного взрыва. Поисковые работы решено было приостановить. Родственники потерпевших зарыдали в голос. Все понимали, что каждая уходящая минута уменьшает шансы на выживание попавших в беду шахтеров. Вскоре к спасателям явилась делегация заплаканных жен и матерей.

— Ребята, миленькие, не бросайте наших мужиков на произвол судьбы, — умоляли отчаявшиеся женщины. — Если сами не хотите, помогите спуститься в забой нам. Мы готовы голыми руками их раскапывать.

— Да разве ж мы не хотим? — всплеснул руками Игорь Самарин, командир второго отделения, на усиление которого Топорков направил Рокотова и Сябитова. — Мы — люди служивые, подчиняемся приказам начальства. Вон видите большую машину с надписью «Передвижной командный пункт МЧС»? Идите туда к майору Топоркову. Если он даст отмашку, мы тут же начнем спасательную операцию.

Родственники тут же ринулись в указанном направлении.

— Ребят, а может, все-таки попытаемся? — робко отозвался Рокотов. — Высокая вероятность — это значит, что повторный взрыв может быть, а может и не быть. Правильно? Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

— А пьет водку на поминках того, кто рискует, — продолжил Сябитов. — Сказали же специалисты: вот-вот рванет. Тебе что, жить надоело?

Женька выскочил из машины и стал наматывать круги вокруг передвижного оперативного штаба. Потом остановился у его приоткрытой двери.

— А если бы ваш собственный сын был сейчас под землей, вы бы тоже так рассуждали? — звенел отчаянием возбужденный женский голос внутри штаба. — Не полезли бы его спасать?

— Полез бы. Один. Но чужих сыновей не потянул бы с собой на верную гибель, — уверенно ответил замкомвзвода.

— Так пустите туда нас. Одних. Мы и без вас откопаем наших родненьких, — зазвучал другой, более низкий, голос.

— Об этом не может быть и речи. Никто из штатских не проникнет на оцепленную территорию. Идите лучше в помещение. Там вас ждут специалисты, приехавшие для оказания психологической помощи.

Делегация возмущенно загомонила:

— На фига нам ваши психолухи! Верните наших мужей, братьев, отцов!

— Да вы понятия не имеете о сложностях работы горняков! Только и можете отсиживаться в штабе, пока наши мужики задыхаются без воздуха!

— Вы — экстренная служба или кто? Вас бы на шахтерскую адову работу!

Майор откашлялся и совершенно севшим голосом произнес:

— В спасатели я попал именно после этой адовой работы, где трудился вместе со своим отцом. Он был ствольным подземного участка шахтных подъемов. Мы с ним работали в разные смены, поскольку кто-то должен был ухаживать за прикованной

к постели мамой. После гибели отца я дал себе слово, что, став сотрудником МЧС, сделаю все от меня зависящее для спасения моих бывших коллег. Но не ценой жизни молодых ребят, у которых тоже есть малые дети, беременные жены и престарелые родители. Уровень метана в воздухе превышает норму во много раз. Пока он не упадет до пяти процентов, рисковать людьми я не стану. Я все сказал.

— Извините... простите... это все нервы... — зашелестела делегация. — Мы все понимаем, но все же...

Когда женщины вышли из штаба, Женька решил-таки обратиться к замкомвзвода.

— Товарищ майор, а если в забой отправятся только добровольцы? В нарушение вашего приказа. Что тогда будет? — поинтересовался он.

— Если останутся живы, — задумался Топорков, — получают предупреждение о неполном служебном соответствии. Если погибнут, накажут меня.

— Есть получить неполное служебное! — щелкнул Рокотов каблуками и тут же помчался к сослуживцам.

— Мужики, майор сказал, что тот, кто ослушается его приказа и спустится в шахту, получит дисциплинарное взыскание в виде «неполного служебного», — сообщил он. — Я готов его получить. Кто-нибудь из вас пойдет со мной?

Спасатели молчали, обдумывая ситуацию.

— Братцы, ну что ж вы как неродные! — едва не плакал Женька. — Ну как можно здесь отсиживаться, когда люди видят в нас свою последнюю надежду. Как нам в глаза им смотреть? Стыдник же!

— Ну да, тебе терять нечего, — скривился Сябитов. — А у нас — семьи, дети, ипотека, карьера. И опыт. В отличие от тебя, бравого невменяшки, мы хорошо знакомы с последствиями взрыва метана.

— Ваше право, — сник Рокотов. — Тогда я пойду один.

— погоди, — поднялся с корточек спасатель первого класса старлей Максим Приходько. — Я пойду с тобой. Бог не выдаст, свинья не съест.

— Тогда и я с вами! — надел на голову каску респираторщик Жора Горадзе. — Сердце кровью обливается, когда смотрю на этих бабонек. Выговором больше, выговором меньше — без разницы.

И отчаянная тройка потопала к шахтному стволу.

— Вернитесь, пацаны! Не чудите, — крикнул им в спину замкомвзвода.

Женька оглянулся, хотел что-то ответить, но, увидев, что Топорков исподтишка осеняет их крестным знаменем, не стал этого делать. К горлу подкатил ком. В памяти всплыли чьи-то стихотворные строки:

Я верю: избежим мы лиха,
Болезней, смерти, многих бед,
Пока есть тот, который тихо,
Нас незаметно крестит вслед.

Вспомнил, и на душе стало спокойнее. Женька прекрасно понимал, что наверх он может уже не подняться. Что если метан рванет, полетят клочки по закоулочкам — даже хоронить матушке будет нечего. Он знал, что подобные мысли роятся сейчас и в головах у обоих его коллег, а потому решил отвлечь их привычным ему способом.

— Анекдот в тему, мужики: «Алло, это Служба спасения?» — «Она самая. Что у вас случилось?» — «Ради бога, помогите мне отсюда выбраться». — «А где вы находитесь?» — «В ТiкТок(е)».

— Не смешно! — фыркнул сосредоточенный Максим.

— А этот? — не отставал Рокотов. — Редакция газеты «Спасатель МЧС России», отвечая на многочисленные вопросы читателей, официально уведомляет: «В опубликованном в прошлом номере газеты предложении: „Горноспасатели Максим Приходько, Георгий Горадзе и Евгений Рокотов несколько дней не могли выйти из забоя“ — все слова напечатаны правильно».

Жорка хихикнул, а Макс по-прежнему был серьезен и напряжен.

— Вот на фига каркать? — буркнул он недовольно. — Не хватало еще нам тут застрять.

Спустившись в «преисподнюю», спасатели долго шли по задымленному треку, затем нырнули под берму⁷ и поползли по забюю. Было очень жарко и, что греха таить, страшно. Видимость — нулевая. Наклонные шахтовые выработки уходят глубоко в недра, поэтому часть пути была предельно сложной — в гору. К тому же амуниция спасателей весит около пятнадцати килограммов, а закрепляющие маску резиновые хомуты немилосердно сдавливают голову.

Наконец группа добралась до завала. Лезть напрямую было нельзя: могло произойти новое обрушение породы, которое похоронило бы всех. Приняли решение идти обходным путем, сделал просек размером сто двадцать на девяносто сантиметров. Преодолев ползком около пятидесяти метров рукотворного лаза, спасатели нашли тела десятерых горняков, разбросанные в метре-двух друг от друга. Пройдя на путевой штрек, они обнаружили еще двенадцать тел.

— Все нулевые, — выдохнул Горадзе, поправляя на каске фонарь-коногонку. — Будем эвакуировать?

— Им уже торопиться некуда, — отозвался старлей Приходько, старший по званию в этом микроотряде. — Где-то находятся еще сорок два человека. Они могут быть живы, будем их искать.

И потопали — вверх, вверх, вверх. Вскоре настойчивость отважной троицы была вознаграждена. С трудом открыв железную дверь в стене, плотно сбитой из шлакоблоков, ребята обнаружили двенадцать живых горняков. Ослабленных, обезвоженных, раненых. У кого-то были переломы конечностей, у кого-то — сотрясение мозга, кому-то посекло углем глаза, кто-то получил многочисленные ушибы...

— Спа-са-те-ли, — едва слышно прохрипел кто-то из них. — Я же говорил, что нас обязательно найдут, а вы не верили...

— Как же вам удалось уцелеть? — поинтересовался у них Жора. — На вашем горизонте все разнесло на атомы. Одна пыль осталась.

— Так это... дальняя сбойка нас защитила, — пояснил пожилой горняк. — На удивление прочной оказалась — добросовестно была сделана.

— И сразу железная дверь захлопнулась, не дав к нам хлынуть потоку газа, — добавил молодой проходчик, держась руками за разбитую голову.

— Дело совсем не в двери! — прохрипел уже знакомый голос. — Просто тут рядом проходит воздухоподающий ствол. Вот и выдуло вокруг нас всю углекись. Там уклон идет, и свежая струя с него омывает эту выработку.

Спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и стали их готовить к эвакуации.

— Подъем, мужики! — скомандовал Максим шахтерам. — Будем выбираться. На-деваем самоспасатели.

Нашупав свои кислородные трубки, мужчины с трудом поднялись на ноги.

⁷ Вспомогательная горная выработка.

— Осталось еще двадцать девять человек, — ни к кому не обращаясь, пробубнил Жора Горадзе. — Где они могут быть?

— Мы за ними вернемся! Нужно сначала вывести этих, — пообещал Приходько, кивнув подбородком в сторону чудом уцелевших мужчин.

Задача эта оказалась весьма непростой. Особенно марш-бросок по тесному лазу вместе с обессиленными людьми. Передвигаться по шахте, с ее бесконечными поворотами, изменениями высот и риском обрушения породы, было невероятно сложно. Время от времени приходилось делать привал: четверо из двенадцати шахтеров самостоятельно идти не могли.

«Главное — дотащить раненых до уклона, который ведет к первым вентиляционным воротам, — стучало в мозгу Рокотова, — а там и до клетового ствола⁸ рукой подать».

Наконец, уже практически на автомате, отряд добрался до околовольного двора с проводным телефоном.

Старлей позвонил в диспетчерскую и попросил отправить им вниз клеть и питьевую воду. Пять минут с «горизонта четыреста» они поднимались вверх и все пять минут жадно хлебали воду из двухлитровых пластиковых бутылок.

Когда мужчины выбрались на поверхность, на улице уже было темно. Двор освещали мощные прожекторы, размещенные на крышах эмчээсовских спецавтомобилей. У пропускного пункта скопились десятки машин «скорой помощи». Люди, собравшиеся у служебного транспорта, стали аплодировать героям-спасателям и двенадцати выжившим горнякам, черным, хрипящим, едва дышащим.

Родственники последних со всех ног ринулись к ним, невзирая на окрики медиков и полицейских. Защелкали фотовспышки, включились телекамеры, затараторили радио- и телекомментаторы. Медики стали увозить пострадавших в больницу.

Растроганный Топорков обнял ребят.

— Спасибо вам, сынки!

— За что? — искренне удивились те.

— За то, что выжили, — произнес тот срывающимся от волнения голосом. — За то, что рискнули собой и спасли людей.

— Это — наша работа! — синхронно ответили все трое.

— Тогда докладывайте!

— Товарищ майор, — стал по стойке «смирно» Максим Приходько. — Обстановка, по-прежнему, взрывоопасна. Концентрация метана в забое превышает семь процентов, окись углерода — двадцать пять процентов. Кроме двенадцати живых счастливицков, мы обнаружили двадцать двух «нулевых». Таким образом, на этот момент остается неизвестной судьба двадцати девяти горняков. И... разрешите обратиться?

Замкомвзвода молча кивнул.

— А почему мы не знаем, где они находятся? В лампы же на касках встроены маячки, которые каждые две секунды должны подавать сигнал для определения локации каждого из них.

— Ну да, ты один у нас такой умный. Остальные погулять вышли, — вздохнул Топорков. — Сила взрывной волны была такой, что сорвало все стационарные средства связи. Приборы молчат, сигналы не поступают. Так что придется нам все делать вслепую. Потом. А сейчас отдыхайте. На сегодня с вас хватит приключений. Особенно с Рокотова, сделавшего два захода в душегубку. На твоём личном счету, Евгений, уже и так — два плюс двенадцать.

⁸ Шахта пассажирского скоростного лифта.

— Никак нет, товарищ майор! — возразил тот. — Мы сейчас немного передохнем, выпьем горячего чаю и попытаемся найти недостающих. Если с этими двенадцатью случилось чудо, может, и остальным повезет.

— Я этого не слышал! Шагом марш в автобус! — нахохлился замкомвзвода. — Нельзя испытывать судьбу бесконечно.

— Так точно! Вы ничего не слышали. Мы же готовы получить «неполное служебное». Да, ребята? — обратился парень к коллегам.

— Так точно! — выпалили те дуплетом.

Немного передохнув, спасатели поменяли дыхательные аппараты и снова полезли в штрек. К ним присоединился четвертый — командир второго отделения Игорь Самарин. Не мог он больше сидеть в автобусе, в то время как его подчиненные рискуют жизнью.

— Не найдем живых, принесем мертвых, — пообещал он бросившимся к ним родственникам, воспрянувших духом после возвращения из забоя двенадцати человек.

Спасатели взяли с собой носилки, лопаты для разбора завалов, кайло и лом — не исключено, что пропавшие без вести находятся как раз под тем завалом, который они обогнули, сделав просек.

Первым шел Рокотов. В одной руке он нес двустороннюю кирку, которую горняки называют «корчагиным». В другой — лом, именуемый ими «поддырой». Следом с разборными горноспасательными носилками шагали Горадзе и Приходько. Замыкал процессию нагруженный лопатами командир второго отделения Самарин, который напевал себе что-то под нос. Парни прислушались.

Душа горит. Душа в огне.
Душа у горла.
Друзья, не плачьте обо мне.
Живите долго⁹, —

фальшиво выводил Игорь.

— Ничего ж себе тематика! — не выдержал суеверный Приходько. — Кончай с этим минором — накличешь беду.

Не верящий ни в Бога, ни в черта Самарин лишь презрительно фыркнул. Его всегда бесили разговоры коллег о том, что следует вернуться домой, если по дороге на работу встретишь женщину в белом платье. Что нельзя говорить «последнее дежурство», только — «крайнее». Что не рекомендуется сидеть и уж тем более лежать на носилках — на них и вынесут. Что не стоит возвращаться, если что-то забыл дома. Суеверность он считал чем-то сродни недоразвитости, поэтому и разозлился на старлея.

— Анекдот хотите? — кинулся разряжать обстановку миротворец Женька.

— Хотим, — ответили хором Горадзе и Самарин. Приходько промолчал. С юмором у него было не очень.

— На открытии новой шахты по традиции туда первой бросили кошку. Она-то, выбираясь наверх, и нацарапала первые три тонны угля.

— Ха-ха-ха-ха! — затряслись от смеха Жорка с Игорем. — Прикольно!

Приходько, по обычаю, промолчал.

— А вы в курсе, мужики, что когда-то горняки брали с собой в забой клетку с канарейкой? — поинтересовался Жора, опасливо поглядывая на свой газоанализатор. — Пока слышалось пение птицы, они спокойно работали — значит, в шахте нет гремучего газа. Если же канарейка замолкала, они срочно поднимались наверх.

⁹ Автор Лири Абдуллина.

— Конечно, в курсе! — хохотнул Самарин. — Я даже в курсе, что сегодня вместо канарейки они берут с собой чифирь и в потенциально опасных туннелях смачивают им язык. Если горький на вкус напиток становится сладковатым и начинает отдавать металлом, это — верный знак повышенной концентрации метана.

Группа уже преодолела часть пути, как вдали что-то хлопнуло и вспыхнуло. Женьку тут же опрокинуло на спину и приложило головой о раскаленный угольный пласт...

Когда он очнулся, то не сразу понял, где находится. Все вокруг было затянато дымом. Темно так, что не видно даже пальцев на руке. И тишина. Гробовая. «А вдруг меня контузило? — напрягся парень. — Вдруг я ослеп и оглох?»

Первым делом Рокотов ощупал голову — крови не было. Каски на голове — тоже. Не обнаружил он и часов на левой руке. Но часы-то ладно, неведомая сила сорвала на последней три ногтя. Аккуратно сорвала — пальцы жгли, но не кровоточили.

«Так что же здесь все-таки происходит? Я что, на учениях? — никак не мог сообразить Женька. — Ну да, на них, родимых. А где ж еще, если я — в герметичном защитном костюме и дышу через респиратор. Стало быть, это — испытательный полигон, моделирующий угольную шахту — закрытую бетонным саркофагом стометровую учебную трубу. Сейчас мы отрабатываем тактику применения спасательного оснащения в экстремальных условиях. Только... где все ребята и где инструктор по профессиональной подготовке? Ничего не понимаю. А может, я сплю и весь этот ужас мне просто снится?»

Рокотов встал на четвереньки, начал ощупывать землю под ногами. Вскоре он нашел кайло и свою искореженную каску без фонаря. Крепления на ней были дико растянуты, будто какое-то чудовище огромной силы содрало ее своей лапой с его головы. Сильная боль в висках свидетельствовала о том, что его предположения были недалеки от истины. «Береженого Бог бережет! — мысленно произнес Рокотов, нахлобучивая каску. — Кто знает, какие сюрпризы готовит мне этот задымленный туннель? Может, я, как кэрролловская Алиса, провалился в кроличью нору и скоро стану участником необыкновенных приключений».

Спустя какое-то время Женька дополз до перегородившей дорогу кучи. Ему показалось, что под ней сверкает какой-то огонек. Он стал разгребать ее и нащупал чью-то ногу.

В кровь парня выплеснулась целая волна адреналина, и он сразу вспомнил, что у него в подмышке есть индивидуальная аптечка. Рокотов обработал пальцы перекисью водорода и, забинтовав их, продолжил освобождать от угольной крошки найденное тело.

Последнее оказалось трупом Жоры Горадзе. Он был в защитной каске с включенным фонарем-коногонкой, который и поблескивал из-под завала.

От нервного напряжения у Рокотова закружилась голова, а сердце заколотилось о грудную клетку так, словно намеревалось выбить решетку из его ребер. Он вспомнил все! И как они вчетвером шли по нескончаемо длинному подземному коридору, и как Самарин пел: «Друзья, не плачьте обо мне. Живите долго», и как он, Женька, рассказывал коллегам анекдот о кошке-рекордсменке, и как Жорка пытался всех удивить информацией о канарейках.

«Значит, все-таки произошел повторный взрыв, — стал доходить до парня весь ужас произошедшего. — Ребята погибли, а я каким-то чудом остался жить». Он засунул руку в карман, достал оттуда оловянного солдатика, поцеловал его в каску.

— Выходит, ты и впрямь на перекур не уходишь. Хотя... если я все-таки попал в эту задницу... — вздохнул молодой человек. — Вот у Кордубы действительно неку-

рящий ангел, «припахавший Ваньку везти его на дачу». Иван же, счастливчик, даже не догадывается, что своей жизнью обязан «любимой» теще.

Женька надел на голову каску Георгия, чей фонарь оказался единственным источником света в этом темном царстве, вытащил его труп из кучи угля. Снял с него рюкзак с дыхательной аппаратурой и подсумок с индивидуальной аптечкой, достал из Жоркиного кармана карболитовую коробочку СМП-10.

Рокотов взглянул на светящуюся шкалу прибора, и у него под каской волосы встали дыбом: метана в воздухе было семь с половиной процента. Достаточно сделать два-три вдоха — и мгновенная потеря сознания. Не будь на нем сейчас респиратора, это — все.

«Кислородной аппаратуры хватает часа на четыре, если, конечно, сидеть спокойно, дожидаясь подмоги. Если же активно двигаться, то часа на два, — рассуждал Евгений. — Подмоги, ясен пень, не будет. Стало быть, надо идти. У меня — два респиратора с уже израсходованной частью газа. Значит, времени в запасе — около пяти часов. Если, конечно, я не найду сейчас тел Самарина и Приходько. С четырьмя аппаратами мои шансы на выживание несколько повысятся. Да и запасная коногонка мне не помешает — без нее не преодолеть километры подземки с ее многочисленными уклонами и подъемами».

Женька закрыл Георгию глаза, положил его тело в обнаруженную в стене нишу. Затем взял кайло и в надежде найти тела Игоря и Максима стал разгребать завал из огромных влажных кусков угля вперемешку с твердой негорючей породой.

Вскоре парень понял, что от внешнего мира он отрезан не менее чем тонной рухнувшего угля. Значит, назад пути уже нет. Оставалось двигаться только вперед, причем, наверх, что сильно усложняло задачу, ведь шел Рокотов не налегке. Кроме собственного снаряжения, у него еще были кайло, рюкзак Горадзе, его фляга, до половины заполненная водой, подсумок с медикаментами и брезентовый мешок со складными горноспасательными носилками, которые до взрыва нес Георгий. Последние могли Женьке очень пригодиться, ведь в комплект, кроме самих носилок, входили спасательное изотермическое покрывало, двадцать пять метров бечевы с карабинами, предохранительный пояс, комплект иммобилизационных шин, ножницы и диэлектрические перчатки, которые он сразу же надел на руки, чтобы защитить пальцы.

Мандраж постепенно прошел, нервное напряжение сменилось ватной усталостью, и Женька стал проваливаться в сон... «Не спать, только не спать! — тормозил он себя. — Надо двигаться вперед. Если за ближайшие пару часов я успею дойти до того места, где мы нашли погибших горняков, у меня появится шанс воспользоваться их самоспасателями и прожить лишние двенадцать часов».

Настроив себя на позитив, Евгений стал подниматься наверх. Он не торопился, ибо знал: при высокой температуре с тяжелым грузом двигаться нужно спокойно и размеренно, иначе можно сорвать дыхание и сжечь гортань. Дышать через респиратор было тяжело: воздух поступал сухой и горячий. Парень жадно отхлебнул из Жоркиной фляги пару глотков воды. Хотелось больше, но нужно было экономить. Кто знает, сколько времени придется провести в этом аду. Где-то на отрезке пути от завала до воздухоподающего ствола в прошлый раз ему на глаза попался пожарный гидрант, но есть ли он там сейчас? При взрыве потоки воздуха превращают замкнутые подземные лавы в аэродинамическую трубу, и ударная волна может снести на своем пути все, включая гидрант. Оставалось только надеяться на удачу.

Поднимаясь по уклону в гору, Рокотов почувствовал, что теряет силы. Было сыро, душно и жарко. Респиратор запутался в шнуре коногонки, каска все время спол-

¹⁰ Сигнализатор метана постоянный.

зала, пот заливал глаза, ноги наливались свинцом. Появилось головокружение, участилось дыхание, а одышка ведет к повышенному потреблению кислорода. Последнее означает, что за короткое время он, Женька, может «съесть» весь оставшийся воздух из своего аппарата.

Выбравшись на горку, молодой человек остановился, выдохнул, присел на свой мешок с носилками. Перед глазами захлопали крылышками мелкие белые мотыльки. Их было настолько много, что он даже испугался. «Надо закапать глаза», — решил Рокотов, доставая из своей аптечки капли альбуцида. Не помогло. «Значит, это — реакция организма на нехватку кислорода. Видимо, мой респиратор приказал долго жить».

Теряя сознание, Евгений успел натянуть на себя Жоркин дыхательный аппарат и отключить налобный фонарь. Мотыльки тотчас исчезли, и на их месте появилось... мамино лицо на дисплее его телефона.

— Как твоя служба, сынок? — интересовалась она. — Сильно тяжко?

— Я же вчера тебе об этом рассказывал, мамуль. Все у меня норм: чай с мужиками гоняем, песни поем под мою гитару, на тренажерах качаемся, играем в баскетбол, изучаем горноспасательное оборудование. Периодически у нас бывают выезды на контрольно-тактические учения. Ерунда, короче. Тут главное — суметь десять раз подтянуться на перекладине, пятьдесят пять раз отжаться от пола и пробежать кросс на один километр за три минуты пятьдесят секунд...

Очнувшись в полной тишине и темноте, Рокотов включил коногонку и обнаружил себя лежащим в черном каменном мешке. Над головой угрожающе нависал тяжелый угольный массив.

«Значит, разговор с мамой мне просто привиделся, — разочарованно подумал он. — Интересно, сколько я здесь провалялся и сколько кислорода осталось у меня в аппарате?»

Женька поднялся на ноги. Его шатало. Дико хотелось есть и пить. А еще мечталось постоять немного под струей теплого душа, чтобы смыть с себя пот и угольную пыль.

Он собрался с силами и, опираясь на кирку, направился вперед. Вскоре понял, что уже не в состоянии тащить на себе такой груз. Но бросить столь нужные в экстремальной ситуации вещи было бы легкомыслием. Кто знает, что может понадобиться ему в самое ближайшее время. С помощью спасательного изотермического покрывала и бечевы с карабинами он сделал мешок-волокушу, сложил туда весь свой скарб, продел руки в веревочные петли, закрепив их на спине карабинами, и, подобно бурлаку, поволок поклажу за собой.

Спустя какое-то время Рокотов решил сделать передышку. Сев на свой мешок, он облокотился о стенку, и на него откуда-то сверху посыпался горячий скользкий уголь. Парень отскочил к центру коридора, мысленно поблагодарив свой талисман за то, что не обвалилась вся кровля. Он лег на землю, положив под голову свой мешок, и вдруг услышал какие-то странные звуки. Сначала где-то очень далеко что-то загрохотало, потом, уже ближе, послышались не то скрипы, не то шорохи.

«А ведь это поскрипывают тонны породы, от которых меня отделяет лишь железная арматура бортов и потолка, — бросило Женьку в жар. — И эта арматура — просто листочек бумаги, который чудом сдерживает нависающие надо мной тонны угля. Идти в ту сторону, где только что прогремело, опасно. Скорее всего, наверху признали, что возможности найти нашу четверку живой уже нет, и дали отмашку для бурения дегазационных скважин. Через последние будет закачиваться инертная пена для снижения концентрации газов и охлаждения горных выработок. Что это для меня означает? С одной стороны, это плюс: можно будет дышать без респиратора.

С другой — минус: от сотрясения породы в любой момент может рухнуть угольная скала, и от меня не останется даже мокрого места».

Сверху снова что-то зашуршало. В голове у парня ледяными струйками забились панические мысли. Так страшно ему еще никогда не было. Он выключил фонарь, засунул руку в карман, погладил по голове своего оловянного солдата. Перед глазами снова захлопали крылышками тучи белых мотыльков. Их сменило лицо председателя приемной комиссии Технического пожарно-спасательного колледжа подполковника Зубова, который на его, Женькино, «Ого, какие требования!» снисходительно хмыкнул: «А ты как думал? Спасатель — это профессия, не терпящая случайных людей. Кого попало в МЧС не берут. У нас нечего делать судимым, пьющим, психически нездоровым, маломощным хлипакам, нервным и излишне впечатлительным. Так что подумай хорошо, действительно ли ты хочешь постоянно сталкиваться с людским горем, разбирать места катастроф, искать выживших людей. Далеко не каждый способен справиться с такой психологической нагрузкой». — «Я справлюсь!» — уверенно произнес он тогда. А может, надо было послушать маму и стать филологом? Я ведь так люблю литературу...»

В реальность Евгения вернуло зверское чувство голода. Похлопав себя по карманам, он обнаружил в одном из них шоколадный батончик, которым его премировал сластена Корзухин. «Надо же, а я о нем совершенно забыл! — обрадовался парень, запихивая находку в рот. — Дай тебе бог здоровья, Илюха! Если выживу, куплю тебе целый ящик этих батончиков. А я выживу!».

Рокотов включил коногонку, осмотрелся вокруг, прислушался. Не было ни мотыльков, ни посторонних звуков. Нужно было идти вперед, пока не разрядился фонарь. Руки сами потянулись к фляге, и он сделал еще два глотка. Живительной влаги оставалось всего ничего. «Даст бог, доберусь до гидранта, тогда уж и напьюсь от пуза, и умоюсь, и заполню флягу, — утешал себя молодой человек. — Главное — не паниковать, решать проблемы по мере их поступления и использовать приемы психологической саморегуляции».

Потеряв счет времени, Женька не знал, как долго он шел. Ему казалось, что с момента спуска под землю их четверки прошла целая вечность. Если же судить по уже слабеющему свету фонаря, то часа три, не больше. В страхе, что коногонка сейчас окончательно погаснет, Рокотов ее отключил, попытавшись двигаться без света. Вначале ему это удавалось, потом он стал наткаться на преграждающие дорогу небольшие кучи угля и, наконец, уперся в завал, обойти который не представлялось возможным.

Парень нервно сглотнул, сбросил с плеч свою лямку, включил фонарь, попытался поковырять киркой гигантскую кучу. Напрасно. Многотонный завал наглухо заблокировал его продвижение вперед. Так же, как предыдущий — дорогу назад. «А ведь я — в мышеловке! — пронеслась в мозгу пугающая мысль. — Ну, и где ты, мой ангел-хранитель? Ушел-таки на перекур? И как мне теперь быть?»

Ангел молчал. Видно, был здорово озадачен сложившейся ситуацией. Женька присел на корточки, упершись своим дюралюминиевым рюкзаком в угольную кучу, попытался успокоиться. Он знал: если страх окажется сильнее его — это крышка! Значит, нужно какое-то время пересидеть, а еще лучше переспать. Утро вечера мудренее. Хорошо отдохнув, он обязательно что-нибудь придумает. Не может не придумать! Он умный, находчивый и... везучий. Во всяком случае, был таковым до недавнего времени.

Рокотов отключил издыхающий фонарь, закрыл глаза и, засыпая, увидел свое отражение в зеркале в тот момент, когда впервые облачился в форму сотрудника МЧС.

Как же его тогда распирало от гордости! До чего же он был хорош в костюмчике темно-синего цвета: курточке на молнии с нашивками «МЧС России», Государственным флагом страны и собственной фамилией с инициалами на клапане левого кармана. Правду говорят, что военная форма украшает любого мужчину, даже косого, лысого и отчаянно неспортивного...

Проснулся Женька от внезапно озарившей его мысли, что находится он сейчас на месте первого встреченного их тройкой завала. Того самого, который они обогнули и недалеко от него сделали просек. Значит, нужно найти этот лаз, проползти по нему метров пятьдесят, а там уже — и воздух, и гидрант с водой, и свет коногонки, принадлежавшей кому-то из погибших горняков.

Молодой человек не ошибся: вскоре он и в самом деле обнаружил просек. «Стало быть, мой ангел-хранитель вернулся с перекура, — мысленно перекрестился Рокотов, смазывая губы оставшимися у него каплями воды. — Очень вовремя — фонарь вот-вот сдохнет, а без него фиг найдешь выход. Я же не летучая мышь».

Встав на четвереньки, Евгений пополз вперед, волоча за собой мешок с инструментами. Метров через двадцать остановился передохнуть. И вдруг что-то сверху ударило. «Упал кусок породы, — догадался парень. — Не дай бог...» Додумать свою мысль он не успел — обрушилась кровля. Страх лизнул Рокотова холодным языком вдоль позвоночника, и он отключился.

Когда Женька пришел в себя, то сразу понял: с правой ногой что-то не так — он ее просто не чувствовал. Правое плечо тоже ныло, но это было нормально: ушиб — боль. А вот онемение — совсем другое дело. Когда боль придет, она уже не позволит зафиксировать место повреждения, нужно немедленно выбираться из-под завала.

Парень дернулся вперед, пытаясь выпрямить ногу, но та не сдвинулась с места ни на сантиметр — была чем-то зажата. «Вот так номер! Неужели моя тушка здесь так и останется? — испугался Евгений. — Только спокойствие. Дышать ровно и глубоко. Все будет в порядке».

Но порядок не наступал. Ни одна из попыток выдернуть конечность из клещей завала не увенчалась успехом. Рокотов собрался с силами и, глубоко вдохнув, сделал очередной рывок. Острая боль пронзила все тело, и он в очередной раз потерял сознание.

В себя Евгений пришел в полной темноте — коногонка уже разрядилась, и от перспективы все дальнейшее время барахтаться в потемках у него аж мороз пошел по коже. «Ну, и что теперь делать? — мысленно обратился он к своему талисману, немеющей рукой глядя его по голове. — Идти я теперь уже вряд ли смогу, хотя... в моей аптечке есть три ампулы кеторола, а в мешке с носилками — несколько иммобилизационных шин. Надо начинать спасать ногу. Я — спасатель или кто?»

Превозмогая дикую боль, Женька попытался двинуться вперед. Не вышло: просек был засыпан обвалившимся углем. «Значит, надо делать новый, — решил он. — Вариантов-то все равно нет».

Молодой человек с трудом дотянулся до кирки и, привстав на левое колено, стал мало-помалу разгребать породу. Дышать было тяжело, глаза никак не могли привыкнуть к кромешной тьме. Минуты ему казались часами, часы — сутками. Были моменты слабости, когда хотелось все бросить и навеки уснуть, но тут же в памяти всплывали строки Джеймса Олдриджа из рассказа «Последний дюйм»: «Упорство обеспечивает тебя неким запасом сил, когда ты веришь в окончание того, что задумал», и парень продолжал бороться за свою жизнь.

Выбравшись наконец из-под завала и вытащив из-под него свой мешок со скарбом, Рокотов достал из аптечки шприц и ампулу кеторола, сделал себе обезболива-

ющий укол. Когда почувствовал, что боль отпускает, выпрямил ногу и наложил на нее шину. «Ну, вот, Евгений Сергеевич, а ты уже думал, что тебе пришел конец, — мысленно сказал он себе. — Не-е-ет! Мы еще повоюем. Тут где-то недалеко есть выход на путевой штрек, а там уже — и пожарный гидрант. Только как его найти в этом темном подземном лабиринте?»

Женька попытался подняться с четверенек — не вышло: правая нога сильно опухла, и ею невозможно было ступить. «Тогда буду ползти, — сказал он себе. — По-любому нужно двигаться вперед». Парень подтянул к себе мешок, положил в него кирку и пополз в направлении того места, где в прошлый раз лежали тела погибших горняков.

Вскоре он нащупал одно из них, потом второе, а затем и остальные восемь. На головах четырех из них касок не было совсем. На следующих двух — были, но без фонарей. Видимо, их сорвало взрывной волной. Еще на двух касках коногонки не работали. И только на двух зажегся свет.

Рокотов издал клич триумфатора, ведь без освещения в незнакомой выработке он бы непременно заблудился. К тому же у семи из десяти погибших были с собой работающие самоспасатели, а это — семь часов жизни. А еще на руках некоторых тел были часы, малая стрелка которых указывала на четверку, а большая — на двенадцать. «Стало быть, сейчас — четыре, — подумал Евгений. — Интересно, утра или вечера. И вообще, какой сегодня день? Суббота или воскресенье? А может, уже понедельник?»

По ощущениям парня, потерявшего счет времени, прошло уже дней десять, но этого просто не могло быть, иначе батареи фонарей давно бы разрядились. «Значит, дня два, не больше, — определился он. — Всего два, а я уже смертельно устал».

Женька и в самом деле чувствовал себя скверно: у него дико болела нога, трещала голова, в глазах рябило так, будто в них попали электросварочные искры. «Дают себя знать жажда, голод и отсутствие нормального воздуха, — решил он. — С этим нужно что-то делать, иначе я не смогу продолжить путь».

Парень засунул руку в карман, погладил по голове солдатика в надежде, что тот подскажет ему выход из незавидного положения. И тот подсказал.

«Возможно, у горняков в карманах есть что-нибудь съедобное», — прозвучало у Рокотова в голове, и он бросился к телам, чтобы проверить эту версию.

Прощупав карманы погибших, молодой человек разжился лишь пачкой гематогена с семечками, двумя вафлями и одним большим яблоком. Последнее он проглотил сразу же — так сильно хотелось пить. Остальное не вызвало у него особой радости. Женька рассчитывал найти тормозок¹¹ с обычным шахтерским перекусом: бутербродами с салом, вареными яйцами и картофелинами, какой-нибудь выпечкой, но, увы...

«На безрыбье и рак рыба», — вздохнул спасатель, разглядывая надписи на упаковке гематогена: «Изготовлен на сгущенном молоке. Рекомендуются в пищу как дополнительный источник железа. Полезен для иммунной и нервной систем в период физических и эмоциональных нагрузок».

«Актуальненько, — хмыкнул парень, распаковывая батончик. — „Вороне где-то бог послал кусочек сыра...“ А ведь мог бы и в самом деле послать что-то стоящее, хотя... и на том спасибо».

Он перевел взгляд на лежащие на земле тела горняков, которых ему так хотелось спасти. В глазах Евгения блеснули слезы: «Простите меня, мужики, за то, что не успел вам помочь. За то, что сижу сейчас рядом с вашими телами и поедаю ваши продукты. Не считите меня мародером. Вам они уже не пригодятся, а я благодаря им попытаюсь выжить».

¹¹ Набор продуктов, которые горняки берут с собой на работу.

Женька смахнул с ресниц слезу, с трудом поднялся на ноги и, опираясь на «корчагина», похромал искать гидрант. Каждый шаг причинял ему нестерпимую боль. Пришлось сделать еще один укол.

Наконец гидрант нашелся, но воды в нем не оказалось. Совсем. Рокотов был потрясен до глубины души и едва не закричал от досады, понимая, что «без воды — и не туды, и не сюды».

«Зря я заточил все яблоко в один присест, — корил себя Евгений, — ведь мог же разделить его хотя бы на две части! Одно хорошо: дорога по путевому штреку не поднимается вверх, и можно без напряжения брести по тоннелю, волоча за собой мешок с инструментами».

Пройдя какое-то количество метров, Рокотов почувствовал, что совершенно выбился из сил. Перед глазами снова замелькали белые мотыльки, и он понял: кислород в Жоркином аппарате заканчивается — пора делать привал и менять издохший респиратор на один из имеющихся в запасе самоспасателей. Парень сел на землю, опершись рюкзаком о горячую стену, достал из кармана вафлю, отломил половину и стал есть. Поужинав, выключил фонарь и закрыл глаза.

Мотыльки тут же исчезли. Их сменило лицо молодого отца, читающего маленькому Женьке его любимую сказку «Стойкий оловянный солдатик»: «Ружье — на плече, смотрит прямо перед собой, а мундир-то какой великолепный — красный с синим! Он был немножко не такой, как все: у него была только одна нога, потому что отливали его последним, и олова не хватило. Но и на одной ноге он стоял так же твердо, как остальные на двух...» Как же он плакал, когда узнал, что его любимого сказочного героя глупый мальчишка швырнул в печку и тот расплавился, превратившись в кусочек олова в форме сердца. Как же хотел, хоть немного, быть на него похожим!

И вот спустя много лет и он, Женька, в синем с красным защитном костюме, передвигается по подземному лабиринту на одной ноге и так же, как андерсеновский солдатик, плавится в горной выработке от высокой температуры. «Еще немного, и я тоже превращусь в черный обгорелый комочек», — с горечью подумал он, засыпая. Парень настолько устал, что отключился, так и не поменяв свой респиратор на свежий самоспасатель.

Проснулся Рокотов от боли в ноге. Включив коногонку, сразу заметил, что угольная пыль, которая все время висела в воздухе, почти рассеялась. Значит, откуда-то пробилась свежая кислородная струя. Решив проверить свою догадку, Женька подбросил вверх горсть пыли, и ее потянуло куда-то вправо. Да и стена за его спиной была уже не такой горячей, как раньше. Выходит, шахту сейчас проветривают.

Чтобы убедиться в этом, парень вытащил изо рта трубку респиратора и осторожно вдохнул. Легкие наполнились относительно чистым воздухом. Он сбросил с себя на землю изрядно поднадоевший дюралюминиевый ранец и на радостях прикончил оставшуюся вафлю. Затем сделал себе последний обезболивающий укол и, продев руки в петли своего самодельного вещмешка, двинулся вслед за свежей струей.

Поток воздуха вывел Евгения в штольню и поманил по уклону наверх. «Не иначе, у этой выработки есть выход на поверхность, — сообразил он. — Именно оттуда и идет накачка воздуха. Господи, дай силы мне, крещеному атеисту, выбраться отсюда, и я поверю в твое существование».

Рокотов упорно двигался наверх, время от времени останавливаясь и делая передышки. «Начинал я свой подъем с „горизонта четырехреста“. А сейчас я на каком? И сколько еще осталось? — вопрошал он мифического Горного Хозяина, который, по преданию, живет в шахте, помогая достойным горнякам и наказывая плохих. — Дорого бы я отдал за то, чтобы получить ответ на последний вопрос».

То ли от усталости, то ли от жажды, то ли от боли в ноге сознание Евгения начало мутиться. Он четко видел перед собой огромного седобородого старца, одетого в черную рубаху. Последний опережал Женьку на пару шагов и что-то ворчал себе под нос.

Рокотов прислушался.

— Молись, пацан! Молитва тебе поможет! Если ты не веришь в Бога, это еще не значит, что Бог не верит в тебя, — бормотал старик жутким гортанным голосом.

— Я бы с удовольствием, — стушевался парень, — но не знаю ни одной молитвы. Разве что, первый куплет «Отче наш!»

— Читай первый! — велел Горный Хозяин.

— Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...

В этот момент старик неожиданно испарился, превратившись в поднимающуюся вверх тонкую струйку дыма.

Облегченно вздохнув, Женька упал на свой мешок и отключился. Дыша чистым воздухом, он проспал довольно долго. Парню снился дождь, настоящий ливень, хлещущий упругими струями в окна домов, прибывающий к асфальту вездесущую угольную пыль, превращающий улицы в озера. Подобно пустой вагонетке, раскатисто гремел гром. Везде были мутные глубокие лужи, а он, Женька, стоял посреди двора и, задрав голову вверх, ловил ртом живительную влагу. По его телу стекали холодные струйки, сырость забиралась буквально под исподнее, уровень воды во дворе поднимался до щиколоток, а ему — хоть бы что — он вдыхал запах озона, пил и никак не мог напиться дождевой водой...

Проснувшись, молодой человек едва разлепил рот. Тот был настолько сухим, что язык прилип к небу. Слюна была густой, клейкой и совсем не глоталась. Евгений знал, что без воды человек может выдержать суток пять, и то, если его окружают благоприятные температура и влажность и при этом он не выполняет никакой физической работы. Без еды же можно протянуть и сорок суток. Вот у него, например, чувство голода куда-то улетучилось. Есть не хочется совсем — только пить. И если в самое ближайшее время он не поднимется на-гора, произойдут необратимые изменения внутренних органов, а там — смерть от обезвоживания. Так что надо торопиться.

Женька встал на ноги, надел на спину мешок, примостил кайло стальной дугой — под мышку, рукояткой — вниз и с этим «костылем» продолжил свой путь наверх. «Вперед! Только вперед! Горноспасатели не сдаются! — мотивировал он себя. — Спасение хромающих — дело ног самих хромающих!»

На этот раз он шел дольше обычного — минут двадцать без перерыва. Потом еще столько же после перерыва, и наконец до его слуха донеслись гул шахтного вентилятора, ритмичный лязг металла, собачий лай и какие-то неясные хлопки... «Неужели без воды и еды, передвигаясь на сломанной ноге и задыхаясь от угольной пыли, я все-таки выбрался из подземелья?» — боялся парень поверить своей удаче.

Он миновал сооружение для сброса горной породы... несколько боковых ходов с металлическими дверями... горизонтальную трубу, уходящую в глубь угольного пласта... вертикальную шахту, ведущую на верхний уровень штольни. И тут впереди показался заполненный дневным светом прямоугольник выхода из «преисподней». «С днем рождения, Евгений Сергеич!» — произнес Рокотов, жадно вдыхая пьянящий воздух свободы.

Тяжело опираясь на «корчагина», чумазый, как трубочист, парень выбрался на «белый свет» через запасной выход, находящийся в нескольких километрах от центрального. У него ныла нога, чесались глаза, кружилась голова, но Женька

осознавал главное: ползя по нейтральной полосе между Жизнью и Смертью, он сумел-таки вытащить себя с опасной заблоченной нейтралки на земную твердь.

Увидев бегущих к нему людей, Евгений на ватных ногах сделал несколько шагов им навстречу. В этот момент он еще не знал, что на прорыв сквозь толщу антрацита у него ушло четверо суток. Что мама, приехавшая в Шахтерск за его телом, попала в местную больницу с инфарктом. Что вскоре после его появления на поверхности в радио- и телеэфире прозвучит сообщение: «По уточненным данным, поступившим из оперативного штаба, двадцатилетний спасатель Кумаринской военизированной горноспасательной службы МЧС Евгений Рокотов, награжденный вчера орденом Мужества (посмертно), выжил. Благодаря силе воли, мужеству и целеустремленности он сумел преодолеть под землей три с половиной километра и самостоятельно выбраться из задымленной шахты. У спасателя – закрытый перелом правой голени, интоксикация и истощение, но угрозы для жизни нет. Это была первая спасательная операция Рокотова, его боевое крещение, которое он прошел с честью. Евгений, как и его погибшие коллеги, рискуя собой, спас жизнь четырнадцати горнякам. Его „воскрешение из мертвых“ является настоящим чудом, поскольку шансов на выживание после взрыва метановоздушной смеси практически нет».

Обо всем этом Женька узнает немного позже, а сейчас, опираясь на кирку и шурясь от яркого света, он стоит на заднем дворе израненной шахты. Стоит на одной ноге так же твердо, как остальные стоят на двух, и благодарно гладит по голове своего оловянного солдата.

Дмитрий ЗИНОВЬЕВ

*Посвящается Наталье Гранцевой,
с чувством бесконечной благодарности*

* * *

необходимое средство
мед молоко в стакане
кнопочки на баяне
и никуда не деться

может быть старый велик
разом решит проблемы
ближе к концу недели
может быть ритм арены

или метнуть монетку
звонкую на удачу
ты и небо в придачу
легкий шепот не к месту

* * *

вакуум времени снова
черной дырой в перспективе,
теодолит на штативе
до половины восьмого,
где-то за кадром строитель,
невероятный создатель

нет, ничего не заметно,
кто зафиксировал планку,
законсервировал банку
существования, конкретно,
всякая малость живая
и безусловно трамваи

прочие скрытые формы
для посвященных субъектов,
тайны секретных объектов,
пресса и мир иллюзорный,
без комментариев страсти,
дух и натура отчасти

Дмитрий Евгеньевич Зиновьев родился в 1960 году в Казахстане, в г. Чимкенте. Окончил Оренбургское музыкальное училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Новый мир», «Арион», «Топос», «Техtonly», «Дружба народов», «Северная Аврора», «Нева», «Пироскаф», «День поэзии-2024». Автор книг стихотворений «Снимок на память» (2010) и «Бозон Хигса» (2024). Живет в Санкт-Петербурге.

руки раскинул эколог,
местности всякой хранитель,
впрочем, методика ниппель,
только вперед, археолог,
на полпути или больше,
но неизвестно, что дальше

* * *

очень серьезный подход,
обстоятельный и приятный,
внешний вид аккуратный,
привлекательный,
какой-нибудь, скажем, доход
натурой или деньгами,
увлечение оригами

строим за сапогами,
за каблуками в поход,
на выход, рота, на вход,
часовой, на обед компот,
какой без дохода год,
никто ничего не дает

ну, хоть бы что-то сказали,
не сразу, хотя бы в финале,
в спортзале бы где-нибудь, в зале
консерватории зале,
или бы намекнули,
подмигнули бы, что тут не ясно,
без дохода ужасно

ИЗ ЦИКЛА «ИТАЛЬЯНСКОЕ ТУРНЕ»

* * *

Италия манит, волнует, зовет,
встречает улыбкой гостей,
и зной предьявляется дни напролет
поклонникам теплых морей.

Ушедшего времени тянется счет,
и все и всегда налегке,
и кажется, будто античность вот-вот
представится накоротке.

То профиль мелькнет из далеких времен,
то взгляд обожжет глубиной,
то площадь собором и ритмом колонн,
то море и небо ценой.

* * *

По флорентийским камням в средневековые куда-то, кажется, встретился нам Данте в хитоне помятом,	кажется, сам Леонардо вскинул глаза на ходу, кажется, сонная Арно определяет судьбу.
---	---

Может быть, все это сказка —
ратуша, площадь, собор,
может быть, книжка-раскраска —
голый Давид и синьор.

В РИМЕ

Нет слов, одни эмоции на площадях твоих, расписанные лоции и вечность на двоих.	А мы сидим в тенечке с водичкою в руках, с мороженым в кафешке, монетки в кошельках.
--	---

Вокзал почти мифический, а дальше мы пешком, и Колизей физический, и Форум на потом.	Фонтаны — как утопия, фонтан Треви — как сон. Так это ж Эфиопия, по Цельсию притом.
---	--

Фигуры Пантеона — известная семья, и мрамор, и промзона, и золото, друзья.	И где-то в дальних далях как тайна — Ватикан. Ну все, как обещали, иллюзия, обман.
---	---

* * *

Как Афродита из моря, вышла Венеция в мир и одарила собою, счастьем и съемом квартир.	Лодочки бьются бортами, колокол вскрикнул вдали, а на Сан-Марко за нами толпы туристов пошли.
--	--

Как это чудо возможно, город в воде отражен, ходим кругами тревожно, между счастливых персон.	Видимое пространство и неизменность вещей, таинство венецианства суетной жизни людей.
--	--

* * *

осознавать себя в бездонной глубине
внутри сквозного мироздания и все же
копать отходы эволюции, вполне
оригинальное занятие, о боже

не зря загадочные медики в очках
берут анализы, к примеру, для работы,
не зря шахтеры в неолитовых пластах
лопаты уголь круглосуточно, до рвоты...

и жизнь по-своему прекрасна, как арбуз,
под микроскопом оживленное движение,
послы, министры, президенты, встречи, груз
решений, тосты, разговоры, напряженье

перекликаются, как утром петухи,
обеспечение, развитие, границы...
прошли по пастбищам и звездам пастухи
с дарами старыми, с баранами собаки

подобны мыслям, нарушающим покой,
неподдающимся физическим законам,
вошли, сказали: — добрый вечер, дорогой,
вы понимаете, как плохо в мире клонам

как страшно мучаются роботы в цехах
и надрываются на каторжной работе,
им не хватает силы думать о стихах,
у них проблемы с электричеством в народе

в распредкоробках замыкают провода,
ток прекращается, вращение вращаться,
турбины глохнут, рубикон, туман, вода,
во всех компьютерах все разом перестанет

вы понимаете, что делать, что почем,
кого доить, кого на бойню, чтобы мясо,
как разговаривать с народом обо всем,
какие суммы проворачивать инкассо

озон кончается, образовал дыру,
как бы зимой не оказаться без морковки,
порядок в солнечной системе до конца,
конец ужасный у народов, если ссора

договориться надо между всем собой,
дарить питание всегда и сразу детям,
вообще тогда не спекулировать мукой,
еще оружие на космос, для защиты

ответил: — трудно без по разуму друзей,
они летают очень быстро, но не с нами,
не захотели нашей дружбы навсегда,
мы можем плохо прогнозировать цунами

но мы прорвемся, мы построим корабли
для дальних странствий по галактикам далеким,
умом постичь всю обстановку на местах,
дружить домами, умножать культуру жутко

ФРАГМЕНТ № 3

...Куртка замшевая... три...

*А. С. Шпак. Из к/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»*

Я потерял три телефона,
мобильных три, какая драма,
невероятно, невозможно,
в душе любовь и пилорама,
три сотовых, какие страсти
в душе, измученной страстями,
куда же смотрят наши власти,
функционары с новостями...

Взят из контекста произвольно
фрагмент слезы внутриутробной
словарной массой отглагольной
и массой слов себе подобной,
а на повестке дней нирвана
для в целом каждого дивана,
об этом думы день и ночь,
и снова день, и снова ночь...

Эфир гудит, как рой пчелиный,
в трудах прайм-тайм неотвратимый,
участники страстей студийных
и с ними стресс мультимедийный,
у каждого любовь и драма,
и свой сценарий для экрана,
и театральной новой сцены,
и оперы, какие цены...

Почти возможно что угодно
сказать, почти что, где угодно,
с особым чувством, как со сцены...
немая сцена... что угодно
не скажешь...

Нет, не современно,
фонтан вчерашний Заратустра,
не чтобы то, включите Пруста,
и тут же, это не искусство,
включите Джойса, чтобы устно,

искусство — как бы не искусство,
а как бы жизнь, и как бы чувства,
и зарифмованные транс,
и бесконечные баллады,
и нерифмованные стансы,
и плюс на минус перепады,
и все случайности случайно,
и тайной все покрыто, тайной...

Лежат бесцельно три коробки,
три мушкетера на мели,
ну как расстаться, где обновки
и обновления... вдали
какие-то смешные суммы,
былое, кажется, и думы.

Забуть о прошлом невозможно,
и фестивальные тусовки,
и премиальные разборки,
и тексты навсегда, серьезно,
словарные слова и точки...
И глянцевые ждут коробки
определения, как строчки,
как обновления системы —
администраторы системы,
несохранившиеся фотки
лишь миражи в контексте темы
неповторимого... и глянец
необходим, когда со сцены,
на камеру, когда румянец,
когда, по Цюю, перемены,
какой финал, какие цены...

Финал на фоне аварийки
на улице, особый случай,
три паспорта, три гарантийки,
печальный голос аварийки,
и три зарядника на случай,
и зарифмованные чувства,
и современное искусство.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Рассказы

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Жил на свете мальчик. Отца у него не было. А мать слабохарактерная. Потому жил он у бабушки с дедом. Чтобы матери, значит, жизнь облегчить. Бабушка что ни день пироги печет. В доме у стариков чистота, пирогами пахнет, герани цветут. Тюль на окнах такой белоснежный, что к нему и прикасаться-то руками страшно. А он и не прикасался. Пироги уплетал за обе щеки да с ребятами во дворе играл. Иногда они хулиганили, и тогда соседи приходили к его бабушке с дедом и громко жаловались. Старики вечером за чаем его журили, гладили по голове и просили больше так не делать.

Учиться он не старался, потому как школу любил за возможность встретиться с друзьями и поозорничать. Классная руководительница частенько вызывала его стариков в школу. Жаловалась на него. И опять за вечерним чаем они просили его больше так не делать. От матери письма приходили нечасто. Да он уж и призабыл ее, иногда называя бабушку мамой.

На выпускном вечере его старики всплакнули. А на следующий день сквозь сон он слышал, как они обсуждали, что ему делать дальше. А дальше он пошел в военкомат согласно повестке. Прошел медкомиссию. Врач-психиатр долго беседовала с ним, подробно расспрашивала про мать. Качала головой, вздыхала и поставила подпись «годен». Прощание со стариками было коротким, но очень горьким. Он едва сдерживал слезы, думая о том, доживут ли они до его возвращения. Дожили. Его привезли военным самолетом в стандартном цинковом гробу, возле которого старикам вручили его золотую звезду «Героя России». Все жали им руки, обнимали и благодарили за то, что вырастили героя. А они растерянно стояли посреди этого большого зала, смотрели на все происходящее и плакали широко открытыми глазами. А потом на их дом прибили табличку с именем их внука и надписью: «За мужество и героизм, проявленные

Инна Начарова — автор книг в жанре «Женская проза». Диплом в номинации «За мастерство» III Международного конкурса в Дюссельдорфе (Германия). Диплом и памятный знак Россотрудничества в Болгарии «За вклад в сохранение русской словесности» и «Литература — средство дипломатии» (2019). Награждена нагрудным знаком лауреата ежегодной литературной премии «Герои Великой Победы» (2020). Диплом Международного содружества народной дипломатии за весомый вклад в развитие литературы и укрепление международных творческих связей (Казахстан, 2022). Победитель международного конкурса короткого рассказа на приз радио «Гомель плюс» (Беларусь, 2022). Член Союза писателей Сербии и России — СКОР. Более ста публикаций в российской и мировой прессе, литературных сборниках и коллективных изданиях.

при выполнении воинского долга на территории Чеченской Республики». Под табличкой прибили полочку, на которую они всегда клали свежие цветы. Зимой дворники расчищали тропинку к этому месту. Классная руководительница на День России приводила к табличке школьников, говорила много добрых слов о нем. Школьники пели песни, читали стихи. Иногда приходили чиновники разных уровней и пафосно выступали, говоря о заложенном в утробе матери героизме и любви к Родине. И только его мать так ни разу и не приехала.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

— Верочка, я блинов напекла. Приезжай. Почему? А-а... Я так скучаю. Вот сижу одна и даже вязать не хочется. Да! Да! Я, конечно, все те журналы, что ты приносила на прошлой неделе, прочитала. Ты уж не траться так. Они красивые, дорогие, поди? Спасибо, Верочка, спасибо! А ты помнишь, как я тебе на выпускной вечер в школе платье сшила? То, с рюшечками, из немецкого журнала? И шелк тогда купила. Ладно, достался, а то очередь на весь квартал была. Верочка, ты в этом платьишке самая красивая была во всей школе! Я? Нет, Верочка, я не пошла сегодня. Очень уж скользко. Да и что с того, что молоко еще в понедельник закончилось! Я ж блины на воде пеку. Очень вкусные получаются и тоньше, чем на молоке. Жаль, что приехать не можешь... А как твоя наука? Защитилась?! Вот новость-то! Поздравляю тебя, моя милая! Ты всегда у меня умненькая была. Жалко, отец не дожил... Верочка, вот бы по весне к нему на могилку съездить... Нет! Нет! Милая, конечно, я понимаю, что ты занята. Лето длинное. Как у тебя время будет, так и съездим. Мне вот вчера Нина Петровна звонила. Помнишь Нину Петровну? Да, та самая, которая со мной вместе работала. Так она говорит, что из всего нашего цеха только мы с ней и остались. Вот ведь как. Кажется, что все только недавно, а вот уж и целая жизнь прошла. Я гераньку тебе отсадила. Очень хорошо цветет. Ты когда приедешь, не забудь. Да, милая. Я теперь нечасто выхожу. Скучно дома-то одной. Все уж перестирала да перегладила. Нет, Нина Петровна вся в хлопотах. У нее ведь пять внуков. Верочка, ну что ты! Я не имела в виду, что у тебя, доченька, детишек нету. Ты что! Я тебя, кровиночку, очень люблю. На шута нам еще кто-то. Ты когда поедешь ко мне, может, на рынок заскочишь, курочку деревенскую купишь? Я тебе супчику сварю, как раньше. Ты ж все в столовой институтской, поди, питаешься. А там что за еда. Помнишь, как у нас бабуля супчик-то варила? Эх, хорошо всегда у нее борщец выходил! Да, да, милая. Знаю, что дел у тебя много. Вот снег растает, так, может, я и сама до рынка доеду. А то сижу все, в окно гляжу. Шубу-то мою помнишь цигейковую? Так моль ее съела! Я и сама не ожидала. Вроде хлопаю ее. Так вот и съела, окаянная. Ну да ладно, скоро весна, и в пальто уже можно будет ходить. Верочка, а зарплаты-то тебе хватает на жизнь? Если тебе деньги нужны, ты у меня бери. Мне-то к чему так много! Пенсия двенадцать тысяч. Мне только за квартиру с нее заплатить да хлебушка с творожком купить. Иногда картошечки. Ладно, милая, иди. А то уж я тебя уболтала. Мне-то делать нечего, а у тебя и оглянуться некогда. Целую тебя, милая.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Он рассказывал этой женщине о том, как его Люся забирает их детей и увозит, не предупреждая его. Он хочет быть со своими детьми. Воспитывать их, водить в парк, поить чаем со всякими сладостями. Он рассказывал сначала о детях. А потом

рассказал ей о своей любви, о своей ревности, о своей терпимости. Он рассказал ей свою любовь, свою жизнь. Женщина слушала его внимательно, сжав губы и легким прищуром глаз разглядывая детали его лица. Он вспомнил о старой бабушке Люси, которая говорила ему, чтобы он привязал жену, как собаку, к батарее и не выпускал ее из дома. Он знал, когда женился на Люсе, что она сирота. Что ее родственники пьют беспросветно. Ему было жаль эту маленькую хрупкую курносую девушку с черными раскосыми глазами. Он тогда поклялся ей, что никогда не обидит. Что будет любить ее всю жизнь. Он и любил. И заботился. Когда она была беременна первым ребенком, он не разрешал ей вставать по утрам, чтобы проводить его на работу. Он сам наливал себе чай, целовал ее и тихо уходил на заработки. Когда ребенок подрос, он не торопил ее с устройством на работу, решив про себя, что она еще не готова. Он не жалел денег на нее и сына. И как-то само собой получилось, что в ходе приватизации его квартира стала записана на нее. Он отказался от друзей и дружеских посиделок с коллегами. Ему хотелось быстрее к ней и к сыну. Его Люся иногда стала уезжать к себе в родную деревню. Она не предупреждала его. И он волновался, искал, звонил родне и друзьям. Ехал туда, в деревню. Его сын, весь грязный и мокрый, играл то в доме, то во дворе. Предоставленный самому себе. Он брал сына на руки, прижимал к себе и плакал. Ходил по деревне искать Люсю. Часто не находил. Она приходила сама за полночь. Всегда навеселе. Он журил ее и уговаривал ехать домой. И они ехали. А потом у них родилась дочь. И он был на седьмом небе от счастья, не замечая частых звонков ее сотового, ее разговоров полупшепотом в ванной. Он у нее не спрашивал, кто звонил. Он думал, что пока он не придает этому значения, все это не страшно. Он не позволял ее подругам делать ему скользкие намеки. Дочка подросла, и теперь уже ее забирала Люся в свои отлучки на родину. Он оставался с сыном. Был рад этому. Но сердце щемило. И он в очередной раз, наказав мальчику никому не открывать дверь, ехал за ней и за дочкой. Да, он пытался уходить. Жить с другой. Подавал на развод. Но жизнь без Люси была пустой. Он тосковал по детям, которыми она его порой шантажировала. И всю зарплату тратил на них. Он хотел забрать их у нее. И поэтому пришел сюда, к этой усталой женщине, которая, по его разумению, могла ему помочь. Она слушала его, иногда переспрашивала и что-то записывала. Он был откровенен до слезной изнанки своих переживаний. И вот вроде бы все рассказал и ждал ее вердикта. А она покачала головой и, причмокнув, сказала что может пригласить его жену на заседание комиссии в администрации и провести с ней профилактическую беседу. А он хотел забрать своих детей. Быть с ними. Не зависеть от Люси. Он просто хотел быть счастливым.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Получилось все само собой. Она, изголодавшаяся за время эвакуации тощая девушка, так и не превращалась в девушку. Тяжелый труд и голод измотали ее организм. Они с мамой всю войну прожили на Дальнем Востоке. Нет, ее мама не была вдовой бойца-красноармейца. Ее мама была разведенной еще до войны. Отец ушел к другой. Молодой и веселой. А они остались вдвоем с мамой и, как могли, старались жить. Война продолжалась теперь уже здесь, когда она, худенькая и застенчивая, повстречала свою любовь. Он был бравый военный, уверенный во всем герой Халхин-Гола. Этой его уверенности хватало и на нее. Они поженились. И ее жизнь превратилась в сказку. Ее мужа назначили военным комендантом одного китайского города. Волнение не отпускало ее ни на секунду, пока они ехали в поезде до Харбина. Когда она увидела

служебную квартиру, в которой им предстояло здесь жить, она подумала, что попала в сказку. Об этом она постоянно говорила своему мужу. А он был рад, что его жена счастлива. Ее гардероб стал разрастаться. Он наполнялся красивыми нарядами из немислимых китайских тканей. Шелковые халаты с вытканными райскими птицами и яркими цветами наполняли ее душу ликованием. Они с мужем ходили на торжественные обеды, званые приемы. Она постигала красоту и мудрость Поднебесной. Всю оставшуюся жизнь она будет вспоминать, что здесь несколько раз к ним на обед приезжал сам Кожедуб. И когда они вернутся на родину и когда у них родятся два сына, она всем будет об этом рассказывать. Ее нарядам завидовали все женщины, с которыми она встречалась на родине. А немислимые шелковые халаты она будет носить уже будучи на пенсии, похоронив мужа, дожив до свадеб внуков. Эти халаты, как и воспоминания, всегда будут с ней. Даже тогда, когда она упадет на крыльце своего дома и будет долго лежать со сломанной рукой, принаравливаясь по-стариковски, чтобы приготовить себе еду и помыться. Не дети, не их жены и не внуки будут дарить ей тепло. Они даже не позвонят ей, чтобы справиться о здоровье, сидя в своих квартирах, которые в свое время они с мужем дали своим детям. Ее будут согревать воспоминания. И эти вещи из прошлой жизни.

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

Они жили долго и счастливо. И работа у них была, и дети, и почетные грамоты. Не было только жилья. Нет, они жили в двухкомнатной «хрущевке». Эту квартиру когда-то дали ее мужу — заслуженному нефтянику СССР. Это он был одним из строителей нефтепровода в Каракумах. Тогда они жили в вагончике, открытые всем ветрам. Здесь песок был всюду. Но они были счастливы. У них рождались дети. Три дочки радовали их, взрослея посреди пустыни. Потом их на неделю отвозили в школу в райцентр, а на выходные тем же школьным автобусом их детей и детей из близлежащих кишлаков развозили по домам. Одну дочку она родила прямо здесь, в вагончике. Потому что «скорая», вызванная по рации, не успела приехать. Песчаная буря здесь огромное препятствие для транспорта. Ее муж работал. Она вела хозяйство, смотрела за детьми. Его награждали грамотами. А потом отправили на пенсию, предварительно выдав двухкомнатную «хрущевку». Время шло. Дочери выросли, повыходили замуж. У всех уже есть свои дети. А квартира все та же — двухкомнатная «хрущевка». Миллионов в семье никто не зарабатывал, ипотек в то время не было. Так и жили. Средняя дочь с мужем устроились сторожами на свалку. Здесь был вагончик. В нем они жили. По очереди. По месяцу. Все три семьи их дочерей. А они, чувствуя ответственность за своих дочерей и их детей, ходили по всем инстанциям, прося о расширении жилплощади. Писали письма в прокуратуру с жалобами на руководителей всех уровней власти. Показывали чиновникам его грамоты и благодарственные письма. Они были хорошими и заботливыми родителями своих никчемных детей. Потом они стали ходить к новому депутату. Рассказывали ему историю своей жизни, неотделимую от стройки, пустыни и своих детей. Глаза их уже слезились от старости. И они никак не могли понять, что за их трудовые заслуги им дали эту двухкомнатную «хрущевку», грамоты и благодарственные письма. А их взрослые дети и их семьи уже сами должны строить свой быт, не притесняя стариков. И ни при чем здесь чиновники и депутаты. Эти старики когда-то в молодости ели песок вместе с едой, дышали этим песком и были счастливы. Леня их детей смазала это счастье. Сделала его далеким и призрачным.

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ

Марьюшкина аллея показалась ему холодной и неудобной. Хотя его друг, местный писатель, много говорил о необходимости ее постройки. О памяти. О корнях. С возрастом он и сам все чаще возвращался к своим корням. Любил повторять, что в Сибири зарыта его пуповина. Древняя, старообрядческая. Раскол не изменил мировоззрения его предков и их жизненного уклада. В середине своего жизненного пути он старался забыть его начало. Но затем, уйдя из театра, стал все чаще вспоминать это начало. Море, корабли. Свою не сломленную жизненными обстоятельствами мать. И эти старообрядческие корни. Петь под гитару он начал давно. Работа в театре позволяла ему в этом совершенствоваться. И теперь всем этим он зарабатывал. Жизнь его изменилась. Новая семья стала частью этих изменений. На своих творческих вечерах он теперь упоминал и про пасынка. Хотя возраст берет свое. Вчера он перепутал аэропорты и в результате опоздал на рейс. А поездка была хорошей. Короткой и высокобюджетной. Местные банкиры не «стояли за ценой». Здесь, на периферии, бренд фонда раскрученный. Хотя не только деньги были приятны в этом процессе. Сама встреча с местными учредителями, спонсорами и просто зрителями приносила ему наслаждение. Дома его нечасто слушали вот так, затаив дыхание. Писали восторженные записки из зала, вспоминая его роли в кино. В самолете он думал об этом. И пришел к выводу, что больше всех времени ему уделяет его маленький пасынок.

Его выступление в этот раз было долгим и трогательным. Переполнено старческой патетикой. Он читал стихи, записки, отвечал на вопросы, пел грустные песни и публично ностальгировал. Рассказал даже о своей поездке на Северный полюс. Он рассказывал людям, сидящим в темном зале, свою жизнь.

Поздно вечером они, веселые, пьяненькие и оба по-своему счастливые, прибыли в местный аэропорт. Его друг, местный писатель, предложил закрепить теплоту этой встречи еще рюмочкой коньяка в буфете. Рюмочкой, разумеется, не обошлось. Счастье коньячным теплом заливало организм. Потом шумно прощались, соревнуясь в крепости объятий. Они еще спуют, думал каждый из них.

Самолет набирал высоту в темноте ночного неба. Один день переходил в следующий, не прерывая круговорота лет.

Павел ВЯЛКОВ

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПЕРСИДСКОЙ КНЯЖНЫ

Рассказ

Пролог

Он мирно сидел в лодке и ловил рыбку, и ничто в то раннее весеннее утро не предвещало грозных событий, которые черной тучей уже вовсю собирались за его спиной. Гроза шла с севера, против течения Волги и набирала обороты, всасывая в себя все новые и новые силы. Люди попадали в этот водоворот событий, не в силах им противостоять.

Ему в тот день исполнилось двадцать, а он ничего в жизни не достиг. Ни отца, ни матери, ни двора, ни кола: «Сиротой в этот мир пришел, сиротой из него и уйду... — думал он, таская на удочку одну стерлядь за другой. — У меня даже нет денег, чтобы купить себе невод и поймать нормального осетра или севрюгу... И что я в этой жизни делаю? И что я в этом мире забыл? Вот бы податься куда-нибудь в иные места, в иные миры ... к звездам, например...» Не успел он подумать о звездах, как кто-то сзади набросил на него сеть, и она, рванув его в сторону, потащила за собой по речным волнам. Рыбак сам оказался кем-то пойманным.

Когда его извлекли из воды и грубо выбросили на палубу, он смог отдышаться и выплюнуть изо рта речную муть, которой он нахлебался. Над ним склонилась чья-то бородатая рожа и спросила его, кто он будет.

— Рыбак... — растерянно отвечал наш рыбак, беспомощно барахтаясь в воровских сетях.

— Точно! Это Пашка с Болды, по кличке Пахан! — признал его кто-то из ватажников. — Свой правильный пацан...

— Выбери: или с нами за зипунами, или за борт рыб кормить...

Пойманный ворами в их воровские сети трезво рассудил, что рыб кормить ему не с руки, и тут же записался в волжское казачество. Поздно отпираться, когда тебя уже захомутали...

По пути к взморью казаки сетями поймали и вытащили к себе на палубу еще пару таких же, как и он, незадачливых рыбачков. И всем предлагали на выбор — идти за зипунами или рыб кормить... Отказавшихся не было. Все выбирали зипуны. И понятно, для нищebroда не до идеализма, а как бы выжить любой ценой! В последнем случае наш Пашка помог даже забрасывать казакам сети, поскольку уже почувствовал

Павел Леонидович Вялков родился в 1966 году в Астрахани. Выпускник исторического факультета Астраханского государственного университета. Преподаватель, профессор, доктор философских наук.

себя вольным казаком. Так, под его знамена, помимо казацкого сословия, собрались все ярыжные люди волжского понизовья: чернорабочие, грузчики, бурлаки, гребцы на речных судах, беглые холопы, кабацкая голь.

Всеми управлял атаман, которого все уважительно называли Степаном Тимофеевичем, был он из донских казаков. Много курил и пил, но пьяным бывал редко. Зато насчет красного словца был Мастером с большой буквы. Но всегда по делу, понапрасну свой дар красноречия не тратил. Экономный был, гад.

Над вольной рекой Волгой в разные стороны раскатом зазвучал знаменитый разбойничий клич: «Сарынь на кичку!» И все торговые суда задрожали и понесли свою дань.

В воровской ватаге все было четко и отлажено — не забалуешь! Пашку, поскольку он знал грамоту, определили писарчуком: строчки ровные, буквы полные. А через неделю подфартило: по пьяни утонул завхоз-счетовод, и атаман самолично доверил ему всю их ватажную бухгалтерию: выпили, закусили, ударили по рукам...

— Ежели обсчитаешь, повесим! — благословил он его на ответственный пост.

Вывавшись на раскаты, казаки радостно вострубили и забили в бубны и барабаны — воля вольная, Хвалынское море-озеро, но для них оно было целым океаном.

* * *

Зимовала казачья ватага на Яике (Урале) в захудалом казацком городишке. Скуднейшее зимовье, единственным развлечением которого были охота — травили зайцев и местных лисиц. Зато по весне все были в мехах, с мечтами о шелках. Даже находившийся при атамане его походный «скоморох» Филька не веселил уже никого своими песнями да плясками.

Как-то вечером атаман призвал к себе своего друга детства цыгана (по кличке Цыган), который разложил перед ним веером колоду карт и начал что-то очень важное обсуждать.

— Нечего нам здесь прозябать в безделье! — сетовал после этого совещания атаман. — Надобно и о будущем лете подумать! Пошлем Корнея в разведку! Он смысленный, ох, и проныра! Пушай разведает все: что да как у персов... Вслепую идти опасно... Какой-то крестовый король мне постоянно дорогу перебегает...

Весной ветер надежд наполнил ушкуйные паруса, и ладьи понесли вольных казаков за добычей на манящей своим богатством каспийский юг.

И теперь уже восточные купцы услышали молодецкую «Сарынь на кичку!». Правда, по первой им пришлось объяснять через толмача, что это значит. Но зато когда они вразумили, дело пошло как по маслу...

Как-то поутру Пашка-счетовод пришел к атаману, чтобы подписать одну важную бумажку.

— Что это? — глянув в нее, не разобрался спросонок атаман.

— Акт списания на потраву... — объяснил ему счетовод. — Вчера вечером одну ладью потопили с добром казенным! Велел утопленное поднять, да там глубины большие... Море все-таки... Ты как знаешь, а у меня дело учет и точность требует... Подписывай...

— А не засиделся ли ты, любезный, на этой работе? — подписывая его бухгалтерию, поинтересовался у него атаман. — Не закопался ли ты в бумагах...

— Честно? Чернила эти мне уже поперек печенки встали! — признался ему Пашка. — Все ребята на приступ идут, а я доход и расход подсчитывай...

— Есть мнение употребить тебя в разведке... — предложил ему атаман. — Корней пропал... С самой зимы ни слуху ни духу... Решили тебя заслать в стан врага... Ты парень смысленый, справишься...

Атаман вновь призвал Цыгана, и тот снова взялся за свои замусоленные карты.

— Вот видишь, — показал он им червоного короля в восточном тюрбане на голове, — это Мамед-хан Астаринский, наместник Астрабада, наш главный противник... Он сейчас собирает огромный по здешним меркам флот, что-то около шестидесяти судов, с пушками и с ратными людьми... В открытом бою нам его не одолеть... Их в три-четыре раза больше будет... Поэтому мы его должны бить своими тузами и козырями... — Он достал из рукава несколько запасных тузов и джокера...

— Это как? — усмехнулся будущий разведчик. — Так разве можно?

— А кто сказал, что мы должны играть по каким-то правилам? Наша задача его перехитрить... Нас мало, их много, они у себя дома, мы — у них в гостях... Да и гости мы незваные и нежеланные! Ты, подумай, Пахан, что можно сделать, когда имеешь таких тузов? — задал Цыган вопрос и сам постарался на него вразумительно ответить.

Пашка слушал и понимал, как на самом деле цыгане воруют лошадей. Карточный мастер доходчиво объяснил новичку, по каким правилам играют в политические карты и что от него требуется в сложившихся условиях.

— В поддавки играть не будем... — заверил его Цыган. — И дурака лепить тоже не станем... Раскатаем покерок с элегантным блефом... Или предпочитаете преферанс... В твоём лице мы им подсунем троянского коня...

Пашка отродясь таких слов не знал, поэтому перекинулся с карточным шулером в дурочка... Во время игры ему популярно объяснили, что к чему, а полученные щелбаны (игра шла на них, родимых) закрепили полученные в ходе обучения знания, навыки и компетентность.

Цыган остановил свой цепкий взгляд на его мозолистых и грязных руках:

— Н... да... А руки-то рыбацкие... Надо будет их отмочить в молоке молодой ослицы... Иначе на первой же проверке вычислят и спалят...

Пашка осмотрел свои руки. Руки как руки. Иных нет. Но с использованием молока молодой ослицы согласился.

— Смотри мне прямо в глаза! — Колдовал тем временем своим мистическим взглядом сын вольного цыганского табора. — Смотри и запоминай... — Пашка взглянул и в момент отключился. — Слабак! Его еще долго надо учить! — посетовал он атаману.

Через месяц Пашка уже мог смотреть ему в глаза и не дуреть. Постороннему наблюдателю могло показаться, что они просто играют в игру, кто кого переглядит, не моргая. Но дело было в таинственном цыганском гипнозе...

— Я тебе, сынок, объясню, что с тобой должно случиться и как ты себя должен будешь вести... — по-отечески говорил ему Цыган, а атаман одобрительно кивал головой. — Мы тебя подбросим персам в качестве приманки... Ну как «подбросим»? Якобы забудем при поспешном отступлении, а ты якобы все проспал... Пьян был... Понятно? Ну, так вот... — продолжил он дальше свои инструкции и наставления...

* * *

Через неделю Пашка проснулся на безымянном морском побережье, возле догорающего костра, один среди покинутого казачьего лагеря. Он услышал за спиной приближающиеся шаги. Он знал, кто это, и потому ничего не делал. И даже когда на него

набросились и крепкие руки стали вязать его толстой веревкой, он ничего не сделал, чтобы помешать этому. Было тревожно, но страха он не почувствовал. Вместо него ему на ум пришли слова Цыгана, сказанные неделю назад: «Они тебя свяжут и даже побьют, но не сильно, потому что сразу увидят в тебе очень важную персону... Почему? Потому, что ты будешь одет в дорогую шелковую одежду, шитую золотом и жемчугом, на шее будет толстая золотая цепь с увесистым крестом, а на пальцах дорогие перстни с уральскими самоцветами. В карман мы тебе положим кошелек с золотыми дукатами, а на поясе будет висеть дамасская сабля в золотых ножнах...»

«Все так... Все на мне... — анализировал он, пока его брали в плен и разглядывали воины бакинского шамхала. — Сейчас они начнут меня допрашивать, и я им все выложу как Цыган меня учил... — и словно как заклинание, повторял себе: — Я очень важная персона, поэтому буду разговаривать только с тоже очень важными персонами...»

И такая встреча состоялась. Его привели к начальству, одетому так же, как и он, и с дамасской саблей в золотых ножнах на боку.

«Теперь они должны будут меня отправить в Астрабад, к шахскому наместнику Мамед-хану Астаринскому... — Вспомнил следующую страницу их плана „троянский конь“ казачьего войска. — Что ж... Неплохо, неплохо... И бока не сильно помяли, и уже кумыс предложили... Будем далее ломать цыганскую комедию... А что дальше? А дальше я должен повторить цыганскую грамоту...»

В памяти всплыла хитрая морда сына кочевого народа:

— Самое главное — не бояться и помнить, что мои цыгане постоянно будут где-то рядом с тобой находиться и ты с ними будешь поддерживать связь... Запомни, сынок, нашу цыганскую грамоту... — Он разложил перед ним карты. — Каждая комбинация карт будет что-то означать... Их всегда будет не меньше двух... Запоминай... — И он начал показывать ему разные комбинации карт, объясняя, что они значат...

— Хитро! — подивился тогда Пашка. — Нам до такого самим не додуматься...

* * *

Итак, его везли на небольшом быстроходном судне, которое персы называли «бусой», а русские — «сандалей». Везли по всем приметам в Астрабад в резиденцию Мамеда-хана Астаринского. Руки ему не связали, но поставили возле него десять кызылбашей («красноголовых», то есть с красными верхушками тюрбанов, знаком верности шиизму) со зверскими выражениями лиц. Таких головорезов он даже в ватаге-шайке Степана Тимофеевича не видывал.

По дворцу Мамеда-хана в Астрабаде разгуливали важные павлины, и на пальмах повсюду чирикали неугомонные попугаи. Дворец окружал вечнозеленый сад с фонтанами, живой изгородью, клумбами южных цветов и вымощенными дорожками. Рай, да и только.

«Гм... Про это Цыган мне ничего не говорил... — Первый раз уличил своего наставника в неточности Пашка. — Повторим цыганскую грамоту... — решил он еще раз освежить свою память умственным упражнением. — „Но самое главное, — неожиданно вспомнил он одно из наставлений своего инструктора, — опасайся женских чар: там есть такие гурии («райские девы»), что запросто сведут тебя с ума...“»

Вспомнил он это, заметив в саду одинокую женскую фигуру, гуляющую среди кустов цветущего жасмина. Юный девичий стан взволновал его воображение, впрыснув в его молодую и горячую кровь дикую порцию серотонина.

Мамед-хан долго всматривался в его лицо, изучая психотип пленника: белокур, голубоглаз, богато одет и совершенно спокойно держится...

«Кто он? — размышлял хан. — Сразу его на кол посадить или допросить с пристрастием? Пытки огнем развяжут ему язык, а потом в нефть его обмакнуть и факел для вечеринки сделать? Устроим для него очную ставку...» — решил он и велел привезти какого-то колодника.

«Мамед-хан не дурак! — вспомнил он слова Цыгана. — Смотри ему прямо в глаза. Сумеешь выдержать его взгляд, считай, ты его победил! А чтобы его победить, ты должен научиться смотреть мне в глаза! Мои сильнее...»

Хан внимательно взглянул на его белые ручки, не привыкшие к тяжелому физическому труду.

«Этот явно ничего тяжелее хлыста в руках не держал...»

«Рассматривает мои руки.. — Поймал на себе его взгляд пленник. — А ручки-то у меня беленькие! А ручки-то у меня холененькие... Ух, Цыган! Вот мозг...»

Следующий момент этой истории стал самым критическим. Момент истины! Фактор неожиданности. Пашка увидел «черного лебедя». Личная охрана шаха вкатила какую-то небольшую телегу, на которой стояла дубовая колода с несколькими вырезами, в которых торчали голова и руки осужденного преступника. Лицо было покрыто шрамами и обгорело на солнце.

Оно было настолько изуродовано физическими муками, что Пашка не сразу узнал, кто это. Но «этот некто» его сразу узнал:

— Пашка! Пахан! Ай... — еле слышно прошептал незнакомец, и пленник признал в этом истерзанном теле пропавшего без вести Корнея. — Помоги... Мочи уже нет терпеть это...

Тут же Мамед-хану толмач перевел его слова.

— Пашá аль-Па-хан! — задумчиво повторил наместник Астрабада, понимая, какая крупная птица попала в его сети.

И похоже, данная проверка сыграла свою роль. Хан подтвердил его статус «почетного пленника» и пригласил «Пашу аль-Па-хана» на чай как равный равного...

* * *

Его поселили в отдельно стоящий внутри ханского сада домик. Никто его не охранял, потому что бежать было некуда, да и незачем. «Золотая клетка». Кормили на убой — все приносили с ханского стола. Раз в неделю водили в баню, а после бани приглашали на собеседование к шаху. И наш Пашка уже через месяц такой жизни поймал себя на мысли о том, что это самый лучший период его жизни — он достиг вершины, лучшего и быть уже ничего не может! Он ощущал себя попавшим в рай.

«А персы — культурная нация... — думал пленник, наблюдая каждый день за нравами и обычаями своей „тюрьмы“. — Правда, как помешанные читают все время какие-то стихи... А так ничего, и поговорить о рыбалке даже можно...»

Наблюдаемый им Астрабад существенно отличался от вспоминаемой им Астрахани. Обе каспийские звездочки светили по-своему, но единственное, что их объединяло, была каспийская жара.

Астрабад (он же Горган: «Земля Волка») располагался в тридцати километрах от побережья Каспийского моря и в те времена находился в зените своего процветания. Двести лет назад городским головой его был сам поэт Алишер Навои. Поэтому в покоях ханской дочери звучала его любовная лирика, а на половине ее сурового отца декламировались рубаи Омара Хайяма. У каждого были свои предпочтения.

Каждое утро шах выгуливал в парке своих домашних тигров. Ведя их на поводке, он осматривал новые распустившиеся цветы и выслушивал доклады своих подчи-

ненных, которые гурьбой следовали за ним по пятам. В народе ходили упорные слухи, что нерадивых чиновников хан тут же скармливал своим питомцам. Пашка сам лично этого не видел, потому утверждать о подобных суровостях ханского дворца не мог. Но ханский визирь утверждал, что он пережил немало своих предшественников, и не советовал никому ставить ему подножку.

«Запомни, — вспомнил он наставления своего цыганского гуру, — хан — большой поклонник китайской культуры: любит китайский чай, дома ходит в китайском шелковом халате, коллекционирует китайский фарфор...» И действительно весь фарфор, который китайские купцы привозили по Великому шелковому пути на Каспий, проходил через его руки. Его дворец ломился от дорогого и старинного китайского фарфора и был больше всего похож на современный музей изящных искусств.

В этой чудной стране юного пленника все удивляло, все вызывало неподдельное любопытство. И больше всего его любопытство привлекала «райская дева» этого вечнозеленого сада, которая, как он выяснил, была любимой ханской дочерью.

— Черноглазая! Большеокая! — романтически восхищался он ею. — Какая удивительная девушка! А какая у нее прозрачная кожа! А запах! Что за запах? Благоухающая смесь шафрана, мускуса и амбры... — Он мысленно представил себя в ее объятиях и понял, что только в них он сможет обрести бесконечное блаженство. — А имя! Как оно благоуханно звучит... Жасмин...

Особенно во дворце шаха ему нравился домашний зверинец, состоящий из различных экзотических животных. Больше всех ему понравился слон, с которым он успел подружиться, начав подкармливать его различными фруктами и овощами. А когда ему сказали, что на этом слоне любит кататься шахская дочка, упросил дрессировщика зоопарка научить и его тоже на нем ездить.

Садовник ему объяснил, что цветущий в саду цветок жасмин с давних времен считается цветком любви. Это цветок-афродизиак, который специально выращивали для восточных шахов и султанов.

Как-то к нему в «тюрьму» наведался сын Мамед-хана, молодой хан по имени Шабан-Дебей, которого Паша аль-Па-хан стал про себя называть «Шаболда-ханчик». То, о чем этот «ханчик» попросил его, сильно удивило бывшего волжского рыбака: он попросил русского гяура научить его правильно пить продукцию «зеленого змия»... Само слово «вино» было у них под запретом. Поэтому сало именовалось как «оленина», а «огненная вода» проходила как «яд зеленого змия».

— Я слышал, — объяснил свое желание юноша, — что слабые духом спиваются до скотского состояния... Но есть методики, как, например, Омара Хайяма, которые возводят страждущего духом на вершины философского анализа и поэтического экстаза...

Выяснилось, что следующим летом Шабан должен будет ехать ко двору падишаха, который подозрительно относился к трезвенникам, потому что сам был тайным алкоголиком.

— В этом деле главное — упорные тренировки и постоянные упражнения... — многозначительно отвечал неверный. — Но самое главное — качественный «лабораторный материал»...

В этом деле им помогли армянские купцы.

А с Хвалынского моря чуть ли не каждый день приходили обнадеживающие новости: казаки в очередной раз взяли на приступ какой-то караван, разграбили такое-то селение, там-то побили военных и т. д. и т. п. Торговля встала, в народе начали расти ропот и разгоняться страхи. Хан пытался разобраться в текущих событиях, поэтому допытывался у своего пленника о военных хитростях казачьей ватаги. Выдавал только те «секреты», которые ему разрешил Цыган.

В один из дней во дворец к хану пришли известия о том, что вблизи города Решта с казаками произошел тяжелый бой. Стороны пошли на вынужденные переговоры о мире. Но переговоры, не успев начаться, были прерваны — по приказу шаха Сефи казаки-переговорщики были арестованы и закованы в кандалы. Одного для острастки других затравили собаками. В ответ на этот беспредел казаки взяли и разграбили город Фарабат. Там они зазимовали и, как могли, укрепили городок...

Как-то гуляя по тенистым аллеям сада, он увидел торчащие из зеленой изгороди игральные карты. Пришло первое сообщение по цыганской почте. Взглянув на них, он понял, что от него требует «Центр».

«Требуют, чтобы я помог Корнею! — поспешно спрятав в карман „послание“, задумался он. — Но как это сделать? Они что, думают, я тут всесильный джинн? Просто так взять и освободить его? Чтобы сделать это, я должен выбраться из этой „золотой клетки“...»

Ханский повар доверительно поведал ему, что пленника ежедневно нукеры возят по городу на базар, где над ним издевается всякий желающий, забрасывая его различного рода нечистотами. А по пятницам его сажают в бочку с жидким дерьмом и возят по всему городу, а над головой стоит палач и каждую четверть часа взмахивает над бочкой своим острым кривым мечом. И если узник не нырнет в жижу, голова его скатится на землю... И так весь день — от восхода и до заката...

— Очень гуманно... — заключил свой рассказ повар. — Если бы это было каждый день, у палача вконец оторвались бы от усталости руки...

* * *

Утром у себя на подоконнике своей комнаты он получил очередное цыганское послание — две карты (шестерка вини и джокер, на шапке которого были нарисованы два бубенчика). Что бы это значило, он так и не понял. Зато точно знал, что первая карта предупреждала его о какой-то серьезной опасности.

В обед он был приглашен к столу хана и стал свидетелем такого разговора:

— Отец! — обратилась к Мамед-хану его красавица дочь. — Я прошу тебя отдать мне пленника, чтобы он научил меня русскому языку.

— Зачем тебе учить русский? — Поморщил лоб сердобольный родитель. — Ты и так знаешь уже восемь языков!

— Мы должны знать, какой грозный лев живет у нас на севере! — резонно возразила она ему. — У этой белокурой бестии опасный оскал.

— Ну, хорошо. Но с одним условием. Мы должны будем его сделать евнухом, таков закон...

— Зачем ему отрезать что-то, достаточно его честного слова! — возражала девушка, противница подобных радикальных мер. — Он из благородных, может выйти международный скандал...

— Нет, дочка, для твоей же собственной безопасности мы должны будем отрезать ему его бубенцы! — настаивал на своем сердобольный родитель. — Без своих «терлям-бум-бум» он будет безопасен и спокоен...

Девушка не соглашалась, отец настаивал на своем. Их деликатный спор немного затянулся.

Пашка, уже начавший к тому времени немного понимать фарси, догадался, что речь идет о нем и о каких-то «бубенчиках» («терлям-бум-бум»). Когда же толмач разъяснил ему, в чем суть их семейного спора, пленник понял, о чем предупреждала его утренняя почта...

После этого к нему приставили самого противного евнуха, который следил за ним и днем и ночью. Даже когда он сидел (pardon) на толчке, за ним поднюхивал и подсматривал этот всепронзырливый тип.

Тотальная слежка, зато «бубенцы» остались целы...

* * *

Уроки русского языка стали проходить каждый день.

Ученица была прилежной и очень старательной.

Учить ее было одно удовольствие. Только старый евнух все портил и совал свой нос туда, куда этого не следовало бы делать. Но как бы он ни пыхтел своим злорадством, взгляды влюбленных все равно встречались и все дело шло к тому, что рано или поздно должно было произойти первое соприкосновение их рук.

И оно случилось, когда юноша передал девушке книгу. От неожиданности она вскрикнула и потеряла сознание.

— У принцессы лихорадка! У нее жар! — засуетился евнух. — Срочно лекаря! Лекаря сюда!

Началась паника, переположившая не только ханский дворец, но и весь город.

— Так... Ты, развратник, пристаешь к моей дочери, а это харам! — объявил юноше хан, сурово нахмурив брови. — За это ты будешь казнен! За прелюбодеяние у нас сажают на кол...

— Гм, так и у нас тоже!

— Этим мы, персы, похожи на вас, русских!

— Но у нас с ней ничего пока еще не было!

— Если выдашь главный секрет своего разбойничьего войска и подскажешь, как его одолеть, так и быть, награжу тебя по-царски! — пообещал пленнику хан.

— Выдашь свою дочь за меня замуж?! — с надеждой спросил его тот.

— Нет, оставлю тебя мужчиной, чтобы ты мог иметь наследника...

Пленник разочарованно вздохнул, но всерьез отнесся к ханской угрозе. Шантаж тоже входил в тайные замыслы Цыгана. И он после некоторых колебаний поведал хану как на духу то, что ему ранее прописал Цыган...

— Так... — Расправил хмурь на своем лице хан. — Значит, все награбленное казачки прячут на Свином острове вблизи Баку... — Юноша обреченно кивнул головой. — А не врешь? — Тот отрицательно ею замотал. — Ладно, на сей раз поверю и прощаю... Но гляди у меня... Я собираю большой флот. Пойдешь со мной. Но если солгал, найдешь смерть прямо в море...

— Это тебя, о могучий хан, подстерегает в море смерть... — начал вешать обещанную лапшу ему на уши казачий лазутчик. — Пираты только этого и ждут...

— Объясни...

— Казаки нападают на легких ладьях на корабль со всех сторон... — объяснил пленник. — Облепляют его, как мухи, и грабят. Они так поодиночке растащат твой флот в разные стороны... В том залог их успеха...

— А что делать?

— Я видел, как они сами поступают во время боя, когда на них нападают более проворные пираты... Они скрепляют свои суда цепями и создают единую линию обороны...

— Хитро... — призадумался хан. — Идея хорошая... Надо будет ее как следует обмозговать на досуге... — И тут ему пришла неожиданная мысль: — А тебе что, и впрямь

нравится моя дочка? — Парень утвердительно кивнул головой. — Давай заключим с тобой пари: если ты проберешься к ней тайно, минуя всю охрану, и сорвешь ее нежный цветочек аленький, то так и быть отдам ее тебе в жены, а если нет — голова с плеч... У тебя на все про все будет три попытки...

Парень не думая согласился.

* * *

«А собственно, чем я рискую? — размышлял на досуге хан относительно полученной от пленника информации о тактике пиратов. — У меня пятьдесят судов, семь тысяч воинов, пушки, пищали... Если даже он врет, численный перевес на моей стороне. А он, судя по всему, врать не будет... Уж больно сильно влюблен в мою дочь... Ради нее он на все готов будет пойти... Поманю его ею, а там и на кол посажу... Наступит весна, выйдем в море и там со всеми разбойниками разберемся...»

Шах взглянул на своих ручных тигров, которые мирно лежали возле его трона и мысленно пожелал им приятного аппетита.

— Ну, сорвать мой нежный цветочек аленький — дело не хитрое... — призадумалась Жасмин, когда пленник поведал ей условия заключенного с ее отцом пари. — А вот как обойти всю эту стражу? Я нахожусь под сигнализацией системы безопасности все двадцать четыре на семь...

— Будем думать... — обнадежил ее влюбленный. — Ведь твой отец уже пошел нам навстречу: заключил пари! Теперь надо придумать, как вывести эти систему сигнализации из строя...

Явившийся к нему на урок Шабын-ханчик «притащил» в качестве «лабораторного материала» две бутылки армянского коньяка. Для храбрости — в самый раз! Оставив любознательного юношу декламировать застольные рубаи известного персидского поэта, в ту же ночь влюбленный пошел на решительный приступ неприступной цитадели.

Недолго думая, он решил взять ее приступом в лоб. Оттого и получил по лбу. Дождавшись полночи, он прокрался под окно комнаты своей возлюбленной, которая располагалась на третьем этаже ханского дворца, и стал проворно взбираться по лозам дикого винограда, который оплетал фасад здания до самого верха.

И он достиг цели — влез в окно ее спальни и осторожно спустился с подоконника на пол.

«Фу! — подумал он в ту минуту. — Как легко! Даже как-то неинтересно».

Кровать с массивным балдахином стояла посередине спальни, и до нее было уже подать рукой, как вдруг во тьме раздался предательский крик попугая: «Пираты! Пираты! Пираты!»

В следующую секунду двери спальни широко распахнулись, и в нее ворвались караулившие за дверью в коридоре ночные стражники. Его схватили и, держа вниз головой, поднесли к кровати.

— А он проворный тип! — раздался голос отца-хана, который, распахнув балдахин, показался лежащим в кровати в своем парадном мундире. — Все-таки залез! Ха-ха... Думал, что у нас все так просто! Нет, парень, не все... — За стенкой послышались грозные рычания оголодавших тигров. — Нет, нет не сегодня... Дайте им какого-нибудь козла... Этого мы им оставим на потом... — приказал он своим нукерам и, обратившись затем к парню, добавил: — Будем считать, что первую попытку ты спалил впустую... Вышвырните его в окно, из которого он сюда залез, — велел он своим нукерам, и те поспешно исполнили его приказ.

«Ну и баран же я! — ругал себя юноша, оказавшись в кустах сирени уже в нижней части сада. — Но у меня еще осталось две попытки... Эх, Цыгана бы сейчас сюда, мы бы с ним в момент сумели увести из стойла эту породистую лошадку...»

* * *

Весть о его неудачном полете из окна быстро разнеслась по дворцу.

— Хорошо, что только выкинули в окно... — посочувствовала его несчастьям Жасмин. — Могли бы и тиграм скормить...

— Ума не приложу, что теперь делать? — Разминал свое зашибленное плечо юноша. — Там каждый шаг находится под контролем стражников твоего отца.

— Умеешь играть на каких-нибудь музыкальных инструментах? — поинтересовалась у него красавица.

— Ага, могу! — Утвердительно кивнул он головой. — На деревянных ложках...

— Придется научиться... — Сунула она ему в руки какую-то бандуру. — Будем брать стражу измором на износ... Предпримем психологическую атаку...

Чуть стемнело, как к ханскому дворцу на любимом слоне принцессы Жасмин подъехал юноша и, остановившись под ее окнами, взял в руки музыкальный инструмент. Что было потом? Потом он два часа мучил струны, играя не столько на них, сколько на нервах шаха и его стражников, которые сначала начали над ним смеяться, потом морщиться, а под конец уже взвыли от этой пытки ужасными звуками. Слон стоял как ни в чем не бывало, поскольку ему заблаговременно заткнули тряпками уши.

— Да заткните его хоть кто-нибудь! — сердился сам хан с уже перевязанной банным полотенцем головой. — У тигров понос уже случился...

Кто-то додумался показать слону мышь, и тот, взбесившись, ринулся прочь, сметая все на своем пути. Проломив ограду сада, он понесся по узким лабиринтам городских улиц. Страже пришлось бежать за ним, чтобы вернуть ускокавшего на его спине седока. Слон влетел в какую-то посудную лавку и там застрял.

— Меня атаман в разведку сюда заслал! — ворчал незадачливый его наездник, выбираясь из-под завалов разрушенной лавки. — А я чем тут занимаюсь?! На слонах катаюсь! Мать вашу!!! Но уже одно хорошо: в первый раз выбрался в город народ посмотреть...

И его тут же вернули обратно в золотую клетку ханского дворца.

* * *

На следующую ночь юноша вновь явился под те же самые окна уже на хромом верблюде, но с тем же самым инструментом игры на чужих нервах.

— Он что, над нами решил издеваться? — возмутился хан, нервно ходя из угла в угол в своей опочивальне.

— Спустить на него собак? — предложил визирь.

— Верблюд их не боится... Придумай что-нибудь более умное...

— Облить его кипятком...

— Я сказал, придумай такое коварство, чтобы оно его размазало, как масло по горячему хлебу... — С презрением посмотрел на него хан. — Коварное, а не этот детский идиотизм...

Министр задумался.

— Есть одна идея, но только она вам может не понравиться...

— Говори...

— Его надо заманить в вашу ханскую сокровищницу, чтобы свести его с ума...

— Хорошая, между прочим, идея... — реально задумался хан.

— Подкинем ему записку, в которой будет говориться, что принцесса Жасмин назначила ему там свидание... — Ухватился за эту историю визирь. — Он туда явится, мы его там закроем на пару дней и будем через смотровое окошко наблюдать, как он станет сходить с ума от сокровищ вашего высочества...

— Действуй! — Дал добро на проведение этой операции Мамед-хан. — Мои сокровища и меня с ума сводят, а такой, как этот Пашá аль-Па-хан, и вовсе должен превратиться в труху... — И, высунувшись в окно, уважительно произнес: — Слышь, Пашá аль-Па-хан, заткнись, пожалуйста, а?!

* * *

Юноша готов был все ночи напролет брэнчать на струнах так и не ставшего ему родным музыкального инструмента, но дело с мертвой точки все равно не сдвигалось. Все нервничали, но выжидали, кто первым совершит неверный ход.

«Одному мне их всех не одолеть... — рассуждал юноша, прохладаясь в знойный полдень под ветвями тенистого сада. — Надо призвать на помощь цыган... Пусть подсобят...»

На том же самом месте, где он нашел в прошлый раз игральные карты, он оставил комбинацию из своих трех карт и в ожидании ответа пошел кормить своего любимого слоника.

«Запомни, — вспомнил он слова Цыгана, запихивая в хобот слона очередную морковку, — правоверные мусульмане пять раз на дню совершают намаз: (1) утренняя (рассветная) молитва (фаджр); (2) полуденная молитва зуhr (в промежутке времени от момента, как солнце отклоняется от зенита, до момента, когда тень от предмета становится равной самому предмету); (3) предвечерняя молитва аср (когда длина тени объекта в два раза превышает высоту объекта); (4) вечерняя молитва магриб (после захода солнца); (5) ночная молитва иша (идет через полтора часа после вечерней молитвы). По ним будешь определять время. Муэдзины кричат с минаретов, призывая их на молитву... Когда они молятся, то ничего вокруг себя не замечают... Это самое уязвимое для них время, когда можно действовать...»

«Так, все ясно... — что-то решил он. — Дождемся вечернего намаза и посмотрим, что у нас там получится...»

Как впоследствии удалось выяснить, некий дамасский еврей предложил в тот день местным вора́м принести ему за большое вознаграждение ханских попугаев, которых у того было две дюжины голов. Воры не могли пройти мимо такого куша и ринулись на ночной приступ дворца правителя. Естественно, сработали все секретные закладки ханской безопасности — во дворце начались форменный переполох и беготня.

«Пора!» — решил наш пленник и сам со всех ног побежал... но только не к дворцу, а прочь от него.

Следивший за ним старый евнух неотступно следовал за ним, совершенно не понимая, куда и зачем он бежит. А бежал он на рыночную площадь, где в колодке сидел уже ранее упомянутый нами казак Корней. Был четверг, а следующую за ним пятницу он мог уже не выдержать.

Оказавшись на пустынной ночной площади, евнух потерял из виду объект своей слежки и растерянно начал озираться по сторонам. Не успел он ничего увидеть, так как сильный удар по голове тупым предметом лишил его чувств. Когда он пришел в себя, то понял, что сам находится в колодах, на месте преступника-иноверца.

— Помогите! — начал было кричать он, но сильный удар в челюсть лишил его способности говорить.

— Думаешь, они не заметят подмену? — спросил молодой казак старого казака.

— Они на мою рожу давно уже не обращают внимания. — Махнул рукой освобожденный из позорного полона Корней. — А если этот будет только мычать своей выбитой челюстью, его никто и не поймет... А через день меня ищи-свищи... Давай возвращайся в свой гарем, а мне к морю пора...

Казаки обнялись (больше казацкой братской дружбы и быть ничего на свете не может!) и разбежались в разные стороны...

* * *

Утром на известном нам подоконнике вместо цыганских карт появилась записка на ломаном русском языке. По кривизне русских букв Пашка понял, что писала его ученица. Из прочитанного он понял, что она приглашает его на свидание в укромное место (план маршрута прилагался ниже надписи).

— Куда пропали мои попугаи? — орал с утра хан. — Куда они улетели?

— Вчера вечером во дворце шастали какие-то подозрительные лица, говорившие, что они уборщики... — доложил ему один из его министров. — Но ни метел, ни тряпок у них в руках не было...

— По моему дому бродят какие-то проходимцы, а мои министры ничего об этом не знают! — взорвался снова гневом правитель Астрабада. — Какого... — и он тут употребил нецензурное слово, которое мы не вправе воспроизводить в тексте нашего собственного рассказа, — вы вообще тут у меня на диване, — в кабинете министров, — делаете?!

Ответом был дикий трепет, который прошелся по рядам незадачливых чиновников, которые в тот момент уже мысленно успели попрощаться со своими жизнями.

— Осмелюсь доложить, о великий, — поспешил разрядить грозовую ситуацию главный визирь, — Паша аль-Па-хан уже отправился по указанной вами схеме в тайное подземелье...

Данная новость отвлекла внимание хана от праведного гнева, и он сменил тему на более интересное занятие. С некоторых пор преследование незадачливого женишка своей дочки он стал воспринимать как забаву, как охоту на редкостную по своей глупости дичь.

В тот раз все опять пошло не так, как замышлял коварный визирь. В дело вновь вмешался случай. А именно то, что гуляющая в саду Жасмин вдруг увидела крадущегося куда-то своего возлюбленного и, приревновав его к таинственному объекту внимания, решила проследить, куда, а самое главное, к кому именно он так тщательно крадется.

Извилистая дорожка привела их к подземелью ханского дворца. Сцену ревности и шумной разборки молодых мы описывать не будем, скажем только, что когда они разобрались, то пришли к однозначному выводу: подстава!

— Узнаю почерк своего отца! — призналась Жасмин. — Это он! Сомнений быть не может... Предлагаю подыграть ему и устроить для него самого ловушку-капкан... — Она задрала подол своего платья и сняла одну из семи своих юбок черного цвета. — Сделаем вид, что мы грабители и пришли похитить его драгоценности... — предложила она свой план, разрывая юбку на несколько частей. — Сделаем из юбки себе маски и посмеемся над провокаторами...

План так себе, но в тех условиях и он мог сработать. Выбирать не приходилось. Приходилось импровизировать уже по ходу самих событий. Девушке пришлось снять

с себя еще пару юбок, чтобы на скорую руку смастерить из них мешки. И хотя оба в первый раз шли на такое криминальное дело, в их действиях чувствовались профессиональный опыт и ощущение собственной безнаказанности: «Все равно, — думала девушка, — у своих берем... Да и не воруете вовсе, а так просто слегка хулиганим... Возьмем, а затем все равно ведь вернем...»

Секретная кладовая представляла собой каменный мешок, практически доверху набитый различного рода драгоценностями — от золотых и серебряных монет до различных ювелирных изделий, представляющих музейную материальную ценность.

— Ого! — только и мог воскликнуть юноша, никогда в своей жизни не видевший подобного рода антиквариат.

— Что «ого»?! Два столетия мои предки собирали эти богатства... — пояснила ему его проводница в мир прекрасного. — Столько всего скверного совершили для того, чтобы ты сейчас сказал просто «ого»!

Но тут внимание их привлек какой-то нестандартный предмет. Приглядевшись к нему при свете коптящего факела, они увидели нечто, что совсем не ожидали здесь увидеть.

К массивной колонне золотой цепью был прикован скелет, на шее которого блесст золотой обруч.

— Кто это? — отшатнувшись в сторону, спросил у своей спутницы Пашка, чувствуя, как все внутри него холодеет от ужаса.

— Согласно нашему семейному преданию, — обыденно отрапортовала Жасмин, — это индийский принц, которого так казнил мой дед за то, что тот позволил себе взглянуть на одну из его жен без паранджи...

— Так и меня ждет подобная участь?

— Нет, тебя отец обещал скормить своим тиграм... — Пашка заметно погрузнел. — Ты чего?

— Не хочу быть кошачьими какашками... — проглатывая ком в горле, отвечал парень. — Тигр, конечно, кошка царских кровей, но он всего лишь кошка...

— Времени в обрез! Некогда любоваться! — поторопила своего спутника девушка. — Давай набивай мешки золотишком... — В ее устах этот призыв прозвучал как широко известный еще со времен седого неолита призыв: «Грабь награбленное»...

Молодые люди весьма быстро забили мешки сокровищами, и Жасмин торжественно водрузила их на своего ухажера.

— Я словно нагруженный осел... — согнувшись под тяжестью мешков, пошутил он.

— Терпи...

«Сюда бы наших казачков, — подумал Пашка, ковыляя в обратную сторону, — они бы вмиг этот склад сокровищ растащили...»

— Что там? — спрашивал хан, стоя вместе с визирем и с отрядом янычар возле служебного окна сокровищницы, которое служило одновременно и вытяжкой.

— Он пришел... — отвечал тот, заглядывая в узкую щель бойницы, — но не один... Осла с собой привел...

— Ну, я ему и за осла сейчас впаяю! — предвкушая скорую расправу над обидчиком, пригрозил ему хан. — Решил меня по-крупному грабануть! Мерзавец! — И хан спустил на грабителей всех своих верных «псов».

Без сомнения, их задержали и приперли к стенке. Одного («осла») поставили на четвереньки, а главного грабителя усадили на него сверху. Из разорванных мешков на пол высыпались золотые монеты и вываливались золотые кубки и другая драгоценная посуда.

— Ну что, гяур, доигрался! — радостно потирая руки, обратился к задержанной Мамед-хан. — Ты догадываешься, какое наказание я для тебя уготовил?

— Тиграм скормишь! Только подавятся они мною! — Сняла с головы черную маску-повязку Жасмин. — Или ты дочь свою родную не пощадишь?!

— А где он?! — осекся в своем жутком разочаровании недавний триумфатор.

— Я вместо него! И хотела бы знать, зачем ты устроил эту провокацию! — Пошла в открытое наступление на своего родителя Жасмин.

В той ситуации на «осла» вообще никто внимания не обратил. Он так и простоял в полумраке всю эту сцену, пока папа разбирался с дочкой, а дочка высказывала своему папаше все свои веские претензии.

«Нет, все так, с „осла“ взятки гладки... — думал юноша, чувствуя, как приятно по его спине ерзает пятая точка его возлюбленной. — Хорошо в зависимости от обстоятельств быть ослом... Главное, чтобы не заставили кричать по-ослиному...»

* * *

Пашка долго думал, каким образом ему израсходовать свой последний шанс похитить возлюбленную из строгих лап ее сурового родителя. И ничего лучшего, как переодеться в дервиша или в какого-нибудь звездочета, ему в голову не пришло. Правда, подаренный Жасмин попугай советовал ему пойти другим путем, но казак решил не слушать бред вздорной птицы.

— Если я прикинусь звездочетом, то хан примет меня за своего, — рассуждал он, с присущей ему наивностью, наклеивая себе длинную бороду и напяливая лохматый парик, — и, быть может, тогда не обратит никакого внимания...

И ведь нарядился, дурень, и ведь пошел. Правда, в таком виде далеко не ушел. Спалился на первой же заставе. А поскольку плана «Б» у него, как всегда, не было, пришлось бежать куда глаза глядят. Впрочем, надо полагать, бегать от погони было его любимым занятием. Именно на бегу ему в голову приходили самые оригинальные идеи. Так вышло и на этот раз...

Срывая на бегу с себя костюм звездочета, Пашка уже успел попрощаться с жизнью. Он бежал от погони, но вскоре понял, что бежать было уже некуда. Лживый звездочет устало остановился и обреченно посмотрел на стоящую на мраморном постаменте дорогую старинную китайскую фарфоровую вазу.

— Эх, пропадать, так хоть с честью... — решил юноша и, подойдя к вазе, демонстративно опрокинул ее на пол.

Та тяжело упала и разлетелась на множество осколков. Парень устало сел на ее мраморный постамент и скрестил ноги в виде лотоса. Через четверть минуты в залу ворвался уже сам хан с толпой своих верных янычар. Хан еще больше побагровел от увиденного: разбитая ваза и наглая физиономия какого-то лохматого типа его окончательно доконали.

— Ты кто? — заревел он, выпуская из себя пар гнева и лютой злости.

— Джинн... — спокойно отвечал мошенник. — Три тысячи лет сидел в этой вазе, теперь ты меня расколдовал, и я обрел свободу...

— А чем докажешь? — Изменился в голосе хан.

— Выполню три любых желания: два твоих и одно свое... Приказывай...

Хан почесал бороду и выдал самое сокровенное:

— Хочу быть падишахом... Вселенной...

Ханский визирь чуть было не подавился.

— Вообще-то, за такие мысли шахиншах люто казнит...

— Молчи, несчастный, — отвесил ему затрещину хан, который в тот момент реально почувствовал, что схватил Бога за бороду, — а то сам окажешься на плахе...

— Изволь! — как-то обыденно произнес «джинн» и громко щелкнул пальцами (он был мастером выдавать желаемое за действительное). — Второе желание...

— Хочу выйти замуж за принца! — неожиданно встряла в их мужской разговор ханская дочь.

— Нет проблем... — Щелкнул второй раз пальцами самозванец.

Хан опять взревел от ярости.

— Женщина! Куда ты лезешь! Вот дай бабам волю, они нам всю историю испохабят!!!

— Теперь мое желание... — изрек аферист, не давая никому опомниться.

— Какое?! — рассеянно спросил его хан.

— Отдай мне свою дочку на ночь...

Хан растерянно заморгал глазами и после некоторого замешательство (взвесив все «за» и «против») неопределенно (то ли «да», то ли «нет», то ли «не очень, но... так и быть... может быть...») махнул рукой:

— Ладно... Бери... Теперь можно... — последовал его обескураживающий ответ. — Я теперь падишах Вселенной! Я теперь могу все....

У Жасмин аж отвисла от удивления челюсть.

— Скажи, Жасмин, а сколько лет твоему отцу? — глядя вслед уходящему с важным видом новому падишаху Вселенной, спросил Пашка.

— Около шестидесяти будет...

— И он что, до сих пор верит в джиннов?!

* * *

Они сидели на ветви столетнего платана, стоящего посредине ханского сада, и она объясняла ему азы поэтического искусства:

— Ночь, звезды, сад, душистый аромат цветов и высокая поэзия любви и прекрасного — вот что такое культурное обаяние Востока...

Юноша было потянулся своими губами к запретному плоду любви, но строгая персиянка категорически преградила его устремлениям путь своей раскрытой ладонью:

— Нет, сначала о звездах и луне, а потом уже все остальное... — был ее жестокий и неумолимый приговор.

— Напоминаю, что вчера твой папа отдал тебя мне... джинну...

— Да, но я хотела выйти замуж за прекрасного принца, а не за чудовище... — последовал ее ответ.

— Как думаешь, — обратился Мамед-хан к своему визирю, стоя у корней платана, — такое «древесное» общение не оскорбляет королевскую честь?

— Они говорят о поэзии, а это, о великий, великое дело на пути к просвещению варварских народов...

— Ну, ладно... Разрешаю... Пусть поворкуют напоследок... — решил хан и зевнул (после вчерашней встречи с «джинном» он теперь стыдился сам себя). — Завтра все равно уже выступаем в поход... С этой молодежью я совсем утратил покой и сон...

А персидская княжна, прикрыв в поэтическом экстазе глаза, читала своему возлюбленному любовную лирику Алишера Навои:

Страсть красота рождает. Так в ночи
Горит костер от огонька свечи.

Сколь ни желанна красотой своей
Любимая, огонь любви сильнее.
Так в горле соловья тоска звонка,
Что превосходит силу чар цветка.
Костер дымит, но ты его разрой —
И к небу вихрь взовьется огневой...
Когда огонь великий налетит,
Не только жизнь — он целый мир спалит.
Смягчается жестокий ум тогда,
Как в горне расплавляется руда.
Аскетов сонм смятением обуян,
Как вспыхнувший от молнии саман.
Та сила так сильна, что слон пред ней,
Как под ногой слоновьей — муравей.
Кто скажет: «Я влюблен!» — не верь ему.
Не каждый верен чувству своему.
Кто ищет только внешней красоты,
Томим тоской душевной пустоты.
В нем огонек и брезжит, может быть, —
Но на свече булат не размягчить.

«Меня эти стихи уже достали до печенки! — думал юноша, слушая нежное щебетание своей подружки. — Я уже начал рифмами говорить: „шафран — Иран“, „цветок — звонок“, „влюблен — пленен“, „соловей — хоккей“, „орда — белиберда“ и т. д. Еще чуть-чуть, и сам щебетать, как она, начну...»

Но все хорошее всегда когда-нибудь заканчивается. Завершились и их мирные дни в «раю» ханского сада-дворца. Наутро вострубили военные трубы, и они отправились в поход.

* * *

Жасмин ничего не стоило уговорить отца-хана взять ее с собой на морскую, как она выразилась, «прогулку». Любимая дочь! Ни в чем не знает отказа...

— Ого! — воскликнул юноша, увидев выступившую из города армию хана. — Ну и сброд! Прости Господи! Похлеще нашего будет... И где только он этих красавцев набрал? По такому войску можно смело заказывать панихиду...

Войско производило очень много шума и поднимало очень много пыли. Но само по себе это было разное, пестрое сборище непонятно кого, непонятно для чего названное армией. А самое главное — это была пехота, которую хан намеревался посадить на корабли и сделать из них матросов. Да, были пушки, и весьма неплохие. Но не было хороших пушкарей. Были ядра, но порох был настолько скверным, что годился только разве что для фейерверков.

Зато сам Мамед-хан сиял и радовался представившейся ему возможности во главе шумного парада проехать по городу и до моря, волны которого плескались в тридцати верстах от стен его Астрабада. Весь двор вышел проводить своего повелителя, словно он Александр Македонский, идущий покорять Индию, а не усмирять шайку русских казаков.

Приготовленные к походу корабли тоже были в разную масть. В то время, по-видимому, самого понятия военного флота не существовало, и каждая грузовая баржа мнила себя прекрасным фрегатом.

В общем, в море вышли под праздничный фейерверк и с богато накрытыми столами: хан угощал всех в преддверии ближайшей победы над врагом...

Принцесса Жасмин и Паша аль-Па-хан были неотлучно при нем.

Единственное, что заметил казацкий лазутчик, поднимая частые бокалы за здравия своего полководца, так это то, что на всех судах были сложенные в пирамидку железные цепи...

* * *

На Свином острове (ныне остров Сенги-Мугань, близ Баку) разинцы стояли с весны того года. Отдыхали, загорали, рыбачили... Они вытащили на берег свои морские струги и ремонтировали их поизносившиеся от морского похода днища.

— У нас всего осталось пятнадцать больших морских стругов, оснащенные двадцатью большими и двадцатью малыми пушками, — докладывал атаману Цыган. — Раньше мы думали, что нас будет больше, но зимние шторма изрядно всех ушкуйников потрепали... Персы должны со дня на день нагрянуть... Может быть, пока не поздно, сняться с места и уйти в Астрахань?

Атаман нервно курил, не имея никаких известий от своего лазутчика. Пашка давно уже не подавал никаких вестей. Словно сгинул.

— Место встречи изменить нельзя... — многозначительно изрек он. — Будем ждать и надеяться на лучшее...

— А что слышно о нашем Пашке? — поинтересовался атаман.

— Корней говорит, что его персы забрали в гарем...

— Бедный парень! Искренне жаль его... Сгинул бесследно, но задачу свою выполнил... Ненапрасная жертва... Истинный казак! Ватага его никогда не забудет...

— Говорят, у Мамед-хана Астаринского появился какой-то новый советник, коварный Паша аль-Па-хан... — сообщил новость кто-то из казаков. — Сказывают, что он самый настоящий колдун: ездит на слонах и все ведает наперед, что да как будет...

* * *

Пир на флагмане персидского флота длился два дня. Ровно столько, сколько он бороздил просторы Хвалынского моря, чтобы прийти к указанной на карте точке предстоящего сражения. Все пировали от души, словно чувствуя, что это их последний пир...

Сладкая жизнь привела к тому, что у Пашки разболелся зуб и ему разворотило всю щеку. Сердобольная Жасмин пыталась его лечить, но из нее получился плохой стоматолог.

— Зуб надо вырывать! — сообщила она ему свое медицинское решение. — Иначе никак! Но как? — И тут она вспомнила про своего телохранителя, который специализировался на этом деле. — Я сама видела, как он однажды в драке выбил сразу три зуба одним ударом своего кулака...

Призванный ею костолом критически взглянул на парня и, добродушно улыбнувшись, двинул ему прямо в глаз.

— Ему надо не глаз выбить, а зуб! — в гневе закричала на него княжна.

— А я виноват?! — Простодушно пожал плечами тот. — Он сам увернулся от моего удара... Сейчас все сделаем в наилучшем виде... — пообещал он и снова приложился к пленнику на сей раз точно в челюсть.

Выбитый зуб Жасмин заботливо подобрала с палубы и, привязав его за шнурок, повесила себя на шею в качестве украшения.

И вот теперь Пашка смотрел на разворачивающееся перед ним сражение с подбитым глазом и выбитым зубом. По всему выходило, что он был первый, кто пролил кровь в этой баталии.

А события разворачивались не в пользу его бывших поделщиков.

Увидев персидский флот, казаки обратились в ложное бегство прочь от острова. Персы погнались за ними.

Мамед-хан торжественно достал подаренную пару лет назад испанским послом гаванскую сигару и важно взял ее в зубы. В следующую секунду вражеская пуля оторвала ему кончик сигары, и он деловито прикурил от нее, вызвав восхищение у всей своей армии, которая как замороженная смотрела на его великие полководческие способности.

Собственно, на этом все его великие полководческие способности и завершились. Он вальяжно курил, а его армия героически погибала. Если бы сигара была еще длиннее на пару дюймов, то от армии Мамед-хана и его самого вообще бы ничего не осталось. Но казакам хватило времени разгромить его войска ровно столько, сколько он курил.

— Смотри, атаман! — кричал своему вожаку один из старых казаков. — Персы скрепили свои суда железной цепью...

— Сработала, значит, наша хитрость! — усмехнулся себе в усы атаман и приказал казакам разворачивать оглобли назад.

Бежавшие дружно развернулись и ударили по ничего не подозревающим врагам. Те первоначально остолбенели. Пока персы чесались в замешательстве, казаки обрушили весь свой удар на флагман их флота. Корабль не выдержал такого натиска и загорелся.

Схватив в охапку княжну, Пашка перескочил на соседний корабль, который был еще цел. Мамед-хан с сыном и с другими придворными бежал на корабль, который был скован цепью с его флагманом с другой стороны.

— Это что они такое творят! — недоумевал хан, глядя, как его горящий флагман начинает медленно тонуть.

Казаки теперь рыскали повсюду, и везде, где они появлялись, возникал пожар. Корабли вспыхивали, как сухая солома.

— А что происходит, когда разбойники захватывают судно? — поинтересовалась у него Жасмин.

— Обычное дело: все грабят, а всех женщин насилуют...

— Это как?

— Очень быстро...

— Все пропало! — вопили в ужасе персы, бросая оружие и кидаясь за борт. — Спасайся кто может!

— Что делать? — Умоляюще взглянула персиянка на своего учителя русского языка.

— Раздевайся! — коротко скомандовал он ей, сам срывая с себя одежду. Княжна не возражала и через минуту стояла уже нагой. — Переодевайся! — велел он ей, протягивая свои штаны и рубаху. — Теперь ты будешь мной, а я — тобой!

— Но ведь тогда тебя изнасилуют!

— Ты посмотри на мою рожу! Кому я «такая красавица» сдалась!

Тонущий тяжелый флагман потащил за собой на дно и ближайšie суда. Казаки захватывали и топили одно судно за другим. Казалось, от них нет никакого спасения.

Когда главнокомандующему персидского флота доложили о боевых потерях, он схватился за голову. Когда ему сообщили о пленении его любимой дочери, он схватился за сердце.

— Если он мне не вернет дочь, — ревел от дикой ярости Мамед-хан Астаринский, — я этому Паше аль-Па-хану башку оторву и золотом ему глотку залью! — торжественно поклялся он, поспешно ретируясь с поля брани.

Разгром был полнейший.

Казаки захватили три десятка пушек. От них удалось спастись только трем судам, на которых были сам Мамед-хан и его сынишка Шабын-ханыч...

Атаман обозрел «поле» морской битвы. Кое-где догорали тонушие суда неприятеля, вокруг них плавали трупы вражеских солдат. Но и среди казаков безвозвратно ушло две сотни их побратимов.

— Говорят, княжну персидскую взяли в полон! — поинтересовался у своих сподручных атаман.

— Взяли!

— Мне уже не терпится с ней поближе пообщаться...

— Не советую...

— Что так?

— Я давеча было заглянул ей под чадру, а там такая рожа, Кривая, косяя... Прости Господи, страшнее крокодила! Цыгана даже стошнило! Ржал так, словно сам жеребцом ретивым стал! Зато взяли также в плен ее брата Шабын-Дебей! Вот за этого «Шаболдая» мы точно можем хороший выкуп с его папашки истребовать... Жаль только, что он безусый — за бородатого можно было больше взять...

— Ладно... Вы эту убогонькую не обижайте... — проявил удивительную снисходительность к пленнице атаман. — Запишите ее за меня. Дескать, это я ее взял в жены, а то наш Филька ни перед чем не остановится... Ему все равно кого...

* * *

Казаки гуляли, празднуя свою победу две недели.

Бакинцы все видели, поэтому старейшины города решили: русы опять будут их грабить... Чтобы предотвратить это, их надо задобрить.

Баку уже в те времена был каспийским Вавилоном. Среди его армянского, грузинского и гилианского населения сразу же нашлось очень много тех, у кого родственники жили в России. Особенно их много оказалось почему-то в Астрахани. Среди победивших казаков тоже много оказалось астраханцев.

— Э! Слушай, дорогой, что нам делить? — говорили одни другим. — Ты у меня сейчас в гостях, завтра я у тебя... Э! Заходи, выпьем, поговорим, закусим... — И все несли, и все ставили на стол.

Над Каспием начинал дуть ветер перемен с преобладанием северных румбов...

Племенные рядовые персы были тут же обменены на спиртное, а для самых знатных персон был назначен «золотой выкуп». «Брата и сестру» поместили на отдельный захваченный персидский корабль, которым оказался чудом уцелевший личный корабль великого визиря Астрабада, на котором уцелел во время побоища его великолепный шелковый шатер.

— Будем считать, что это наш свадебный пир и свадебное путешествие! — Постарался увидеть во всем дурном все хорошее Пашка, ставший на неопределенное время персидской княжной. — Поедем ко мне на родину, я тебя со своей мамой познакомлю... Она у меня хорошая, хотя и приемная...

Восседая в Девичьей башне на банкете по случаю победы над персами, атаман милостиво даровал всем бакинцам казацкие вольности, и над старинной крепостью многократно прокатилось с чудовищным кавказским акцентом: «Любо! Любо! Любо!»

— Персы говорят о том, что они потеряли какого-то очень важного Пашу аль-Пахана, — доложили ему на другой день. — Утверждают, что за его голову шах обещают кучу золота...

— Сыскать и истребовать обещанную мзду! — коротко приказал он своим казакам, отвечавшим за подобного рода финансовые махинации.

Когда через две недели после морского сражения тяжело груженные добычей казачьи струги отвалили от бакинских берегов, на пристань вышла проститься с ними половина города. Другая половина не смогла поднять голов от прошедшего по городу буйного отвального пира.

Дорога домой выдалась тяжелой и натужной. Струги шли медленно, хотя и при попутном ветре. Нагруженные добычей, они стали неповоротливыми и с низкой осанкой. К тому же за каждым стругом тянулся длинный хвост из скрепленных цепями винных бочек, которые заботливые и радостные бакинцы (радостные, потому что их никто больше не грабил!) отдали в дорогу все свои винные запасы.

И тянулись эти морские составы, раскачиваясь на волнах седого Каспия, на многие морские мили. Понятно, что над флотилией стоял тяжелый дух винного перегара. И достаточно было одной малой искры, чтобы все это враз воспламенилось и пошло рыбам на корм.

— Богато живет наш атаман... — озабоченно вздыхал Пашка, поправляя чадру. — По пути из Баку в Дербент перепились и утопили сразу три струга... А если еще налетит буря? Кто и с чем доберется до Астрахани?

— Он может все море застелить шелками и все равно останется богатым человеком... — возражал ему Цыган, отряженный самим атаманом для присмотра за именитыми пленниками. — Ты, кстати, для персидской княжны имеешь слишком революционные мысли... Ты вообще изменился... — многозначительно усмехнулся он. — Я когда тебя в этом наряде в первый раз увидел, чуть было от смеха не помер...

— Но все-таки не выдал меня атаману...

— Так мне до сих пор интересно, как ты будешь выпутываться из всей этой ситуации... То, что ты это сделал ради спасения своей возлюбленной, спора нет. Но что будет дальше? Я имею в виду, как она будет рожать?

— Ты думаешь, она уже беременна?

— И к цыганке не ходи... И когда вы только это успели?!

Дело не хитрое. Природа сама обо всем позаботилась...

* * *

В тот день и час, когда казачья ватага вошла в дельту Волги, стал для всех самым долгожданным праздником.

— Наконец-то! Вернулись! Дома... — посышалось со всех сторон. — Бог не выдал, свинья не съела! — Пашке пришлось долго объяснять своей подружке значение этой русской поговорки.

Та тяжело вздыхала, поняв, что при русском муже ей придется привыкать к свинине. Самое главное — не к свиному отношению! Но поскольку их план работал безотказно, они решили пока придраться к нему.

А тем временем в календаре того года медленно, но верно надвигался Новый год, который тогда на Руси справляли 1 сентября.

Поэтому атаман приказал украсить свои струги и даже их покрасить.

И вот когда из-за острова на стрежень, на просторе речной волны показались родные астраханские берега и в глаза бросился белокаменный кремль, казаки невольно закричали «Ура!» и стали бросать в воздух свои казачьи шапки.

В Астрахани царские воеводы с тревогой взирали на то, с каким триумфом возвращаются из дальнего морского похода воровские шайки атамана Степана Тимофеевича и с какой радостью встречает их астраханская гольтьба: многие уходили босьяками, а вернулись королями...

Толпа на берегу глазела и завидовала тому богатству, с которым казаки вернулись домой. В глазах черного тяглого люда они все теперь были боярами и князьями. Ярыжники кричали «Любо» и бросали вверх свои дырявые шляпы.

— Вознесся атаман! — ворчал главный астраханский воевода князь Иван Семенович Прозоровский, издали подсматривая украдкой за казацким весельем. — Царем себя возомнил! Вон с персидской княжной сидит и пирует! Надо будет его пощипать! Оберем его казенной данью, вот тогда и поглядим, кто у нас в боярах да в князьях останется...

Из Астрахани начался их поход за зипунами, в Астрахани он и завершился. А это значит, что надо было отпустить на волю всех своих походных жен, так как дома каждого ждала своя законная жинка.

— На волю! Всех на волю! — кричал грозный атаман. — Всем дать вольную! Да здравствует наша вольница!

У него самого за время похода таких жен сменилось два десятка. Поэтому, упразднив свой походный гарем, он решил одарить каждую богатым приданым. Поэтому на новогодние праздники атаман велел устроить прощальную «антисвадьбу», самый буйный на свете развод...

Веселились все от души, навеки расставаясь со своим прошлым. Казаки разъезжали вокруг городских стен Астрахани на своих богато убранных лодках, всех поили, и кормили, и задаривали подарками. На городских стенах толпы праздного народа с любопытством наблюдали за этим новогодним весельем.

— Зипуны добыли, мечту осуществили... — вздыхал во хмелю атаман, не радуясь завершению своего похода за зипунами. — А что нас ждет дома? Старая жена! Холодная постель... Скучотень! Нет, надобно, братца, на следующий год нам эту вольницу повторить... — Блеснула в его глазах снова похоть. — Вздохнем Волгу-матушку и Каспий-батушку... Пошлем сарынь на кичку...

Отвальное застолье было смесью свадьбы и панихиды. Вокруг атамана жались его многочисленные походные жены, и каждая старалась если не быть, то хотя бы выглядеть как любимая жена. Поздравить атамана с вольной пришло столько казаков-побратимов, что им не хватило в его челне места. Казаки стали роптать, дескать, бабам место на ладье нашлось, а нам нет. От этих упреков у атамана глаза налились кровью. Его окружение давно знало, что, если такое происходило и на его лице сдвигались черные брови — быть грозе...

— Чтобы я променял на баб своих боевых друзей! — вскричал Стенька. — Да ни в жизнь! Эй, девки! — обратился он к своим походным женам. — А ну все за борт! Вам здесь не место!

Женщины послушно «вышли» за борт и, ухватившись за край судна, поплыли рядом, бойко брызгаясь в речной воде.

Видя все это, Пашка решил действовать.

— Я сейчас для храбрости хлебну, — дал он сам себе установку, — и пойду с атаманом объясняться!

И он выпил, и он пошел.

— А эта шалава куда прет? — увидев его, возмутился атаман. — Что, и ей тоже приданое подавай? Вот наглая! Эй, Филька! — крикнул он скомороха. — А ну немедленно женись на этой персидской каракатице! Княжна все ж...

Филька, казацкий скоморох, потирая руки, было вознамерился обнять свою новую жинку, но та, проходя мимо него, грубо его оттолкнула, и казак кубарем полетел через борт в реку.

— Ах ты! Она еще драться вздумала! — нахмурился атаман.

— Да, кстати! — поддержал его идею Цыган. — Нам тут еще драки не хватало! Давай, казаки, кулаками мериться! Какая свадьба без драки?!

— погоди! погоди! — остановил его Стенька. — Я для начала эту шарму прочую!

Хоть и пьян был атаман, но в нем разыгралась удаль молодецкая.

— Иди сюда, бешеная! — схватил персиянку за стан и поднял над головой. — Охладишь, стерва! Не мучай нас своим кошмаром! — И он размашисто швырнул ее в набегавшую волжскую волну.

С астраханских стен все хором только ахнули:

— Утопил персидскую княжну в Волге! — прокатился по стенам изумленный шепот только что рожденных сплетен и слухов. — Ничего, дескать, атаману для Волги-матушки не жалко...

Увидев, как ее возлюбленного швырнули в реку, Жасмин неистово закричала и поняла, что от стресса у нее начались преждевременные роды.

— Ну вот, началось! — недовольно заворчал Цыган, приходя к ней на помощь. — И что бы вы без меня только делали?!

— Я, конечно, многое на своем веку видывал, — трезвел на глазах атаман, наблюдая за родами, — но чтобы такое...

— Так это персы! Чего ты от них хочешь! — старался смягчить ситуацию Цыган, принимая роды.

— Ну, все равно! — не унимался уже практически трезвый атаман. — Чтобы мужик... и вот так на скорую руку... рожать?

Услышав крик Жасмин, Пашка из всех сил бросился ей на выручку, по дороге срывая с себя намокшее женское платье.

— О! — увидев подплывшего к судну уже без женской одежды Пашку, узнал его атаман. — А вот и наш Пашка объявился! Ты где, чертенька, был? За персидской княжной, что ли, нырял! Она того не стоит! Там такая, братец мой, рожа! Не советую... Утопила, да и хрен с ней!

Не обращая внимания на атамана, Пашка кинулся к своей рожавшей жене.

— Так это что? Твое, что ли?! — удивился атаман. — Ну ты, братец, и хват... Когда успел все сделать?!

— Что там у них за шум? — попытался один астраханский воевода у другого, наблюдая за ними из-за зарослей речного камыша.

— Жен своих неверных топит! — отвечал ему другой. — Совсем озверел в басурманских странах, законов наших уже не признает!

— И что мне с ним делать? — спрашивал Цыгана Стенька, когда ему дали на время подержать новорожденного.

— Ты его просто держи и ничего не делай! — отвечала цыганская повитуха, привыкшая принимать роды у коней. — Человеческий детеныш точно так же, как и жеребенок, ласки просит...

— Крестник, значит! — Посмотрел на него атаман. — Вот он, наш самый главный «зипун»! Быть ему великим казаком...

Ну вот, в принципе, и все...

А что было дальше? А дальше начались скучные серые будни: дом, работа, дети, быт... затем снова дом, потом снова работа, и снова дети, и снова быт... Ничего интересного...

О самом интересном мы вам уже все поведали...

Эпилог

Когда через два года царские войска входили под барабанный бой в сдавшуюся им на милость Астрахань, никто не заметил удаляющуюся от города в сторону кыпчакской степи одинокую цыганскую кибитку, в которой сидели двое мужчин и женщина с тремя маленькими детишками.

— К тестю в Персию пока не поедет, он что-то нынче не в духе... — поделился своими планами на будущее молодой. — Поживем покуда на своих вольных хлебах...

— Я бы тоже такое не простил... — поддержал разговор старший, тот, что был поцыганистей. — Умыкнул девку и в ус не дует...

— Тише, тише, дети... — успокаивала своих малышей мать-персиянка. — Вот приедем, папа сам расскажет вам, как он в молодости на слониках катался и караваны верблюдов грабил...

Молодой многодетный папаша тяжело вздохнул, и приятные воспоминания унесли его далеко-далеко за воды Хвалынского моря, на те счастливые берега его молодости, где он жил в «золотой клетке» персидской неволи и кормил морковкой своего любимого слоника...

Эдуард РУСАКОВ

РАССКАЗЫ

из цикла «Комсорг дурдома»

ПОЧИТАЙТЕ РУСАКОВА

По моему выстраданному убеждению, Эдуард Русаков в наступившем XXI веке по праву заслуживает звания одного из самых крупных и оригинальных современных наших прозаиков. Я больше скажу: он, на мой взгляд, пожалуй что, и самый завлекательный российский беллетрист, если возвратить обрусевшему французскому выражению «belles lettres» его первоначальный смысл — «изящная словесность», каковой, в принципе, является вся незанудная и непопсовая мировая литература, начиная с Петрония. Уметь с легкой ухмылкой или делая нарочито скорбную «позу рожи» говорить очень серьезные вещи — это высокое искусство, и обладатели его — высокие люди, которые, рискуя, могут позволить себе в литературе все или почти все.

Русаков, который пишет с детства, сочинил за шестьдесят с лишним лет литературного труда сотни рассказов, десятки повестей, несколько романов, пьес и даже для собственного развлечения издал сборничек «упаднических» стихов под псевдонимом Эд Чахлый.

Испытавший с одной стороны влияние Достоевского, Чехова, Кафки, Оруэлла, с другой — Мамина-Сибиряка, Вяч. Шишкова и Шукшина, он расположил на мировой литературной карте свой дивный сибирский город Кырск, за которым, естественно, угадывается огромный, прокопченный заводами и обезображенный знаменитой ГЭС Красноярск, его и моя родина, город, в котором он, врач-психиатр по образованию, живет практически всю свою жизнь, не соблазнившись ни столицами, ни заграницами. Думаю, что, как Макондо или Чегем, этот русаковский Кырск теперь — навсегда.

Его литература — фабульная, сюжетная, увлекательная, сострадательная.

Увы, при советской власти его почти не печатали, при власти нынешней он, не умеющий толкаться, юлить и пиарствовать, издается поражающим воображение тиражом 100 (сто!) экземпляров (почти самиздат), в Москву не суется, очевидно, помня, как обчистили его столичные издатели, распродав и переиздав безгонорарно его книгу с характерным названием «Палата № 666».

Однако я пишу эти строки вовсе не для того, чтобы кого-то разжалобить.

Я просто о том, что мне обидно — ведь многие российские читатели, ждущие от современной литературы не новорусских глупостей поповых или заузного высоколобого слова, от которого жить становится еще тошнее, не знают Русакова, который мог бы стать одним из любимых ими писателей, потеснив в их сознании другие звучные и раскрученные имена.

РЕЗЮМЕ: Настоящие читатели, читайте настоящего, а не назначенного кем-то писателя.

Евгений ПОПОВ

МОЯ ЖЕНА — КОРРЕКТОР

Моя жена работает корректором в краевой газете «Кырская заря».

Она очень хороший корректор, моя жена. Дважды была участницей всероссийского тотального диктанта — и дважды получала оценки «отлично». Единственная отличница в нашем городе двоечников и троечников.

Правда, есть у нее один недостаток: она правит не только газетные тексты, но и мои рассказы, хотя никто ее об этом не просит. И ладно б еще только рассказы — она правит мою устную речь, мой характер, мои вкусы, привычки, мою повседневную жизнь. Она правит меня как личность! А это уже, согласитесь, слишком.

И чего ей неймется? Сегодня, к примеру, суббота, выходной день, — занялась бы, к примеру, домашней уборкой, приготовлением обеда или, к примеру, сходила бы в парк с нашей дочкой Маришей... Так нет же — лезет ко мне со своими замечаниями:

— В одной фразе три раза подряд «к примеру»... Это плохо, мой милый!

— Отстань ты, ради Христа! — восклицаю я. — Сколько раз просил: не мешай мне работать. Если хочешь знать, я специально трижды повторил «к примеру» — уж таков мой стиль!

— Тоже мне, стилист, — хмыкнула жена. — И не надо все упоминать имя Божие...

— Твое место — на кухне! — кричу я, отталкивая ее. — Киндер, кухен, кирхен!

— Тебе мало калечить русский язык? — усмехается жена, отступая. — Пожалел бы хоть немцев... Не «кухен», а «кюхе»! «Кю-ю-хе»!.. Эх ты... полиглот!

И она прикрывает за собой дверь.

А я продолжаю писать рассказ из цикла «Сказки для взрослых». Рассказ называется «Спящий красавец».

Герои этого рассказа — два брата-близнеца Ваня и Вася, призванные на военную службу из сибирского города Кырска (а откуда ж еще?) в Москву, в Президентский полк, или, как его чаще называют, в Кремлевский полк. Да, им сказочно повезло, Ване и Васе. Впрочем, они заслужили эту почетную службу...

— «Заслужили»... «службу»... — шепчет незримая тень моей жены. — Тавтология, милый...

— Отвали! — рычу я.

И продолжаю писать рассказ.

О том, что братья-близнецы Ваня и Вася больше всего мечтали попасть в роту специального караула, откуда формировались наряды на пост № 1 возле могилы Неизвестного солдата, что в Александровском саду, а также часовые у Мавзолея Ленина. Если честно, то близнецы особенно сильно мечтали охранять хрустальный гроб, где покоилось нетленное тело вождя Великой Октябрьской социалистической революции. Они очень любили великого Ильича, их воспитала в этой любви мама, старая негибаемая коммунистка, и братья прочли много книг о Ленине, видели много фильмов и знали наизусть много стихотворений, посвященных этому великому человеку...

— Два раза — «великому», три раза — «много»... — прошептала невидимая жена.

Да, да, да! И не два, и не три, а сто тысяч раз — «великому человеку»! Братья очень, очень любили этого великого человека. И были поражены, когда в первый же день в Москве, на Ярославском вокзале, старуха цыганка им нагадала два чуда: во-первых, сказала она, если Ваня (ткнула цыганка ему в грудь сухим коричневым паль-

цем) будет два часа подряд читать вслух ленинские тексты, а во-вторых, продолжала цыганка, повернувшись к Васе, если ты, Васек, поцелуешь Ленина прямо в губы...

— Но как же?! — прошептал растерянно Вася. — Как же я его поцелую — ведь он в гробу?..

— Главное — очень хотеть и верить! — грозно сказала цыганка, воздевая свой коричневый палец. — Верьте — и оба чуда свершатся!

— Какие? — пролепетали братья. — Какие два чуда?..

— Увидите, — усмехнулась цыганка. — С вас по тысяче рэ.

— У нас всего одна... — извиняющимся голосом произнес Ваня.

— Давай хоть одну, — и цыганка вздохнула. — Главное — верить. И все сбудется, как я сказала!

— ...Что за бред?! — прошептала мне прямо в затылок незримая тень жены. — Да неужто эти твои близнецы такие уж идиоты?..

Отмахнувшись, я продолжал писать свой рассказ про Ваню и Васю, мечта которых очень скоро сбылась: их направили стоять в карауле возле Мавзолея Ленина.

Вот стоят они, значит, стоят, и брат Ваня, едва шевеля губами, читает вслух фрагменты из ленинского произведения «Государство и революция»:

— «До тех пор, пока не наступит „высшая“ фаза коммунизма, социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления, но только контроль этот должен начаться с экспроприации капиталистов, с контроля рабочих за капиталистами и проводиться не государством чиновников, а государством вооруженных рабочих...»

— Слишком длинная фраза! — хрюкнула мне прямо в ухо жена, но я — ноль внимания, я продолжал торопливо записывать сакральный текст, произносимый солдатом Ваней, словно в забытьи:

— «Но научная разница между социализмом и капитализмом ясна. То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал „первой“ или „низшей“ фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становятся средства производства, постольку слово „коммунизм“ и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм...»

— Постой! Ты слышишь? — перебил брата Ваню брат Вася, кивая в сторону закрытой двери мавзолея.

— Н-нет... А что?

— Там... там... там... — бормотал дрожащий Вася.

— А ну тебя. Читаю дальше!

«Великое значение разъяснений Маркса состоит в том, что он последовательно применяет и здесь материалистическую диалектику, учение о развитии, рассматривая коммунизм как нечто развивающееся из капитализма...» Нет, ты понял, Васек? Ты понял?!

— Что-о?..

— А то, что коммунизм неизбежен! И капитализм, который сейчас временно воцарился в России, был запланирован Ильичом еще тогда... он давно предсказывал, что из капитализма разовьется коммунизм! Но в 1917 году у нас не было настоящего капитализма, а сейчас он есть!

— И чего?

— А то, что, как и предсказывал Ленин, очень скоро из капитализма разовьется коммунизм! И наступит рай на Земле!

— Ой! Что это?! — взвизгнул вдруг Вася, роняя от страха карабин.

Двери мавзолея распахнулись — и оттуда вылетел хрустальный гроб с нетленным телом Владимира Ильича.

Братья-близнецы оцепенели от ужаса и восторга. Так же замерли и прохожие, и туристы, которых в тот момент было немало на Красной площади. Хрустальный гроб летал над площадью — круг за кругом, круг за кругом. Это было потрясающее, сказочное зрелище!

— Вот оно, первое чудо! — воскликнул Ваня. — Цыганка не соврала....

— А второе? — спросил нетерпеливый Вася. — Где второе чудо?

— Ты не в цирке, — строго одернул его Ваня, который был старше брата-близнеца на тринадцать минут. — Имей терпение, Васек!..

Совершив над Красной площадью тринадцать кругов, хрустальный гроб аккуратно вернулся на свое место, в мавзолей.

Двери мавзолея остались открытыми, словно вождь приглашал близнецов к себе.

— Айда! — сказал Ваня. — Теперь твоя очередь, Васек! Ведь ты любишь Ленина?

— Еще как люблю! — восторженно прошептал Вася и шагнул во мглу мавзолея.

Брат — за ним.

Гроб стоял на прежнем месте, только крышка лежала в стороне.

— Ну, давай же! — подтолкнул Ваня брата. — Не бзди, Васек!

Бледный и трепещущий Вася приблизился к нетленному телу любимого вождя, наклонился над его прекрасным лицом — и поцеловал в фиолетовые губы.

И второе чудо свершилось!

Ильич распахнул красивые, чуть раскосые карие глаза — и ласково улыбнулся братьям, которые смотрели на него, не мигая и не дыша.

Когда Ленин привстал в гробу, братья отшатнулись и попятились.

— Не бойтесь, братцы, — сказал Ильич, приятно грассируя. — Все в полном порядке. За меня не волнуйтесь.

Он легко выпрыгнул из гроба, размял затекшие плечи — и направился прочь из мавзолея.

— Куда же вы, Владимир Ильич? — воскликнул Вася.

— Продолжать начатое дело, — ответил, не оборачиваясь, вождь мирового пролетариата. — А вы — продолжайте свою службу. Каждый должен оставаться на своем посту. Каждый должен вносить свой посильный вклад в дело построения коммунизма. Коммунизм неизбежен!

И на этом закончился мой рассказ «Спящий красавец» из цикла «Сказки для взрослых».

— Как ты мог?.. — прошептала ошеломленная жена. — Как ты мог сочинить подобную ахинею?! Это даже не постмодернизм — это детский лепет и старческий маразм в одном флаконе! Ау, Альцгеймер! И хоть бы придумал что-нибудь оригинальное... А то смешал гоголевского «Вия» со сказкой о спящей царевне — и доволен! И вообще, сколько можно терзать труп бедного Ильича?! Это просто пошло! Пошло!..

«Нет, не буду, не буду с тобой спорить, — думал я, глядя на разгневанную супругу, которая в гневе казалась еще привлекательнее и сексапильнее (или это — тавтология, ма шер?). — Говори, что хочешь, кисуля. Уж я-то знаю, что эта история будет иметь успех и скоро, очень скоро выйдет моя новая книга «Сказки для взрослых», за которую я обязательно получу одну из престижнейших литературных премий... и тогда... и тогда...»

— Разбежался, — хмыкнула жена, словно услышав мои мысли. — Не будет ни книги, ни премии, ни читательского успеха, ни славы, ни денег, ни обещанной мне норковой шубы. Ничего не будет. Скорее Ильич и впрямь воскреснет, чем ты, ничтожество, станешь знаменитым. Скорее коммунизм победит во всей вселенной, чем тебе улыбнется удача в одной отдельно взятой стране.

...Я смотрел на нее, онемев от ужаса и мазохистского восторга. Жена не просто читала мои мысли — она их правила! Я ее обожаю, мою царицу!

ГОРДАЯ МАМА

Моя мама никогда ни у кого ничего не просила.

Она с детства была приучена немилосердной судьбой к тому, что не стоит ждать от людей поддержки и помощи. Надо во всем рассчитывать только на себя.

Ей было четыре года, когда мой дед, ее отец умер от туберкулеза на германском фронте. Он был ветеринарным фельдшером, и когда началась Первая мировая война, его призвали в кавалерийские войска, лечить лошадей. Лошадей он лечил хорошо, а вот за собственным здоровьем не уследил. В ту пору не было ни ПАСКа, ни фтивазида, и поэтому дед мой прекрасно понимал, что он обречен. Месяца за два до смерти он выпросил увольнительную, чтобы съездить домой и проститься с женой и детьми. Сохранилась фотография, на которой изображены смертельно больной дед с вымученной улыбкой, печальная бабушка и четверо детей, среди которых можно видеть и мою маму — маленькую, с короткими растрепанными волосами, насупленную и даже сердитую. По этому снимку можно понять, что маме уже тогда не нравилась предстоящая жизнь.

Мой дедушка, ее отец умер вскоре после возвращения на фронт, летом семнадцатого года. Там, на западе, и был похоронен. В ту лихую революционную пору никакой поддержки от государства ждать не приходилось. Власть менялась неоднократно, и разномастным представителям этой власти было не до молодой вдовы и ее осиротевших детей. И моя бабушка осталась одна с четырьмя детишками на руках. Один сын, три дочери, средняя — моя мама. Но бабушка выстояла, вырастила всех четверых, работая учительницей начальных классов, выкормила, вывела их в люди. Впрочем, мама моя уже со школьных лет привыкла сама зарабатывать, чтобы помогать семье.

Мама была пионеркой и комсомолкой, звонко распевала вместе со всеми «Взвейтесь кострами, синие ночи», хотя в комсомол ее приняли не сразу как члена семьи социальных лишенцев: ведь отец бабушки был деревенским священником, и поэтому ей и ее детям нельзя было ни участвовать в выборах, ни поступать в вуз без рабочего стажа. Вот и пришлось маме сразу после окончания школы отправиться на Север, в деревню Ворогово, где она три года проработала учительницей в местной школе. В те годы голод добрался и до Сибири, и мама подкармливала своих сестренку и братишку, посылая им с попутными пароходами свежесолоную рыбу, топленое масло, муку и прочие необходимые для выживания продукты.

Обеспечив себе рабочий стаж, мама поступила в Ленинградский институт народного хозяйства, сдав все вступительные экзамены на отлично. После окончания института она поехала по распределению в Магнитогорск и вот там познакомилась с моим отцом, который был на комбинате большим начальником. Дальше все понятно —

любовь, планы на будущее. Молодые влюбленные стали жить вместе, обзавелись хозяйством. У меня дома от тех маминых юных лет сохранились вилка из нержавеющей стали и стеклянная вазочка в стиле модерн (явно дореволюционная). Даже сплю я на той самой кровати с никелированными шарами на спинке, на которой когда-то спали мои родители и на которой я был зачат в Магнитогорске... Но тут началась война — и отец мой стал рваться на фронт, хотя у него как у большого начальника была броня. Мама очень переживала, ведь она уже была «в положении», и ей, конечно же, не хотелось остаться одинокой вдовой с ребенком на руках. Но гордость мешала ей просить отца остаться, да это было бы все равно бесполезно.

«Роди мне сына!» — кричал отец, высовываясь из вагона, когда мама его провожала. «Рожу, не сомневайся!» — отвечала она, не вытирая слез. «И не плачь!» — кричал отец. «Я вовсе не плачу!» — отвечала плачущая, но гордая мама. — Это ветер!.. А я не плачу!»

Она была гордой, а он был порывистым и торопливым. Они даже расписаться в загсе не успели. Поначалу маме казалось, что это все равно, ну какая разница — расписались, не расписались. Но вскоре она поняла, что разница большая: потому что если бы они расписались, то мама получала бы от отца аттестат, то есть деньги. А так она не получала от него никакого аттестата, и деньги он ей присылал нерегулярно и понемногу. И гордая мама ничего не писала ему об этом. А он тоже об этом ничего не писал, но зато каждое его письмо было переполнено объяснениями в любви и обещаниями грядущего счастья. Мама вскоре вынуждена была уехать из Магнитогорска и вернуться рожать меня в Кырск, к своей маме, вернее, к своей младшей сестре, которая охотно ее приютила. По вечерам они читали друг другу письма от своих мужей. И если в письмах мужа младшей сестры были постоянные упоминания о денежном аттестате и напоминания о заготовке на зиму дров, картошки и прочих домашних делах, то в письмах моего отца были только бесконечные объяснения в любви и мольбы простить его за какую-то давнюю, непонятную мне вину...

Когда спустя много лет мне довелось прочесть все эти письма, я с жуткой ясностью понял, что больше всего моя гордая мама страдала от унижения, от роли приживалки, нахлебницы в доме родной сестры. Это она-то, привыкшая быть в семье главной добытчицей, быть всегда и во всем свободной и независимой, вдруг по вине моего отца стала... да, да! — нахлебницей, приживалкой, незаконной женой, нерасписанной матерью-одиночкой. Именно это терзало ее уязвленную душу куда сильнее, чем разлука с любимым... Да и таким ли уж он был любимым, мой бедный отец?

Когда я все это понял — мне стало так жаль их обоих... Особенно, конечно, ее, мою бедную гордую маму! Бедная, бедная мама...

Но когда я перечитываю письма моего отца с фронта — мне жаль и его. «Здравствуй, моя „сердитка“...» — вот как он к ней обращался. «Буду верен тебе до последнего вздоха. Твой „страшенький“...» «Прошу тебя, не рискуй здоровьем, береги ребенка и нашу любовь...» «Моя любимая, ты стыдишься перед своей мамой за свой „поступок“?.. Напрасно. Скажи маме только правду — что, мол, все произошло по обоюдному согласию, как мы хотели вместе с тобой. Ведь это правда. Мама тебя любит и поймет...»

Уверен, что бабушка, мамина мама, все понимала прекрасно. И нисколько их не осуждала.

Но письма мамы к отцу становились с каждым разом все более злыми и ожесточенными. И наконец она совсем перестала ему отвечать.

Два с лишним года — вы только представьте! — отец ей писал, умолял о прощении, о пощаде... Хотя если уж совсем честно — в чем он был виноват? Только в том, что

слишком поторопился на фронт, не успев узаконить их отношения? А на фронте он, между прочим, ежедневно рисковал жизнью... Два с лишним года — с ума сойти! — он писал ей, писал, писал — и не получал ответа. Мама, мамочка, почему ты была так к нему жестока?.. Ведь могла бы и пожалеть, и простить.

Отец не вернулся с фронта, пропал без вести, скорее всего — погиб.

Бедный, бедный отец. Бедные мы люди.

Бедный я, сирота-одиночка.

Бедный Боженька — не может дать бедным людям хоть капельку счастья. Не может или не хочет?

Если мы созданы Им по Его образу и подобию — значит, Он так же несчастлив, как и мы все?

Такой же гордой, независимой и одинокой мама оставалась всегда. Ни разу не вышла замуж. Никогда ни один мужчина не переступал порог нашего дома. У нее никогда никого не было — это я знаю точно, потому что мама всегда была со мной, я всегда был при ней, с ней рядом. Я был вечным ее стражем, спутником и невольным свидетелем ее вечной верности, моей гордой мамы, хотя никогда и не задумывался об этом. Мне казалось это само собой разумеющимся — мама только моя! И ничья больше! Ничья рука не смеет коснуться моей мамы! И не касалась никогда.

«Ты никогда ни в чем не сможешь меня упрекнуть», — сурово нахмурившись, говорила мне частенько моя мама. Да, жила она только ради меня. И я ее ни в чем не упрекаю.

Она была гордой и независимой даже в последние дни своей жизни, когда категорически отказывалась от врачей, от больницы. Никого не подпускала к себе. Никого, кроме меня. А разве мог я остановить смерть?

Мамы нет уже много лет, но она всегда рядом, всегда со мной.

Ее фотографии передо мной, ее вещи нетронуты, даже любимое ее сиреневое платье с брошкой из чешского стекла висит в шкафу и будет висеть там, пока я жив. И все ее безделушки, сувениры и фарфоровые статуэтки стоят на полках, и даже значок «Ворошиловский стрелок» лежит там же, напоминая о том времени, когда мама, на зависть всем мужчинам, выбивала в тире центрального парка десять баллов из десяти... Она очень метко стреляла, моя мама! И я до сих пор пью из маминной серебряной рюмки и ем маминой вилкой из нержавеющей стали, на которой отчетливо видно клеймо: «Нерж., Магнитогорск, 1937 г.». Да что вилка! В той самой старинной вазочке из фиолетового стекла до сих пор стоят три засохшие хризантемы, поставленные туда мамой незадолго до смерти. И я до сих пор сплю на маминой кровати с никелированными шарами на спинках, на той самой кровати, на которой когда-то я был зачат...

...Я до сих пор слышу мамин голос, я вижу ее, она снится мне каждую ночь — она учит меня, как надо жить, чтобы не терять своего достоинства и свободы, хотя жизнь моя тоже ведь скоро кончится.

Мама, мама, ну хватит же, хватит учить меня жизни. Научи меня лучше, как умереть достойно.

Мама... мамочка... оставь ты меня в покое, ради Христа.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Открываю глаза — где я? Что со мной? Почему я лежу в этой белой комнате, на белой больничной кровати? Голова моя забинтована, правая рука в гипсе.

В распахнутое окно влетает белая бабочка, бе-ба-бо, я слышу шелест ее крыльев, она мечется, бьется в стекло, порхает по комнате, ударяется о стеклянный плафон над моей головой, осыпает мое лицо легкой прозрачной пудрой. Я желаю поймать крылатую гостью — но загипсованная рука плохо мне повинуется. Я откидываюсь на подушку, закрываю глаза.

И густой красноватый туман вновь окутывает мое сознание.

— ПРОСЫПАЙТЕСЬ, БОЛЬНОЙ!

...Это было давным-давно, в послевоенном детстве, мы с мамой сидим в приморском ресторанчике, на веранде, мама совсем молодая, веселая, смотрит на меня и смеется. Мы едим горячие хачапури с соленым сыром и сливочным маслом и пьем обжигающее какао. А рядом, за соседним столиком, сидит загорелая белозубая красавица, она жадно грызет куриную ножку — ее волчий аппетит меня восхищает. Красавица сверкает жемчужными зубами, жмурится от солнца, как кошка, разрывает куриные сухожилия, ее алый рот и румяные щеки запачканы жиром... Она так хороша!..

— Что с вами, больной?

— Мне кажется, я попал под машину. Под машину времени.

— Да вы, я смотрю, уже шутите. Значит, дело пошло на поправку.

И мужчина в белом халате улыбается.

А какая-то заплаканная женщина (очень знакомое лицо!) склоняется надо мной.

— Сколько раз тебе говорила: не переходи на красный свет! А ты все на красный, на красный. Вот и...

— Где я?

— В больнице. И я с тобой.

— А кто вы... кто вы такая?

— Как?! Ты меня не узнал?..

...Растянута гармошечка (там, за стеной), и рядышком милашечка (там, там — за стеной), и теплая, как кошечка... а у него такие твердые, мозолистые руки, пальцы с обломанными ногтями, желтые, пахнущие табаком, а у него (там, за стеной) такие руки, а у нее такие плечи...

...Она такая мягкая, ах! рот — конфетка мятная, ах! нос — ну прямо пуговка, а он — ну прямо пугало...

...Там, за стеной — морщинится гармонь:

Не ходите, девки, к морю —

Море колыхается.

Не любите, девки, Колю —

Коля матюкается!..

— И куда же вы так спешили? — спрашивает мужчина в белом халате. — В рай, что ли?

— Не помню, — говорю. — Ничего не помню.

— Амнезия, потеря памяти. Поспешил — людей насмешил. Тяжелая черепно-мозговая травма, перелом правой плечевой кости...

— Он в редакцию торопился, — поясняет женщина с ужасно знакомым лицом. — Его несколько лет не печатали, он совсем уж отчаялся... а тут вдруг позвонили — мол, срочно приезжай, будем подписывать договор. Вот и помчался...

— Так, значит, ваш муж — писатель?

...Я спутал все. Я себя с кем-то спутал. Я тебя с кем-то спутал. Впрочем, ты ни при чем.

Кто я? Как меня зовут? Что со мной? Неужто и впрямь — попал под машину? Мир вокруг — совершенно неузнаваем и странен...

Небо было серое, стало розовое. Крыши были черные, стали серебряные. Была ночь, стало утро. Солнце взошло.

— Значит, говорите — попал под машину времени? Весьма остроумно. Сразу видно, что сочинитель. А что вы пишете, если не секрет?

— Н-не помню...

— Ну, в каком хотя бы жанре? Прозу, стихи, эссе?

— Не помню я. Ничего не помню.

— А хоть помните, как ваше имя?

— Нет. Не помню...

— Постарайтесь все же припомнить. Это ж надо, такая глубокая амнезия...

Женщина, молча стоявшая у окна, заплакала.

— Перестаньте, — сказал ей мужчина в белом халате. — Он идет на поправку. Скоро будет совсем молодец.

— А память? — всхлипнула она.

— И память восстановится. — Мужчина в белом халате вновь обернулся ко мне. — Какой год сейчас — можете сказать?

— Н-нет. А какой сейчас год?

— В какой стране вы живете?

— Н-не помню...

Он громко расхохотался.

— Замечательно! Просто великолепно! Таких, как вы, надо студентам на лекциях демонстрировать.

— Доктор, как ему помочь? — воскликнула женщина.

— Не беспокойтесь, память восстановится. Принесите ему газет...

— Газет? Каких газет? Старых или новых? У нас дома — целый архив. Полный шкаф газетных вырезок и подшивок.

— Вот и тащите любые, пусть читает. Глядишь, быстрее в себя придет.

«...Как недавно это было!.. Первомай, праздничная Красная площадь. Весенний ветер треплет полотнища алых флагов. Демонстранты с песнями проходят мимо Мавзолея. Там, на трибуне, среди своих соратников — любимый вождь. Спокойный, полный глубокой думы и затаенной улыбки взор.

— Сталин! Сталин! — кричат люди. И смех, и счастье, и нежность во взглядах...»

...А помнишь, одна знакомая пожилая женщина тебе как-то призналась, что она впервые испытала оргазм лет в сорок, когда шла по первомайской Красной площади в праздничной колонне — и увидела на трибуне Мавзолея любимого вождя?..

«...И тогда, в тот счастливый день, на трибуну Мавзолея поднялась маленькая школьница. Как горячо, как гулко билось сердце в груди, когда, замирая от любви и восторга, она протянула Иосифу Виссарионовичу цветы.

— От советских детей, — сказала она.

И девочка прижалась к плечу вождя, к его сильному, отцовскому плечу, и близко посмотрела в родные глаза. Сталин все понял и обнял девочку. Вместе с ней он мысленно обнял детей всей советской страны — юное племя, которое он всегда так щедро любил...»

— Я вспомнил! Вспомнил! — кричу я радостно. — В тот день у нас не было уроков, только траурная линейка в школьном дворе... А потом нас заставили пришить в концам красных пионерских галстуков черные траурные уголки...

«...Три дня и три ночи развеивает ветер траурные флаги на улицах Москвы. Колонный зал Дома Союзов. Вот от группы детей отделяется девочка. Она крепко закусил губу, чтобы удержать рыдания, теснящие грудь. Девочка положила цветы к гробу Сталина.

— От советских детей, — чуть слышно шепчет она. И смотрит, смотрит в родное лицо...»

Мы в Отечестве своем
К изобилию идем!
Чай да сахар! Хлеб да соль!
К нам пожаловать изволь
На выставку!
На выставку!

Оборона — наша честь,
Дело всенародное.
Бомбы атомные есть,
Есть и водородные!

...Ведь это счастье — верить в счастье.

Все очень просто и очень сложно. Все можно оправдать и все можно опровергнуть. Все хорошо и все плохо — оценка зависит от точки зрения и настроения оценщика.

И не нужно цепляться за истину, которую ты постиг сегодня, — завтрашний день принесет свою правду.

— Я пришла! Здравствуй!

И сердце запрыгало от счастья, как ребенок под дождем.

В этом огромном, шумном, дымном городе — нам тесно, тесно, тесно. В этой маленькой темной комнате — нам просторно, просторно. Мир — это я и ты. И наша любовь.

Студенческая общага. Заплеванный пол. Грязная кровать. Чистая любовь.

И эль, и ю, и бэ, и эль, и ю,
И ель у дюн, и белый день в июль...

Ты, нежная!
Ты счастье мне сулила!..

Итак, это сон, моя маленькая,
Итак, это сон, моя милая,
Двоим нам приснившийся сон...

Помню — осенью — вместе в колхоз. Уборочная страда. Нары. Песни под гитару.

Вот окончим мы вуз,
Диплом получим
И поедем с тобой
В колхоз могучий.

Ах ты, чува моя, чува!
Тебя люблю я!
За твои трудодни
Дай поцелую!..

Подружился я там, в колхозе, с одним бывшим ээком — он песни блатные, лагерные пел потрясающе задушевно. «Так здравствуй, поседевшая любовь моя!» — например. А еще на ходу сочинял-импровизировал забавные стишки, вроде этого:

А ну, — сказал У-Ну, —
Х..ну я на Луну!

Чушь собачья — а ведь запомнилось. Всякая чепуха осела в памяти. Мусор, конечно... Драгоценный мусор. Антикварный мусор моей памяти. Руки прочь. Мне мой мусор дороже всех ваших премудрых мыслей.

Прошла молодость, и друзья институтские разлетелись, забылись, половина спились, половина выбились в большое начальство, никто ни с кем не встречается, не переписывается... И та девочка кареглазая, моя первая любовь, дважды уже выходила замуж и разводилась и живет где-то в Забайкалье, если, конечно, не умерла...

А музыка льется, светла, легкокрыла,
В ней юности нежность и звонкая сталь.
Флаг поднят! Молодость мира открыла
Сегодня Московский шестой фестиваль!..

«...Неужели это та самая нищая страна с неграмотными, бородатыми мужиками, та самая горстка опьяненных свободой людей, которые отбивали натиск всего мира; неужели это та самая страна без электричества, почти без железных дорог, с печами, в которых не было угля, с пустыми закромами, страна, где белый отец стрелял в красного сына, где Иван-колчаковец убивал своего брата Павла-большевика?.. Скажите мне, неужели это вы спустя немногим более тридцати лет построили Ту-104?!»

ПАРТИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ОБЕЩАЕТ: НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.)

«...Нет, как бы ни плакал Пастернак о русской интеллигенции, будто бы погибшей в революции, как бы ни клялся он в любви своей к ней, каким бы непрощеным Мессией якобы неотъемлемого от нее христианства он себя ни воображал, называть себя русским интеллигентом он не имеет оснований...»

— И как мы себя чувствуем?

— Спасибо, доктор. Вроде получше.

— Пришли в себя?

— Прихожу... понемногу.

— Вы только не переутомляйтесь. В меру читайте, в меру. А то мне придется отобрать весь этот ваш архив. Ишь, обложился... Архивариус. А как голова — не болит?

— Голова не болит.

...На каждом шагу — запреты, табу, светофоры заклинило на красном...

— Но я, как и многие, предпочитал как раз все запретное. Доставал и читал старые издания Фрейда, Ницше, Гумилева, Ходасевича, Розанова, Бердяева...

— И при этом испытывал наслаждение ослушника и еретика, сопровождаемое, впрочем, горьким чувством хронического греха, постоянным сознанием неизбывной вины, социальной ущербности. Быть изгоем — невеликая радость. Так и осталось во мне это смешанное чувство. И даже потом, когда времена изменились, когда то, что было нельзя, стало можно, и то, что считалось плохим, стало считаться хорошим, — даже тогда ощущение собственной ненормальности и неизбывной греховности меня не оставляло.

В старом Китае девочек с раннего возраста заставляли носить тесную обувь — чтобы ножка навеки сохраняла миниатюрное изящество. Наши души с рождения тоже были втиснуты в тесные колодки — и попробуй теперь распрямись!

Ни о чем не жалею.

Ничего не желаю.

От стыда не алею,

От любви не пылаю...

«...ГДЕ, В КАКОЙ СРЕДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ ЭТОТ МОРАЛЬНЫЙ УРОД ?!»

...Я лежал и ждал терпеливо, как рыбак ждет клева, ждал хоть слабого намека на воспоминание, и хватался за кончик светящейся нити, запутанной в клубок, и тянул, и разматывал, мучительно и надсадно стараясь восстановить прошлое, но ничего не видел, кроме густого душного мрака, кроме желтого промелька наискосок — что это? желтая аллея? ага! вспомнил! по желтой аллее, по желтой аллее... а сквозь дырявую листву ага вспомнил прорывалось солнце а с тополей вспомнил вспомнил летел белый пух и лез в рот в нос в уши а она смеялась и убегала от меня по желтой аллее туда нет еще ага вспомнил вспомнил тонкие руки с гладкой кожей а ее волосы пахнут калеными орешками ага вспомнил ямка над ключицей круглое плечо ага вспомнил это нежная ее грудь это нежно твердеющие соски под моими пальцами вспомнил вспомнил но где же она сама?!

Вот ведь только что — рядом стояла. На железнодорожном вокзале, в душном зале ожидания. Куда же она пропала?

Кинулся к двери — перед глазами: «Нет выхода».

Отшатнулся. Прислонился к толстой белой колонне. И долго, не мигая, смотрел на черную безнадежную надпись: «Нет выхода».

Кинулся прочь от этой двери. Бежал по сумрачным коридорам, подземным переходам, грязным заплыванным лабиринтам — и всюду наткнулся на одно и то же:

— Нет выхода!

Наконец с толпой пассажиров из только что прибывшего поезда вырвался наружу, на привокзальную площадь. И увидел на черном беззвездном небе грозно сверкающие гигантские буквы:

НЕТ ВЫХОДА!..

САЙГОНСКИЕ МАРИОНЕТКИ У КРАЯ ПРОПАСТИ

РАСПОЯСАВШИЙСЯ ДИПЛОМАТ

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ

НА ОКОЛОЛУННУЮ ОРБИТУ ВЫВЕДЕНА СОВЕТСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-10». МИР ВОСХИЩЕН ПОБЕДОЙ СОВЕТСКОЙ НАУКИ!

ЦЕЛИ ЯСНЫ, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕННЫ. ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ! (Бурные, продолжительные, долго не смолкающие аплодисменты.)

— Так, значит, мы с вами коллеги? — улыбнулся мужчина в белом халате. — И сколько лет вы проработали врачом-психиатром?

— Не помню.

— А что вас потянуло именно в психиатрию?

— Это было так давно... так давно... Возможно, я просто прятался в психиатрию от реального мира, где не мог напечатать свои рассказы?..

«...Злопыхатели озабочены лишь одним: изобразить душевнобольного человека таким „борцом за идею“. В действительности же речь идет о лицах, совершивших общественно опасные действия в состоянии невменяемости или заболевших в период следствия, суда или после вынесения приговора душевной болезнью...»

УРОЖАЙНАЯ ВАХТА

«КОСМОС-17» В ПОЛЕТЕ

ЖАН ПОЛЬ САРТР: ПИСАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ, ЗА КРУГЛЫЙ СТОЛ!

ОНИ ЖИВУТ В ТРУЩОБАХ

ПОСМЕРТНАЯ РОЛЬ МЭРИЛИН МОНРО

«...Литература и искусство в нашей стране не могут развиваться без руля и без ветрил, — сказал в своем докладе товарищ Ильичев Л. Ф. — И мы благодарны ленинскому ЦК и лично Никите Сергеевичу Хрущеву за то, что ими своевременно поставлен вопрос перед работниками литературы и искусства о чувстве настоящей ответственности за свою работу...»

— А вы наукой не пробовали никогда заняться? — спросил человек в белом халате.

— Какой наукой?

— Ну, вы же были врачом... Не пытались, как многие, поступить в аспирантуру? Кандидатскую написать, а?

— Как же... пытался. Собирал материал. Особенно поначалу, когда еще жил в деревне.

— Ну и?..

— Тема оказалась запретной. Я, видите ли, хотел написать о самоубийцах. Меня это всегда очень интересовало.

— А-а. Да, эта тема, конечно, у нас была закрыта...

— А я не знал. Множество случаев описал, привел выписки из историй болезней, провел статистический анализ, попытки прогнозирования... И все зря. Только сунулся со статьей в журнал — оказалось: табу.

— Понятно. А другую тему взять не пробовали?

— Зачем?

— Значит, отказались от науки?

— Не только от науки. Я и от литературы несколько раз отказывался. Там ведь запретных тем куда больше...

— Было. Сейчас времена вроде бы изменились.

— А какие сейчас времена?

— Шутите? Ну, какой хоть год нынче — помните?

— Нет, не помню.

— А перестройку — помните?

— Пере — что? А-а... немного припоминаю... что-то такое хорошее и приятное...

— Да-а. Вам еще надо лечиться, голубчик.

— Как прикажете.

— Крепко же вас долбануло!

— А разве только меня?

— Ну, не меня же.

— А мне кажется, все мы попали под эту машину...

— Под какую машину? Вы, голубчик, слишком уж любите навязчивые аллегории... Впрочем, понятно — ведь вы писатель... сочинитель!

Золотые студенческие годы, золотые шестидесятые... а такие ль вы были уж золотые? Почему-то вдруг вспомнилась пьяная вечеринка после получения диплома: застолье в общаге, массовая эйфория, атмосфера триумфа, праздника... А я вдруг — неожиданно даже для себя! — швырнул на стол свой свеженький диплом и воскликнул: «Зачем?!» — и все стали надо мной потешаться, а я все повторял, повторял с пьяным упорством лишь одно это слово: «Зачем? Зачем? Зачем?!.»

Помню, на пятом курсе, когда меня за пропуски лекций лишили стипендии и я вынужден был подрабатывать сторожем на острове Отдыха (караулил там склад спортивного инвентаря), была у меня сторожевая собака. Правда, очень уж бестолковая: лаяла без нужды, спать не давала, будила меня по ночам. Я долго не мог понять: чего она лает? Однажды среди ночи, когда глупая псина разбудила меня своей брехней, я вышел из сторожки, прислушался — и наконец-то понял: она переключается с собственным эхом! Лает, лает — а эхо ей отвечает, и она снова лает, и так без конца. Бедная, глупая псина — совсем спятила от одиночества.

Не так ли вот и сам я сейчас — переключаюсь с собственным эхом? Мне лишь кажется, что кто-то мне откликается издалека, кто-то мне отвечает, и кто-то спорит, а кто-то поддерживает... Но скорее всего, эти пестрые голоса — лишь иллюзорные отголоски, отзвуки собственного бормотания, осколки моего эха...

Я таскал за собой свое одиночество, как улитка таскает раковину.

СТРАННАЯ ПРАВДА РОЖЕ ГАРОДИ
САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ИЛИ САМОВЫРАЖЕНИЕ ПЕТЕРА ВАЙСА?
ПОЧЕМУ АЛЕКСАНДР ДУБЧЕК БЫЛ ИСКЛЮЧЕН ИЗ РЯДОВ КПЧ?
ЗА ЧТО «ВЕЛЬТ» ХВАЛИТ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ?
ГЕНРИ МИЛЛЕР – РАСТЛИТЕЛЬ ДУШ
КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЛАСОВЦА

...А сегодня мне приснилось, что я пришел к тебе домой — как говорится, просить руки. Сколько можно тянуть резину? Не маленькие, пора и о семейной жизни подумать. Вот и пришел, вот и объяснился, вот и сделал тебе предложение.

Ты запрыгала от радости, захлопала в ладоши, стала всех созывать: маму, папу, дядю.

— Мамочка! Папочка! Дядечка! — кричала ты. — Он меня любит, любит! И мы с ним поженимся!

Папа сказал, откладывая газету:

— Рад за вас, очень рад.

Мама сказала, всхлипывая:

— Будьте счастливы. Берегите ее, мою глупышку.

Я сказал:

— Да, конечно...

А дядя взлетел вверх, сел на люстру, раскинул перламутровые крылья — и громко крикнул:

— Дур-р-рак!!!

Постепенно я понял, понял: люди сгорают от любопытства. От любопытства — не от любви.

Вот и наша любовь очень скоро приобрела привкус горечи и хронического обмана. Но страшнее всего — скука, скука...

Женщины — совсем иные существа... быть может, они марсиане, пришельцы из космоса?

Гармония невозможна. Гармония вообразима лишь в искусстве — но сколько же можно путать искусство с жизнью?

Человек — это звучит горько.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ШУМИХОЙ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА?
ТЫ КРИТИКУЕШЬ? В СУМАСШЕДШИЙ ДОМ! (Корреспонденция из Рима.)
ПРОВОКАЦИОННАЯ АКЦИЯ
НЕДОСТОЙНАЯ ИГРА
ПО КАКОЙ РОССИИ ПЛАЧЕТ СОЛЖЕНИЦЫН?

— Мне страшно! — кричал больной. — Я боюсь выходить на улицу! Там машины, трамваи, троллейбусы... я их жутко боюсь! Это железные дикие звери, обожравшиеся бензином... железные людоеды!

— Что ж... Боишься — не выходи. Сиди дома. А еще лучше — у нас, в палате, под хорошим присмотром.

— Мне страшно, доктор... Жить вообще — страшно!

Всем помогу, всех успокою. Добрый доктор Айболит.

Доброта — броня. Доброта помогает мне сохранить внутреннюю свободу. Я добр — и я сам по себе. Я добр — и оставьте меня в покое. Я добр — и провалитесь вы все к чертовой матери!..

Ловля читателя — как рыбная ловля. Читатель должен клюнуть на сюжетную приманку — и заглотить смысловой крючок.

И поменьше словесного флера, лирического тумана. И не стоит винить в своих бедах других. Особенно — винить время... ведь время — фикция! Я прекрасно же понимаю: я сам во всем виноват.

Никогда ни к чему я не относился всерьез. Все вокруг казалось мне поводом для пародии, для насмешки. «Есть вещи, над которыми нельзя смеяться?» Врете! Нету таких вещей! Тем более что от смеха никто никогда не умирал...

Я не жил никогда, я лишь играл в жизнь. В детстве — помню — играл в председателя совета отряда, в старосту класса, позднее — в комсорга группы, в председателя местного комитета... Удивительно, как я еще не попал в номенклатуру? Впрочем, ничего удивительного: я ведь так и не отважился вступить в партию... Играл в психиатра, в заведующего отделением, в начмеда, потом играл в мужа, в отца своих детей (а вот как их зовут — забыл), играл в любящего сына, играю в пи-са-те-ля, играю в гражданина своего Отечества...

Если хочешь быть свободным — будь, как все. Не выделяйся — и останешься невидимкой. Ведь главное — это внутренняя свобода, не так ли? О, лукавый самообман.

Вот если бы жив был отец... Быть может, в этом одна из главных причин бесхребетности моего поколения — безотцовщина?

Оправданий — тьма.

Вся наша жизнь — оправдание для неудачника.

Только бездельник может считать себя нравственно безупречным. Вот в чем суть нашей вечной обломовщины. Не случайно же в слово «бизнес» многие продолжают вкладывать только отрицательный смысл.

«Самая читающая в мире страна»... Нашли чем гордиться! Самая ленивая в мире страна, потому и самая читающая. Читать-то легче, чем вкалывать до упора. И вообще — читать интереснее, чем жить.

А еще нам всем было очень приятно осознавать себя гражданами ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ. Ведь это так лестно. Палец о палец не ударяли — и оставались гражданами ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ. Самый последний бич, самая зачуханная шлюха вокзальная, самый засранный алкаш — все они тоже постоянно чувствовали себя гражданами ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ. И я — к чему скрывать? — тоже частенько ловил этот общедоступный кайф.

ЛЖЕЦЫ И ФАРИСЕИ

МЕМУАРЫ САДАТА — УДАР ПО СОВЕТСКО-ЕГИПЕТСКОЙ ДРУЖБЕ

С КЛЮШКАМИ НАПЕРЕВЕС

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА «ЕВРОКОММУНИЗМОМ»?

ГОРМОН УДОВОЛЬСТВИЯ ВЗАМЕН СЧАСТЬЯ? БЛЕСК И НИЩЕТА САЛЬВАДОРА ДАЛИ

В один прекрасный день я твердо решил: все! хватит! хватит писать о себе. Хватит вариться в собственном соку. С завтрашнего утра начинаю писать о других. От третьего лица.

Чужая душа потемки — но я ведь, как кошка, вижу и в темноте.

Вот я вышел на улицу, вот я прогуливаюсь, присматриваюсь, прислушиваюсь, принохиваюсь, проникаю в чужие души — и тут же фиксирую: ага! — вот этот хорошенький мальчик вчера утопил собаку в проруби, а вот эта десятиклассница идет в гостиничный номер, где ее дожидается страстный базарный торговец, прилетевший из Баку; а вот эта аккуратненькая бабуся ежедневно на кухне в своей коммунальной квартире ворует мясо из чужих щей; а вот этот кудрявый юноша со скрипкой готов убить своего лучшего друга за то, что тот талантливее его; а вот этот очкастый с портфелем... да это же мой коллега! наш известный писатель, милейший человек... но куда это он направляется?.. что ему делать в этом серьезнейшем учреждении на улице Дзержинского?.. и что это за папочка у него под мышкой?.. и что у него на уме?!

ЖИВУЩИЙ В МЮНХЕНЕ АВСТРИЕЦ КОНРАД ЛОРЕНЦ, «ДОКАЗАВШИЙ», ЧТО ЧЕЛОВЕК ПО ПРИРОДЕ СВОЕЙ БУДТО БЫ НЕ СОЗДАН ДЛЯ ВНУТРЕННЕ СОЛИДАРНОГО, СВОБОДНОГО ОТ АГРЕССИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, БЫЛ ДАЖЕ ОТМЕЧЕН НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ...

Нет, никто нас, прозаиков и поэтов, не заставлял писать под диктовку — сами старались отличиться. Внешне все было вполне пристойно, по сути же — сплошное бесстыдство. Мясорубка работала безостановочно. Подавляющее большинство «мастеров культуры» превратилось в фарш... какая уж там творческая индивидуальность! И лишь считанные единицы становились костью поперек горла — и мясорубка скрежетала и ненадолго притормаживала свой вечный ход. Стоп, машина.

Стоп, машина времени.

...А теперь ответь по возможности честно: кто же ты сам? Кость в горле? Или кучка фарша?

А что? Сработала, значит, проворная мясорубка — и ты уже фарш, и вот уже на издательской сковородке шкворчит горячая котлета — твоя первая книжка. Ах, счастье какое.

И жизнь продолжается.

И вот уж какой-то румяный мальчик ко мне обращается за советом: гляньте, пожалуйста, мой рассказец. И я читаю, даю советы, цитирую Чехова и Моэма. И мне не стыдно.

Думаю одно. Говорю другое. Пишу третье. Предлагаю четвертое. Требуют пятое. Пишу шестое. Исправляют на седьмое. Добавляю восьмое. Печатают девятое... хоть и редко, но ведь печатают же!

О Боже мой, Боже... как мог я так жить?

А разве можно было иначе?

Что вы так смотрите на меня, доктор? Чем я лучше других? Не лучше, не хуже. Круговая порука. Правила игры. «Черно с белым не берите, „да“ и „нет“ не говорите...

Вы поедете на бал?» Поеду, поеду! Обязательно поеду! Хотя на запятках господской кареты — а уж помчусь! Так хочется на бал!.. Приезжаю, значит, на бал — а там все свои... здра-а-асьте... Дружный, тесно спаянный коллектив. О, фарш единомудушный...

КАМПУЧИЯ СБРАСЫВАЕТ ОКОВЫ ПОЛ ПОТА
ГАРСИА МАРКЕС: Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ЛИТЕРАТУРЕ
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПАДЕТ РЕЖИМ ПИНОЧЕТА
ШПИОН С БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТОМ

Вдруг я понял: жизнь проходит, проносится мимо, а я — неподвижен. Ничего не успел, не смог, не сумел.

Бег на месте — вот моя жизнь.

Бег на месте, за двумя зайцами — это совсем уж двойная бессмыслица. Или так — бег в мешке. Выбирайте образ по вкусу.

Нет-нет-нет. Никого не виню. Сам во всем виноват, и не только перед самим собой.

О, родина моя. Строгая моя родина. Не уйти, не вырваться из душных твоих объятий. Вот уж трудно идти, ноги вязнут, почти невозможно сдвинуться с места, как во сне, и нет сил... да и незачем. И я сдаюсь, останавливаюсь и погружаюсь все глубже в родную трясиину. И вот уж я весь, почти весь погружен в болото, вот и сердце мое охвачено клейкой ледяной протоплазмой... о, родина моя!.. вот и рот мой заклеплен болотной гущей... одни лишь глаза — перепуганные глаза таращу я в белое небо.

Родина моя, серьезная моя родина, не признающая шуток и шутников, мой родимый край — бескрайний и беспощадный!.. Я твой, никуда я не денусь, никому я не нужен, и тебе я не нужен, но я без тебя не смогу, и нет сил вырваться из твоих душных ленивых объятий. Я твой раб, крепостной, я твой блудный сын, я твой бедный родственник. Седьмая вода на киселе. Не ругай, не гони, моя родина, будешь гнать — сам вернусь, приползу, упаду, скорчусь под твоими справедливыми пинками, поцелую твой тяжкий сапог и, жалобно скуля, свернусь приبلудным щенком у твоего порога, грязным ковриком для вытирания хозяйских ног...

— Ну-у, дорогой товарищ... Знаете, как это называется?

— Знаю, доктор. Мазохизм. Эксгибиционизм. Маразм.

— Ну, пошел, поехал... Не такой уж вы несчастный, каким хотите казаться. Два диплома, автор дюжины книг, прекрасная квартира, верная жена, здоровые умные дети... И вам не стыдно?

— Очень стыдно, доктор. Особенно стыдно бывает, когда кто-нибудь из читателей вдруг обращается за советом: как жить, что делать, кто виноват... А я ведь сам ничего, абсолютно ничего не понимаю! Я даже в самом себе разобраться путем не могу... Вот сегодня утром смотрел на себя в зеркало — и не мог понять: кто это? кто за личность такая отвратная?

МОСКВА ПРОЩАЕТСЯ С БРЕЖНЕВЫМ
РОДИНА СКОРБИТ
«НЕТ» ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ!
СИОНИЗМ — УДАРНЫЙ ОТРЯД ИМПЕРИАЛИЗМА
РОБОТ-УБИЙЦА НА СЛУЖБЕ ПЕНТАГОНА

— Отец, отец, зачем ты нас оставил? — бормотал больной старик-ветеран, обращаясь к портрету любимого вождя, вырезанному из журнала «Огонек» сорокалетней

давности. — Неужели все зря? Неужели мы зря надрывались и проливали кровь? Неужто гнилая вонючая либеральная плесень покроеет грандиозное здание, возведенное нашими руками по твоему проекту? Неужто все рухнет?! Отец, умоляю — не допусти!

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?
НИ СЛОВА О ВОДКЕ!
ПЕРЕСТРОЙКА И ГЛАСНОСТЬ — НА УСТАХ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ — ДЛЯ ВСЕГО МИРА

...А вы знаете, доктор, я даже рад, что почти ничего не помню.

Кто это? Моя жена? Очень приятно, мадам, добрый вечер. Извините, но я вас впервые вижу. А кто эти славные молодые люди? Ах, мои сыновья! Надо же, какой сюрприз. Нет, я не шучу, мне и впрямь очень приятно... И чувствую я себя прекрасно. И аппетит замечательный — быка бы съел. И голова ну ни капельки не болит.

Но, доктор... вы мне вот что скажите: ЗАЧЕМ Я РОДИЛСЯ НА ЭТОТ НЕ ОЧЕНЬ-ТО БЕЛЫЙ СВЕТ?..

— Хватит, хватит вам дурью маяться! — раздраженно воскликнул доктор. — И не надо тут корчить из себя симулянта — ваша память давно уж восстановилась... Коротче! Все! Завтра я вас выписываю!

Но я не стал дожидаться завтрашнего утра.

В ту же ночь я сбежал из больницы. И домой возвращаться не стал. И я очень надеюсь остаток своих дней провести в покое и одиночестве. Не спрашивайте, где я сейчас нахожусь — все равно не отвечу.

КОМСОРГ ДУРДОМА **Исправление прошлого**

...Мы в ответе за тех, кого недолечили...

Каждое утро, направляясь на службу в родную газету, встречаю знакомые лица бывших своих пациентов, спешащих на очередной прием к психиатру.

Ничего удивительного — недалеко от моего дома, на берегу Енисея, располагается краевой психоневрологический диспансер, куда и торопятся не долеченные мною больные... Прошло более тридцати лет, как расстался я с медициной, но каждая такая встреча служит мне живым укором. И встречаю я их повсюду — среди бомжей и пенсионеров, литераторов и актеров, бизнесменов и даже политиков. Кстати, политика — самая заразная и трудноизлечимая болезнь, которой в последнее время захворали многие, даже очень далекие от политики люди.

Вон, к примеру, в мусорном баке роется мой бывший одноклассник Леня Сидоров — типичный бомж, небритый, грязный, в каких-то вонючих обносках, а ведь в школе он был отличником, потом стал талантливым авиаконструктором, лауреатом какой-то премии. И все рухнуло в один прекрасный день, когда Леню бросила жена. Разлюбила

такого умницу и красавца. Он впал в глубокую депрессию, дважды пытался покончить с собой (мне лично приходилось вынимать его из петли!), опустился, бросил работу, свел в могилу несчастную матушку, потерял квартиру, которую выманили у него аферисты — и теперь ночует по чердакам и подвалам, собирает пустые бутылки и регулярно устраивает во дворе для таких же бомжей политинформации — читает им вслух газеты. И во всех своих и общероссийских бедах Леня винит, конечно же, коварную Америку... А ведь Америка тут ни при чем — во всем я виноват, я, я, я, который недолечил в свое время его и многих прочих.

Ну а это гордо вышагивает только что выскочивший из «мерседеса» и направляющийся к «серому дому» другой мой бывший пациент Альберт Пущенко, депутат краевого парламента от компартии, тоже яростный патриот. Он давно уж забыл дорогу к психиатру, считает себя здоровее всех врачей мира, а когда-то — я помню, я помню! — лечил я его от белой горячки. И ведь вылечил, и не только от горячки вылечил, но и провел ему курс противопоалкогольной терапии с использованием гипноза — и Альберт навсегда избавился от алкогольной зависимости, больше в рот ни капли не брал спиртного. Но лучше б я этого не делал! Лучше бы он продолжал пить по-черному, чем заниматься политикой! Я давно заметил, что у многих бывших пьяниц, оказавшихся в полной завязке, катастрофически едет крыша. Вот и Альберт — перестав пить, он, неплохой журналист, увлекся политикой, учредил патриотическую газету, где, разумеется, стал главным редактором, а потом его выбрали депутатом, и вот тут он окончательно сошел с ума. Если выразаться чисто по-медицински, ему можно поставить диагноз: паранойальное развитие личности в стадии декомпенсации. Обострение, как и у многих, у него наступило после воссоединения Крыма с Россией. Альберт выступал на митингах, размахивал красным флагом, клеймил украинских нацистов и американских империалистов, призывал немедленно послать из Кырска в Донбасс батальон добровольцев. Правда, сам записываться в этот батальон не спешил, предпочитая роль дистанционного командира. Что ж, прости и ты меня, Альберт, за то, что я тебя недолечил...

На тех же митингах у памятника Ленину частенько встречаю Жору Кормилицына, вечного диссидента, которому я когда-то заменил уколы аминазина на таблетки — и зря это сделал, потому что таблетки Жора прятал за щекой, а потом выплевывал. Он так и остался невылеченным и до сих пор шатается по митингам, сражается за свободу и демократию, борется с ненавистным режимом Путина, дерется с коммунистами, называет себя «теньвым губернатором», создателем Сибирской демократической партии, произносит пламенные речи: «Руки прочь от независимой Украины! За европейские ценности! За вашу и нашу свободу!..»

Обычно его забирают в кутузку, а потом отпускают.

А вон из-за угла вышла еще одна моя бывшая пациентка — Раиса Кудрявцева, известная кырская поэтесса, тоже свихнувшаяся на политической почве. Прошла мимо меня, насупив брови, будто и не узнала, и не заметила. Ну да я не в обиде. Когда-то помог я ей выйти из реактивной депрессии на почве несчастной любви, но, видимо, не закрепил медикаментозный эффект психотерапевтическим внушением — и вот Раиса окончательно сошла с ума, на нее обрушились слуховые галлюцинации (в основном она слышит со всех сторон ненавистный «Голос Америки»!) — и недавно ее увезли на «скорой помощи» прямо с выступления в краевой библиотеке, где она вы-

крикивала со сцены патриотические лозунги и призывала немедленно сбросить на Америку ядерную бомбу. Спустя несколько дней ее выписали из психбольницы, но назначили длительное амбулаторное лечение. И вот она идет, постукивая каблучками и гордо подняв голову, к своему участковому психиатру... А ведь это я, я должен был ее долечивать! Это был мой профессиональный долг, от выполнения которого я уклонился! Хотя когда-то давал клятву Гиппократа...

А вот еще один представитель писательской братии — прозаик Леша Скворцов — безвольная жертва Интернета, заблудившийся в сети, круглосуточный обитатель фейсбука и всяческих сайтов и блогов... Заметив меня, перебежал на другую сторону улицы — и мелким шагком устремился туда же, туда же, в психдиспансер, за очередной порцией транквилизаторов и психотерапевтической лапши на свои заячьи уши. Как и у многих, как и у сотен тысяч, как и у миллионов наших сограждан — у него тоже поехала крыша от бесконечного участия во всевозможных интернетских форумах, где царят вечная перебранка, виртуальное хамство, и никто не фильтрует базар, и где Леша не раз уже зарабатывал неприятности на свою нежную толерантную шею. То его побьют в подворотне, то взыщут через суд сто тысяч рэ за клевету, то в том же Интернете обзовут всяческими нехорошими словами. Ему бы задуматься, притормозить, а Леше все нейдет — и вот схлопотал бессонницу, тремор рук и чрезмерную потливость, мешающую общаться с прекрасным полом... А ведь я его предупреждал! Значит — плохо предупреждал... неубедительно...

А уж сколько таких не долеченных мною моих пациентов приходит ко мне в редакцию газеты, где я сейчас работаю... Шизофреник Миша Лошак с развевающей рыжей бородой — обычно в дни очередного обострения он появляется на пороге моего кабинета с диким воплем: «Ну что, враг народа?! Пришел час расплаты!..» Спасибо моим коллегам, которые оттаскивают его от меня и вызывают «скорую помощь». А ведь когда-то лечил я его и шокowym инсулином, и электросудорожной терапией, и чем только не лечил... Значит, плохо лечил. Mea culpa... Моя вина...

Частенько вижу на телевизионном экране одного из заместителей губернатора (уж не буду называть его имени), которого много лет назад я лечил гипнозом от ночного недержания мочи. Он тогда был совсем мальчишкой, отставал в умственном развитии от сверстников, но, похоже, потом наверстал упущенное и даже преуспел в разных науках. Боюсь, что он — один из немногих моих пациентов, кого я все-таки сумел вылечить. Во всяком случае, его безумие в глаза не бросается. Хотя кто его знает... Будущее покажет.

Или тот же эпилептик Гарик Сазонов — сейчас он дряхлый старик, ветеран труда, заслуженный строитель России... Однажды во время очередного визита ко мне в газету, прямо в коридоре редакции, с ним приключился эпилептический припадок: Гарик упал с пронзительным воплем, его жутко трясло, изо рта шла кровавая пена (вероятно, он прикусил язык), а когда наконец приехала «скорая помощь», Гарик долго сопротивлялся санитарам и визжал: «Не дамся! Фашисты! Звери!.. А ты, — тыкал пальцем он в мою сторону, — ты самый главный преступник!..»

А я и не спорил. Я знал, что он прав.

Недавно меня прямо на улице остановил еще один бывший мой пациент — Слава Вайс, который лет сорок назад лечился по поводу маниакально-депрессивного психо-

за. Но сейчас мне кажется, что я тогда ошибся в диагнозе. «Ну что, доктор, — вкрадчиво заговорил он, хватая меня за ворот, пугая прохожих и сверкая голубыми глазами, — не удалось вам от меня скрыться? Только не притворяйтесь, что не понимаете, в чем дело! Товарищи! Господа! Граждане! Перед вами — резидент американской разведки! У меня есть неоспоримые доказательства! Этот человек в течение многих лет создавал в нашем городе разветвленную сеть агентов — и сейчас в каждом учреждении, в каждом офисе, даже в краевой администрации сидят его агенты, враги нашего государства! Сотни осведомителей-стукачей на него работают! Он им платит валютой — долларами и евро! Проверьте его карманы — они набиты валютой! Он хочет купить нас всех! Много лет назад он пытался купить и мое молчание, но это ему не удалось! Держите его! Держите!»

Подоспевшие полицейские задержали нас обоих. И вскоре Слава Вайс вновь оказался в родной психбольнице, а я отделался легким нервным расстройством. «Извините за беспокойство, — сказал, отпуская меня, капитан полиции. — Вы ни в чем не виноваты».

Он ошибался. Я был виноват во всем.

Я виноват абсолютно во всем, что происходит вокруг, с другими, с моей страной, я виноват и в том, что происходило со мной на протяжении всей моей жизни.

Я виноват в том, что родился и до сих пор живу.

Я виноват в том, что не слушался мою маму, когда она мне настоятельно советовала не увлекаться «писаниной».

Я виноват в том, что был плохим пионером и никогда не относился всерьез к тому, что поручала мне наша пионервожатая.

Я виноват в том, что долго не хотел вступать в комсомол, и сделал это лишь тогда, когда наша классная руководительница Майя Ильинична предупредила меня незадолго до выпускных экзаменов, чтобы я даже не мечтал о вузе, если срочно не вступлю в комсомол. И тогда я помчался в райком комсомола — и меня приняли без волокиты. И я сдал на пятерки вступительные экзамены в медицинский институт — и стал учиться на врача.

В институте я надолго забыл про комсомол, но когда после окончания вуза и распределения оказался в деревне, в краевой психоневрологической больнице, комсомол о себе напомнил: меня выбрали секретарем комсомольской организации. Так я стал комсоргом дурдома.

В моем прямом подчинении оказались два пьющих врача, один запойный фельдшер и несколько слегка выпивающих медсестер и санитарок — целый гарем цветущих сибирских красавиц. Иногда я давал им комсомольские поручения: сбегать в магазин за водкой, или поджарить картошки, ну, или еще чего-нибудь такого. Но я очень халатно относился к повышению нравственно-политического уровня личного состава нашей комсомольской организации, даже членские взносы собирал нерегулярно, а комсомольские собрания за три года провел только дважды. Второе (и последнее) собрание я провел накануне своего отъезда из деревни. В тот вечер весь личный состав ужасно напился. Женский контингент провожал меня народными сибирскими песнями, солеными слезами и сладкими поцелуями.

Больше я никогда в жизни никем не руководил, из комсомола был вскоре отчислен по возрасту, в партию не вступал, хотя братья-писатели настойчиво уговаривали... Особенно старался один престарелый поэт-либерал с многолетним партийным стажем, который частенько нашептывал мне за рюмкой портвейна: «Старик, ты не пони-

маешь!.. Все хорошие люди должны вступить в партию, чтобы развалить ее изнутри!..» Но по причине природной лени, робости и некоторой брезгливости мне не хотелось ничего разваливать, ни изнутри, ни снаружи. И я так и не вступил в партию... Но я вовсе не горжусь этим! Потому что, если бы я в нее вступил, я бы смог благотворно влиять на своих партийных товарищей, смог бы оказывать на них умиротворяющее, суггестивно-седативное, психотерапевтическое воздействие... А я — уклонился. И не горжусь этим!

Особенно же я не горжусь тем, что так и недолечил своих недолеченных пациентов. И вот теперь, на склоне лет, пожинаю плоды своего халатного отношения к врачевным обязанностям.

...А вчера меня пригласили на телестудию Тринадцатого канала для участия в передаче «Злоба дня».

— Вот вы — уважаемый писатель и журналист, — начал, обращаясь ко мне, ведущий. — Что вы можете сказать телезрителям о нынешней ситуации в мире и в России?

— Прежде всего хочу напомнить, что я не только литератор и журналист, но и бывший психиатр, — заметил я с присущей мне скромностью. — А психиатры, как и чекисты, бывшими не бывают... Так что на ваш вопрос я отвечу как психиатр: всем нам надо хорошенько лечиться! Лечиться, лечиться и еще раз лечиться! Это — главное! Мы совсем запустили свое душевное здоровье! Я бы мог посоветовать нашим федеральным, краевым и городским властям следующее: над каждым городом, над каждым населенным пунктом бескрайней России должны регулярно летать самолеты МЧС и поливать сверху аэрозольными смесями из нейролептиков. Лучше всего это делать еженедельно, по понедельникам, пусть именно этот день недели станет Днем душевного здоровья! Но... я, конечно же, понимаю, что эта моя идея не найдет отклика в широких народных массах и во властных структурах, хотя иногда мне кажется, что подобным манипуляциям нас всех давно уже подвергают... Впрочем — не уверен... не знаю! И поэтому хочу взять инициативу на себя. Да, прямо сейчас! — Я откашлялся. — Для начала предлагаю всем телезрителям поудобнее устроиться в своих креслах, расслабиться, закрыть глаза — и представить себя... ну хотя бы летящей чайкой... Да, да, вы — чайка, вы белая чайка, парящая над бескрайними просторами России... Вы спокойны, вы совершенно спокойны... Ваши руки тяжелые... ваши веки тяжелеют... ваши крылья неутомимы... Вы засыпаете... вы слышите только мой голос... Только мой голос вы слышите, черт бы вас всех побрал! Вот так... хорошо... прекрасно... Все будет хорошо, я вам обещаю... Постараемся же спокойно досмотреть это кино до конца, понимая, что режиссеры не очень вменяемы, а актеры не очень талантливы. Будем верить — а что нам еще остается? — в милосердие всеблагого и всемогущего Главврача, который где-то там, в небесах, пока дремлет, но скоро ведь Он проснется и пропишет нам всем спасительные пилюли. Ну а если не верите в Главврача, верьте в самих себя. Наше будущее зависит от нас... Когда проснетесь — повторяйте эти слова: «Все будет хорошо!» — и все само собой образуется. Все будет хорошо! Все будет хорошо! Все будет хорошо! Повторяйте эти слова три раза в день, после еды или вместо еды — и все будет хорошо. Ну, давайте же — повторяйте! Все будет хорошо! Аллес гут верден! Все будет вери вел! И це хэнь хао! Все будет мольто бэнэ!

Так за один сеанс я вылечил всю страну, всю планету. Я — гений! Я — комсорг всемирного дурдома!

...А кто исцелит меня?

Татьяна МИХАЛКОВА

МОЕ ДЕТСТВО

Сегодня мне семьдесят три, и уже с половины восьмого утра я принимаю телефонные поздравления. Я никуда не пошла, не стала заниматься уборкой и готовкой, а просто положила рядом мобильный и городской телефоны и исправно отвечаю на звонки. Они самые разные: звонят родные, соседи, коллеги и ученики мамы, друзья юности и зрелых лет, но, конечно, самые приятные звонки друзей детства, а такие друзья у меня еще есть.

Воейково. Предыстория

Детство мое прошло в поселке Воейково Всеволожского района Ленинградской области. Это бывшая деревня Сельцы, где до войны проживали русские, эстонцы, но в основном финны. После снятия блокады Ленинграда постановлением Правительства РФ здесь решено было возродить загородную базу Главной геофизической обсерватории (ГГО) (прежняя до войны находилась в Павловске — тогда Слуцке — и оказалась полностью разрушенной еще в начале немецкой оккупации в сентябре 1941 года). В Павловске мой дедушка по линии мамы, Николай Николаевич Калитин, работал директором Института актинометрии и атмосферной оптики.

В августе 1944 года дедушка, бабушка и моя будущая мама, которой тогда исполнилось только восемнадцать лет, вернулись из эвакуации (поселок Косулино Свердловской области), их привезли не в Ленинград (где семья Калитиных имела городскую квартиру), а прямо в Сельцы — требовалось как можно быстрее воссоздать подобие павловской системы наблюдений.

В домах, построенных военными еще до начала Великой Отечественной войны, Калитиным выделили казенную площадь, и дедушка представил проект нового Павильона актинометрии, строительство которого быстро превратило заштатную деревеньку в научный городок. Развивалась инфраструктура — в домах военных поселились бывшие сотрудники Павловской обсерватории, но большая часть построек приспособлялась под нужды геофизики и метеорологии. В 1949 году торжественно отмечался столетний юбилей Геофизической обсерватории, и Сельцы переименовали в Воей-

Татьяна Кирилловна Михалкова родилась в 1950 году в Ленинграде. Окончила в 1972 году филологический факультет ЛГУ (филолог-германист). Преподавала в Академии театрального искусства. Была редактором муниципальной газеты «Колтуши» Всеволожского района Ленинградской области. Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Член Союза художников России. Член-корреспондент Академии гуманитарных наук. Опубликовано пять книг прозы и две книги стихов. Печаталась в журнале «Санкт-Петербургский университет», в литературно-художественном журнале «Сфинкс», в сборниках «Стихам все возрасты покорны», «Свидетельства времени», в газетах «Литературный Петербург», «Литературная газета» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

ково в честь известного климатолога Александра Ивановича Воейкова. Он в Сельцы, правда, никогда не заезжал, умер за год до революции, да и делать там ему было совершенно нечего — повторюсь, что до 1944 года Сельцы оставались обычной деревней. Наименование поселка — дань уважения и признания заслуг Воейкова перед наукой.

Николай Николаевич Калитин приходил посмотреть, как строился по его проекту Павильон актинометрии, но до открытия здания не дожил — война и блокада сделали свое дело. Заслуженный деятель науки, почетный полярник, председатель Постоянной актинометрической комиссии (ПАК) Н. Н. Калитин умер в августе 1949 года. Павильон актинометрии начал работать четыре года спустя, в 1953-м. Ученого похоронили рядом с его строящимся детищем — могила существует и поныне и взята на федеральный учет.

Оля К.

После смерти дедушки моя мама вскоре вышла замуж, и в 1950 году родилась я. Бабушке в память о дедушке выделили в Воейкове участок для дачного дома, и вскоре образовался целый «куст» стандартных сборно-щитовых домов сотрудников обсерватории. Дети этих сотрудников и стали моими самыми ранними друзьями.

Деловитая, рассудительная Оля К. и ее старший брат Володя проживали с родителями и бабушкой по улице Северной, которую всю занимали обсерваторцы. Эта улица была чуть ли не единственная в поселке, которая имела в начале 60-х название. Правда, семья Оли жила не в деревянном щитовом доме, а в солидном каменном, двухэтажном. Володя увлекался футболом, а Оля — математикой. Впоследствии она стала студенткой матмеха ЛГУ. Математиком была и мама Оли, а папа работал в ГГО, возглавляя отдел атмосферного электричества. Эта дружная, крепкая семья завела на участке возле дома прекрасный сад и огород. Огородом занималась мама Оли, а папа увлекался цветоводством. Олю с детства приучали к обязанностям хозяйки, жены, матери, которые следовало обязательно совмещать с престижной работой, и именно так все и сложилось у нее в последующей жизни. Но когда мы были детьми, головы наши были еще не забиты амбициозными планами: мы играли.

ТМОК

Я и Оля образовали «тайное общество», оно называлось ТМОК — по первым буквам наших имен и фамилий. Конечно, у всех нас в городе имелись телефоны, но мы писали друг другу открытки, где намечали план действий. Что же нас волновало? Как выгуливать Олиного пса, которого звали Боб Карлыч. Как совершить по поселку пятиминутное дефиле на велосипедах. Что посадить на «своей» грядке весной. Что выращивала Оля, я не помню, я же придерживалась сугубо цветочного направления: росли махровый многолетний мак, душистый горошек и цветок с сакраментальным названием «разбитое сердце».

Но это было не главное. Главным являлась «художественная декламация». Я читала стихи, а Оля становилась за моей спиной и с помощью затейливых движений рук устраивала мимическое сопровождение излагаемому. Больше всего мы любили представлять стихи Сергея Михалкова «Про Бориску». «Ровно восемь раз подряд бьет уса-тый циферблат. Звонко плещет умывальник. Слышны робкие шаги. И тогда на коврике в спальне выползают две ноги. Это значит встал Бориска, а Бориске восемь лет...» Оля изображала, как бьет циферблат, как плещется умывальник, а также ноги Бори-

ски, вылезаящие на ковер. Мы очень гордились этим своим «эстрадным номером», ведь мы его придумали сами, и он казался нам совершенством.

Позже мы перешли к стихам «Про кота и про кита» Бориса Заходера — каждый читал по строчке и так до конца: «Вот что сказка говорит: жили-были кот и кит. Кот огромный, просто страшный, кит был маленький, домашний. Кит мяукал, кот пыхтел. Кит купаться не хотел, как огня воды боялся — кот над ним всегда смеялся...» С большим удовольствием Оля декламировала финал этой загадочной истории: «Кто-то против всяких правил в сказке буквы переставил: переправил „кит“ на „кот“, „кот“ на „кит“ — наоборот». Мы довольно долго «держали» наш союз ТМОК, и только в старших классах школы он распался естественным путем, так как изжил себя — беззаботные девчушки становились барышнями.

Наши игры. Чем кончилась для меня игра в бадминтон

Конечно, играли мы в основном летом. Играли в штандер, в лапту, «море волнуется», «я садовником родился», в «казаки-разбойники», в пятнашки, прятки. После экскурсии в городок Павлово (там Иван Петрович Павлов проводил эксперименты на собаках и обезьянах в 30-е годы и располагался филиал Института физиологии РАН) узнали, что на досуге Павлов любил играть в городки, и попытались организовать что-то подобное. Успеха затея не имела.

Записались в местный воейковский клуб обучаться игре в настольный теннис, но дело не пошло, зато новомодный бадминтон пришелся по душе. К сожалению, для меня игра в бадминтон кончилась плохо. Как-то раз мы играли «командами» — по парам, и моя напарница случайно заехала мне ракеткой по лицу. Получилось кровоизлияние глаза — он стал совершенно красным. Меня поместили в глазную больницу на Моховой улице. Ко времени моего приезда туда все отделение уже знало, что сейчас появится новая пациентка — контуженная (дети говорили «конфуженная»). Я росла домашним ребенком и впервые оказалась вне дома.

Больницу я переносила плохо, я совершенно не могла спать по ночам и написала маме записку с просьбой поскорее забрать меня оттуда. Мама мне ответила письмом, в котором возмущалась не моим поведением, а тем, что в короткой своей записке я умудрилась сделать четыре орфографических ошибки! Но верная моя подруга по ТМОК Оля К. приезжала навестить меня. Правда, ее не пустили. Но она смогла передать мне передачку и даже поговорить с моим лечащим врачом. Вскоре кровоизлияние рассосалось, зрение восстановилось до единицы, и я поехала домой.

Настольные игры. Блошки

Во времена моего детства особой популярностью пользовались настольные игры. Прекрасно помню, как играли в кегли с волчком, крокет, лото (мы называли его «бочоночки»). Я очень любила игру «в блошки». Вся игра размещалась в маленькой коричневой пластмассовой коробочке. «Блошки», внешне напоминавшие таблетки или конфеты драже, были четырех цветов: голубые, зеленые, желтые и красные. В каждом наборе по пять блошек и одна «бита». На столе расстилалось байковое одеяло, и игроки по очереди пытались забить блошку в коробочку, стоящую на равном расстоянии от каждого из играющих. Забивать следовало нажимая битой на одну из блошек. Если блошка попадала в коробочку, разрешался еще один ход. Блошку противника

можно было «съесть», наскочив на нее своей блошкой, тогда тоже разрешался дополнительный ход. Победителем считался тот, кто раньше забьет все свои блошки в коробочку, а проигравшим тот, у кого осталось незабитыми больше блошек, или тот, у кого больше блошек съели. Но мы редко «ели» блошки противника, мы были невредными и любили честную игру. Обычно играли двое или трое на нашей веранде за обеденным столом. На клеенку расстилалось тоненькое розовое байковое одеяло. Бабушка приносила нам оладьи с домашним вареньем, гостям чай, а мне парное «пятичасовое» молоко, которое я обязана была пить каждый день. Я не любила молоко, но вынужденно выпивала кружку — я боялась насмешек подруг-чаевниц и не капризничала.

Кегли и крокет

В плохую погоду (а во времена моего детства лето часто бывало дождливым и сырым) мы, девчонки, собирались у нас на веранде и играли, кроме блошек, еще во множество всяких настольных игр. Я любила «кегли» — маленькие, деревянные, резные, они расставлялись на клеенке как можно более причудливо. Игрок «запускал» волчок, тоже деревянный; кто собьет больше фигур, тот считался выигравшим. Случалось порой, что оставалась одна-единственная кегля, которую никак никто из игроков (а число играющих не ограничивалось) не смог сбить, в таком случае побеждал тот, кому это удавалось сделать. Если же кегли падали быстро и не всем игрокам пришлось поучаствовать в соревновании, запускался новый кон, который открывали не игравшие в предыдущем. Призы ждали тут же, в уголке стола, обычно это были ягоды, леденцы или домашняя выпечка. Спорные вопросы всегда решала моя бабушка, причем так, что все оставались довольны — обиженных не было: как ей это удавалось, не знаю. Почему мне так нравились кегли? Я с детства тяготела к гармонии и монохромности, а это присутствовало в данной игре с избытком.

Менее любимой, чем кегли, был у меня крокет. И я теперь понимаю почему: если в кеглях требовалось поражать, сбивать, то в крокете, наоборот, следовало провести шарик через «арку», не опрокинув и не задев ее, и затем забить в «футбольные» ворота. Арки и ворота были металлические, тоненькие, на «ножках»-подставках, молоточек деревянный, резной и достаточно тяжелый, шарики красные, белые, голубые — деревянные, полированные, величиной с незрелое яблоко-завязь. Эта игра комбинированного типа совмещала элементы бильярда, футбола и хоккея. Я не слишком хорошо играла в крокет, но любила расставлять воротца и вести учет удачным и неудачным ходам. Если в кегли интереснее было играть командами, то с крокетом вполне можно было заниматься одному.

Парные картинки

«Парные картинки» — детская разновидность карт. Игры с ними можно было придумывать самые разные, но с одним условием: найти своей картинке пару. В отличие от карт в «картинках» отсутствовало деление по старшинству («дама» покрывает «валета», а ее — «король», а того — «туз», так же и с цифрами). Что изображалось на «картинках»? Кукла, горн, барабан, галстук (пионерский!), мячик, волчок, иглолка с ниткой, карандаш, ручка — и еще многое другое. То есть направленность их являлась «дошкольно-пионерской». Игра эта нравилась всем — кому-то потому, что удерживала его еще в быстро пролетавшем детстве, кому-то (мальчишкам) в предчувствии юности, когда на кладбище дулись в карты, «запивая» их пивком с воблой.

Рыбки на магнит

Отлично помню еще одну настольную игру. Называлась она «Поймай рыбку». Она представляла собой картонное раскладное поле, изображавшее дно аквариума. На него ставилась «загородка» — стенки, но не прозрачные, на них присутствовала разнообразная морская и речная тематика. Игрок имел удочку, состоящую из палочки, веревочки и прикрепленного к ней на свободном конце магнита. В аквариум высыпались картонные рыбки с маленькими магнитиками. Играющий старался, не заглядывая внутрь аквариума, поймать рыбку.

Рыбки различались по ранжиру, каждая имела свои «очки». Некоторых было по две или по три. Но самые важные персоны — сом, осетр, форель, карп — в единственном числе. Для хохмы существовали и другие «трофеи» — рванный башмак, пустая консервная банка, порожняя бутылка. Вытащив нечто подобное, игрок терял все свои накопленные ранее очки. К тому же ему предстояло придумать историю про этот посторонний предмет: вообразить, какому человеку принадлежал ранее башмак, угадать содержимое консервной банки, «поместить» в бутылку письмо — послание. Позже мы стали придумывать истории и для пойманных рыбок: где они плавали, как их можно приготовить, сколько они стоят в магазине и на рынке, видели ли мы их в живой природе и т. п. Мне очень нравилась эта игра, может, потому, что для нее не требовалась компания — с возрастом я стала тяготеть к одиночеству. И это вполне объяснимо: мои родители были занятыми научными работниками и не всегда могли уделить мне время, на бабушке же был весь дом.

Моей любимой картонной рыбкой был сом. Самое удивительное, что сом стал впоследствии любимой рыбкой моего уже взрослого сына, тоже в аквариумном варианте, но только одушевленным. У меня же дома имелись и живые рыбки, но к этой истории мы вернемся немного позже. Вот так я и сидела на диване с удочкой и чувствовала себя хорошо и спокойно — эта игра, как ни одна другая, давала мне уверенность в собственных силах.

Калейдоскоп и мозаика

Времена меняются, появляются новые игры, но, наверное, никогда не уйдут из детства калейдоскоп и мозаика. Отлично помню свою мозаику и те «картины», которые я вместе с мамой из нее выкладывала. Она, конечно, не отличалась таким разнообразием представленных на образцах сюжетов, как современные мозаики, но на «подсказках» можно было видеть и зайца, и куклу, и птичку — все это предоставляли возможности мозаики. Кроме того, играющий имел возможность выбрать свой собственный сюжет.

Калейдоскоп являлся одной из моих любимых игр, и то, что он в конце концов разбился, стало для меня настоящей трагедией. Я долго хранила разноцветные стеклышки, из коих, увы, уже не складывались узоры. Вообще же, надо сказать, что другие мои настольные игры содержались очень аккуратно, и в том, что они «дошли» до детства моего сына в отличном состоянии, заслуга, конечно, опять же моей бабушки.

Головоломки, снежинки, бумажные куклы и бильбоке

Пазлов как таковых в моем детстве не было, но существовала их «предтеча», правда, очень скромная и малопопулярная.

Когда я стала постарше, кто-то из родственников подарил мне «головоломки». Они хранились в простой картонной коробочке, не очень большой. Состояли «головоломки» из пластмассовых колечек, металлической спирали и маленьких пластмассовых шариков, соединенных кожаными хомутиками. Головоломок было несколько, и каждая причудливо переплетена. Следовало распутать их, не повредив. С головоломками я потерпела неудачу — с логикой у меня явно были нелады. В результате игра эта «перешла» к папе, который быстро с ней справился.

Еще хочу сказать пару слов об играх, вырабатывающих усидчивость и терпение. Сейчас в детских садах очень популярны лепка и рисование цветными мелками. Цветные мелки были и в период моего детства, но считались особым раритетом, пластилин же — игра традиционная. Глядя на композиции, создаваемые моими внуками, я могу увидеть достойный пример эволюции — у нас было все скромнее. Помню коробочки с брикетиками пластилина — мрачных, скучных цветов — делать что-то из них не хотелось.

Зато как веселы были снежинки и салфеточки, которые предлагалось вырезать из белого тетрадного листа в клеточку! Графареты были собраны в специальной книге — я ее отлично помню; на синей обложке — белая снежинка. Игра эта была связана с ожиданием прихода Нового года, бумажными снежинками украшались окна, за которыми падали уже настоящие, живые снежинки. Сразу вспоминается «Щелкунчик», Мари Штальбаум в розовом кисейном платье и Дроссельмеер в черном плаще в исполнении Никиты Долгушина. Театр оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский) на зимние каникулы отдавался детям.

Вырезыванием снежинок занимались в основном девочки, но еще более «девчоночьей» была игра, которую я постараюсь описать сейчас. «Одень куклу» — так, кажется, она называлась. На листах плотной бумаги были нарисованы фигуры: девочки, мальчика, мамы, папы и ребенка. Все они — в трусиках и открытой майке (девочки) или без нее (мальчики). На листах бумаги потоньше изображалась различная одежда: например, для девочки — юбка и кофта, платье, сарафан, пальто, плащ, шубка, шапка, панамка, косынка. Обувь — сандалии, ботинки, сапоги, балетки и т. п. Следовало вырезать эту одежду и обувь вместе с пририсованными к ней защипами и закрепить на кукле. К бумажным куклам приклеивались специальные подставки, так что фигурки могли стоять вертикально.

С куклами я разыгрывала разные сценки. Например, «одевала» девочку и мальчика в школьную форму, «повязывала» пионерские галстуки, у них был сбор отряда, который проводил учитель, одетый в темно-синий костюм. В это время мама отводила малыша в детсад, где его переодевали в голубой комбинезон, а сама она надевала кокетливую шляпку и летнее платье и шла в поликлинику, где облачалась в белый халат: женщина работала участковым врачом. Игра эта на самом деле очень старая, в нее играли еще несколько веков назад, просто мода менялась с течением лет, но не менялась суть этой игры — она очень хорошо отражала свое время.

Помню, года четыре назад я готовила очерк об одной блокаднице, жившей неподалеку. В блокаду ей было пять лет. И она с энтузиазмом рассказывала мне, что, будучи целый день предоставлена самой себе, она с увлечением часами (!) играла в эту игру, заменявшую ей счастливые времена мирной жизни и сокращавшую долгую разлуку с мамой, служившей в ПВО.

Очень я любила игру бильбоке, думаю, еще более старую, чем ранее описанная. Бильбоке состояло из деревянной палочки, один конец которой был заострен, а к другому прикреплялась деревянная чашечка. Посередине палочки на относительно длинном канатике закреплялся шарик с дырочкой. Надо было либо «надеть» шарик на

острие палочки, либо «поймать» его в чашечку на другом конце палочки. Обе операции достигались путем подбрасывания шарика. «Улететь» он никуда не мог, так как был закреплён на веревочке. Эта игра развивала ловкость, глазомер, координацию движений. Первый вариант оказался мне совершенно недоступен, второй — порой удачен. Зато мой друг Никита (о котором я скажу ниже) был очень искусен в игре бильбоке, вызывая недоумение и зависть окружающих.

Маша и Мэри

На примере игр и игрушек можно проследить характер эпохи: они отражали политику. Приведу только один пример. Во времена моего детства очень популярна была песня «Дети разных народов». И они у меня были, эти «дети» — в виде пластмассовых маленьких кукол. Узбечка и таджик, эскимос и грузинка, испанец и француженка... Я хранила их в специальной коробке и, когда оставалась дома с мамой, чтобы ей не мешать, устраивалась на ковре на полу возле ее секретера и расставляла свое «воинство» парами.

Моей любимой парой были русская девочка Маша и негритяночка Мэри. Маша — в голубом сарафане с длинной русой косой; Мэри — в широкой короткой красной юбке и белой открытой кофточке с рукавами-фонариками. Было мне тогда лет пять. Я уже занималась английским языком в группе детей, чьи родители состояли членами Дома ученых, и пыталась «озвучить» роль Мэри на ее родном языке. Парой Маша — Мэри я протестовала против «холодной войны» и надеялась на советско-американскую дружбу.

Валя. Пупс

Когда я кому-то рассказываю, что у меня сохранилась дружба более чем шестидесятилетней давности, собеседники мои качают головой: разве такое возможно? Правда, ряды моих друзей детства постоянно и неуклонно редуют. Аня Ш. уже более двадцати лет проживает с семьей в Германии. Оля С. еще раньше уехала в Америку. Ляля С. и Аленка Л. умерли. Женя Р. и Наденька П. живут до сих пор в Воейкове, но мы лишь здороваемся при встрече. Прекрасная дружба связывает меня с другими детьми обсерваторцев — Леной Р. и Ирой Г., но она относится уже ко временам более поздним — юности, зрелости. А я хочу сказать здесь о подруге, такой же старинной, как Оля К., — это Валя Б. (Лера).

Мама Вали в молодости являлась аспиранткой моего дедушки Николая Николаевича, о котором я уже говорила. Знакомство завязалось еще в Павловске и «перешло» в воейковское. До того как семья Вали стала обладателем такого же, как и у нас, сборно-щитового дома и участка, она жила в Воейкове в разных местах. Но мне хорошо запомнилось одно.

Крутая деревянная лестница вела на второй этаж большого, немного мрачного и оттого загадочного деревянного же дома, крашенного не то в коричневый, не то в темно-бордовый цвет. В мансардном помещении находилось «царство» двух совершенно прелестных существ — сестричек Вали и Нины. Разница между ними была в четыре года, Валя была младшей.

Мама Вали вышла замуж за грузина, правда уже прочно связанного с Ленинградом. Но грузинские корни в его дочерях чувствовались. Позже, когда я с увлечением читала «Витязя в тигровой шкуре», я всегда вспоминала Валу — медлительность и плава-

ность ее движений, взор карих глаз с поволокой, крупные кольца темных кудрей — да, она была самая красивая из нас, девочек, а позже — барышень.

У Вали в доме стояла большая клетка, где высоко на перекладинах сидели волнистые попугайчики, один голубой, другой — желто-зеленый. Они были неговорящие, но щебетали изумительно, приковывая всеобщее внимание. Они и развлекали гостей и одновременно отвлекали их от Вали, маленькой хозяйки своего детского царства, что ей не очень нравилось. Тогда она подходила к клетке и накрывала ее легкой тканью, чем-то вроде узбекского сюзане, говоря: «Все. Спокойной ночи».

Не помню, когда именно у Вали появились попугайчики, но Пупс появился гораздо раньше. Как-то, поднимаясь по лестнице в Валин мезонин в Воейкове, я увидела на смотровом окошке... ребенка. Это был мальчик, одетый во все голубое: голубую распашонку, вязанные голубые с белым кантом пинетки, голубой чепчик. Он лежал на голубой пеленке, а рядом с ним покоился голубой колокольчик.

Я остановилась на полпути и как замороженная смотрела на малыша, который лежал совершенно спокойно, уставившись в потолок широко открытыми глазами с длинными темными ресницами. Я замерла, боясь потревожить это милое создание. Так я стояла пару минут. Малыш не двигался, не менял позы, не моргал, не издавал никаких звуков... — да это же кукла! Сейчас таких «натуральных» игрушек пруд пруди, но во времена моего детства они являлись большой редкостью и роскошью, которую мало кто мог себе позволить. Я осторожно приблизилась к кукле и провела рукой по ее тельцу. «Ма -ма», — сказал мне Пупс по слогам, и я счастливо засмеялась: игра была принята.

Наверху показалась Валя, которая, оказываясь, молча наблюдала всю сцену моего приобщения. «Можно мне взять его?» — робко спросила я. «Конечно, Татка, бери — носи его наверх, его надо покормить», — Валя протягивала мне руку, и я, взяв Пупса, поднялась к ней в комнату. Там Валя показала мне гардероб своей любимой (а она просто не могла быть другой!) игрушки. Ползунки, распашонки, чепчики, простынки, подушечки — все было сложено в идеальном порядке. Сейчас я подумала, что моя подруга уже с детства готовила себя к роли многодетной мамы, коей она впоследствии и стала, но тогда, конечно, такие мысли не могли прийти мне в голову.

«Хочешь поиграть?» — спросила Валя и, видя мое замешательство, протянула мне искусно имитированный рожок с молоком — у Пупса было целое хозяйство! «А впрочем, нет, сейчас мы его искупаем ...» Но тут в комнату вошла мама Вали и что-то ей сказала. Такое, что она тут же забыла и про Пупса, и про меня. Я вовсе не обиделась — маму нужно слушаться — Валя махнула мне рукой, тем самым давая знак, что сегодняшний мой визит завершен. Я перевернула Пупса, на что услышала что-то среднее между «ау» и «мяу», посадила его на детский стульчик, погладила по голове и, поцеловав на прощание, осторожно спустилась вниз по лестнице. Внизу уже стояли Нина в открытом сарафане и Валя в розовой кофточке и плиссированной юбочке — им достали билеты в цирк!

Мне ничего не оставалось, как поклониться им и их дому и подумать о Пупсе, который на несколько часов будет предоставлен сам себе.

Идя домой, я размышляла о том, что я придумала для Пупса в следующий мой приход, и сожалела, что многие мои куклы сгорели в соседнем доме, когда там был пожар — я приходила к Оле С. играть, и хозяйство наше находилось на чердаке, а он выгорел дотла.

Как это ни покажется странным, я не помню более поздних своих игр с Валиным Пупсом — видимо, разгадав его «загадку», я совершенно утратила к нему интерес,

сохранив в памяти лишь ту «картинку» нашей первой встречи, которая так поразила мое детское воображение.

Никита

Никита не входил в нашу почти исключительно девичью компанию, мы жили в Воейкове, его семья в соседнем селе — Кирполье. На самом деле расстояние между этими селами очень небольшое, к тому же с Никитой был случай совершенно особый: его семья проживала в городе не просто на одной улице, не только в одном доме, но и на одной лестнице с нами. Родители Никиты не работали в обсерватории, они были преподавателями Политеха, но опосредованно были связаны с воейковцами-обсерваторцами и многих знали.

Никита получил в детстве отличную спортивную закалку: он хорошо катался на лыжах, прекрасно плавал, но любимым видом спорта являлся для него велосипед. Насколько я помню, дружба с Никитой началась несколько позже, чем дружба с воейковскими девочками. Однако он так не считает, приводя шуточный пример: «Мы с тобой, Таточка, познакомились еще до рождения — наши мамы ходили в одну и ту же женскую консультацию!» Несколько лет назад Никита подарил мне свою книгу (она называлась «О моей вере» и была связана с богоискательством), в ней он сделал надпись: «Моей старинной подруге». Меня особенно тронуло, что он написал не «старой», а именно «старинной».

Дом Никиты в Кирполье частично перестроен, но он сохранился с тех далеких времен. Мой друг с супругой проживают сейчас там уже постоянно. В свои нечастые визиты я всегда вспоминаю светлый мир нашего с Никитой детства и Никитиных родителей, которые покоятся на сельском кладбище недалеко от моих. Они были дружны, и такое невольное кладбищенское соседство представляется мне глупо символичным.

Что же запомнилось больше всего? Ответ однозначен: Рождество в доме Никиты.

Мы уже оба школьники и зимние каникулы проводим на дачах — я в Воейкове, Никита — в Кирполье. Рождественский вечер. Я с бабушкой иду по заснеженной дороге из Воейкова в Кирполье. Дорога расчищена плохо, но утоптана десятками проходивших здесь днем людей, и только большие сугробы по краям говорят путнику, «как могло бы быть». Задувает ветер, раскачивая редкие придорожные фонари, и они бросают косые полосы янтарного света на искрящееся и хрустящее под ногами снежное пространство. В придорожных домах воют псы, и мне немножечко жутко, но я стараюсь не подавать виду и только крепче вцепляюсь в бабушкину руку чуть ниже локтя. Бабушка что-то мне говорит, чтобы отогнать мои страхи: она, конечно же, давно догадалась о моем состоянии — ну вот мы и у цели. Дверь распахнута, в проеме стоит Никитин папа. Из кухни доносятся невообразимые ароматы — неужели настоящий рождественский гусь?

Мы с бабушкой заходим в комнату. Елка украшена флажками, бусами, шарами, конфетами, мандаринами и «позолоченными» грецкими орехами; на макушке сияет пятиконечная звезда — вот таков он, наш «сельский Вифлеем». Мама Никиты зовет всех к столу. Нас собралось человек семь местных детишек. Стол нас, конечно, привлекает, но ненадолго, Мы ждем, когда загорятся свечи (где ты, техника безопасности?!). Простые белые свечи в подсвечниках, которые крепились на елках, видимо, еще во времена детства Никитиной мамы, радуют нас невероятно, и мы хлопаем в ладоши.

Но все ждут главного события — гадания. Не «крещенский вечерок», но для нас хорош и рождественский. Мама Никиты приносит белый табурет и ставит на него

большой таз. Мы наполняем его водой. На края таза прикрепляются свернутые в трубочку бумажки, внутри которых написано, что тебя ждет в ближайшем и отдаленном будущем. С елки снимаются орехи, в расколотые скорлупки вставляются зажженные свечки, и «кораблик» спускается на воду. Пустивший его с нетерпением ждет, куда он пристанет, иногда пытаюсь изобразить с помощью пальца волнение в тазике. Раскрываем записку. «Предсказания» самые разные: кому-то много детей, другому — повидать мир, третьему — себя показать. Мне досталось что-то о любви к животным, и ведь сбылось! Кирпольской девочке Тане — успехи за границей. Не знаю, были ли успехи, но она уже давно живет в Финляндии. Все довольны, плохих предсказаний просто нет. Мы беремся за руки, водим хоровод и довольно складно поем «В лесу родилась елочка». И тут, у Никиты, компания наша в основном девчачья — что поделаешь, сильная половина человечества обычно в дефиците. А елки эти запомнились и хранятся в памяти уже более 60 лет...

...Вот мы, распаренные и счастливые, выбегаем в сад. Мороз крепчает и зацеловывает щеки. В руках у главы семейства бенгальский огонь. Кто-то хлопнул хлопущкой и надел маску... медведя, оказавшуюся внутри.

Мы с бабушкой прощаемся и уходим — нам предстоит самый дальний путь. На пороге я оглядываюсь — все собрались вместе и машут нам рукой, я машу им в ответ.

...Небо ясно, и ковш Большой Медведицы помогает нам не сбиться с пути. С пути жизни.

Оля Я.

Не всякая детская дружба, однако, имела столь радужное продолжение. Но я просто не могу не сказать здесь о подруге детства, дружба с которой так и не достигла порога юности. Родители Оли Я., как и Валины, и Оли К., тоже были обсерваторцами. Но в отличие от нас всех Оля была им не родная, а приемная дочка. Однако это обстоятельство тщательно скрывалось. И сделать это было нетрудно: Оля как две капли воды походила на своего приемного отца. Как и мама Вали, папа Оли Я. являлся в свое время аспирантом моего дедушки. Он слыл очень способным и разносторонне развитым человеком: знал три иностранных языка, причем свободно переходил с одного на другой, мог быстро починить любой прибор (в том числе и собственный «москвич»), был талантливым изобретателем и помимо геофизического образования имел еще и биологическое. Все перечисленные выше качества делали его совершенно неотразимым в глазах воейковской детворы.

Его жена вскоре после войны ушла с работы, посвятив себя дому. Как и другие обсерваторцы, семья Я-ских сменила в Воейкове несколько мест жительства, пока Хозяин не построил сам (а было ему тогда уже 70 лет) на отведенном ему обсерваторией участке летний дом с верандой. Помню чудесное время, проведенное на этой веранде, когда мы, дети, собирались у Шурочки (так все, от мала до велика, звали Ал-ру Петр.) и угощались горячими еще пирожками с клубникой, которые Шурочка пекла в чудо-печке.

Нельзя сказать, что приемные родители уделяли Оле мало внимания или же изолировали ее, лишив детской компании, но наши игры с Олей Я., поначалу весьма безобидные, с течением времени стали приобретать все более «взрослый» (в плохом смысле этого слова) характер. Видимо, сказывалось то, что Оля родилась, по слухам, от четырнадцатилетней девчонки. Дурные гены, огонек которых в раннем детстве чуть теплился, разыгрались в полную силу, когда Ольге стала известна тайна ее происхождения (постарались «добрые люди»). Но память почти стерла события того

финального нашего с Ольгой дружеского периода, сохранив в неприкосновенности предыдущий, полный радости и беззаботности.

Не Шурочка, не мои родители, а именно Олин приемный отец и моя бабушка стоят в центре этой так грустно закончившейся истории. Олин папа был выдумщик и фантазер, чего только он с нами не вытворал! Он сажал нас в свой «москвич» и вез на Коркинское озеро, расположенное в лесу, в нескольких километрах от поселка. Олин папа отлично фотографировал, и сохранились снимки наших купаний: я боязливо жмусь к ногам Шурочки, Ольга, у которой из одежды одна панамка на голове, лихо сдвинутая на бок, смело плещет на меня холодной озерной водой. У нас рядом с поселком имелись еще озера, но мелкий песчаный берег был только у Коркинского, и оно по праву считалось лучшим. Хоть недалёная поездка и не занимала много времени, родители Оли брали сладкий чай или морс и бутерброды. Мы стелили одеяло на берегу и устраивали пикник. Ну да, для нас это была целая вылазка-экспедиция. Детишек иногда набивалась целая машина. На обратном пути пели песни, открывали все окна машины и, покрывшись налетом придорожной пыли, довольные и счастливые, возвращались обратно в Воейково.

Но было у нас с Олей Я. увлечение, которое считалось только нашим. Мы ловили и коллекционировали бабочек, выращивали и «закукливали» гусениц, бабушка и Шурочка шили нам специальные сачки, у которых в отличие от покупных кончик был не острый. Дело в том, что все у нас было на полном серьезе, мы запаслись популярными книгами, где говорилось, как и чем кормить гусениц, когда и где лучше ловить бабочек, как их сажать сначала в морилку, а потом в расправилку (руководил всем Олин папа, вот так неожиданно пригодились его биологическое образование). Но и мои родители не стояли в стороне. Из Москвы папа привез мне «Маленький атлас бабочек», а мама купила книжку про Маакова махаона.

Из этой книжки я узнала, что махаон этот водится на острове Мадагаскар, нашла этот остров на карте и решила, что, когда вырасту, обязательно поеду туда на поиски самой крупной на свете бабочки. Одна женщина, большой друг нашей семьи, даже написала мне на 1 сентября стихи: «Быть энтомологом, конечно, мы пожелать тебе хотим. Но только помни, не годится быть энтомологом плохим. Учиться много, много надо, забыть на долгие года, что есть на свете двойки-тройки, дружить с „отлично“ лишь всегда!» Двоек и троек у меня, правда, было мало, но я стала не энтомологом, а филологом. Работая в газете, в том числе и корректором, я как-то услышала от своей коллеги: «Вам бы энтомологом быть, вы бы наверняка какую-то „лишнюю“ лапку у насекомого открыли!»

Коллекции мы с Олей хранили в специальных ящиках с выдвижным стеклом. Что стало с Олиными коллекциями, я не знаю, мои же два ящика (один изготовил сосед по даче, другой мой ташкентский дедушка) хранились очень долго — как кладбище разбитых надежд.

Олю очень скоро перестали интересовать природные бабочки, и она быстро превратилась в «ночную бабочку», да-да, ту самую, о которой позже Газманов пел в своей песне «Путана». Дружбе нашей был положен резкий конец, но я не сильно переживала, что не делает мне чести: Оля ведь все мое раннее детство была моей лучшей подругой...

Кукла Моника

Моя мама была искусствоведом. В начале ее карьеры ей очень повезло: в 1960—1961 годах она стажировалась в Сорбонне. Оттуда мама привезла книги, конспекты,

справочники, что позволило ей в сорок лет защитить докторскую диссертацию, став самой молодой в СССР женщиной-искусствоведом, имеющей степень доктора наук.

А еще мама привезла мне куклу. Моника (так мы назвали вновь прибывшую) пережила долгий и непростой путь из Франции в Советский Союз. По рассказам мамы, таможенник тщательно исследовал игрушку в поисках тайников и прочего криминала. Не найдя ничего подозрительного, он нехотя пропустил молодую женщину. Моника улеглась в специальную коробку. На кукле были сарафанчик салатного цвета в полоску и белая блузка с короткими рукавами. На шее — маленький «золотой» медальон. Моника была резиновая, с великолепной прической и большими глазами с длинными ресницами, которые закрывались, когда она лежала. На юбочке внизу — надпись на французском: «Я сплю». Кукла наделала в Ленинграде много шума — в начале 60-х подобных игрушек у нас не было. Моника была прелестна — в ней чувствовалось изящество истинной француженки. Эффект ее появления можно сравнить, пожалуй, лишь с тем впечатлением, которое произвел в начале 70-х тролль из папье-маше, привезенный мною из Норвегии. Моника хранится у меня дома до сих пор, тролль же перешел во владения сына и внуков.

Сказать, что я любила Моника, значит не сказать ничего — я боготворила ее. Я сшила ей несколько костюмов, но так и не решилась нарядить ее в них. Моника осталась в своем французском одеянии — лучшего для нее просто было не придумать. Я бережно хранила свою куклу и всегда вспоминала рассказ мамы, которой в детстве папа привез из Франции целлулоидную куклу с «настоящими» волосами и закрывающимися голубыми глазами. Дело в том, что моя бабушка, когда ее дочка немного подросла, отдала все ее игрушки в павловский детский сад. Мама-девочка взмолилась: «Пожалуйста, оставь мне только Любочку!» (имя кукле дали не французское), и бабушка не стала огорчать своего подросткового ребенка. К сожалению, у Любочки судьба не сложилась так счастливо, как у Моника: она погибла в оккупированном Павловске...

Впоследствии мама привозила мне из своих заграничных поездок разных сувенирных куколок: у меня была француженка во фригийском колпаке, бельгийская кружевница, соломенная полячка, английский королевский страж Букингемского дворца, капитан Брасс из Германии, зажигательная испанка и еще целый ряд сувенирных куколок, из которых я сделала мини-экспозицию.

Краткие истории домашних питомцев

«Дети должны расти вместе с животными», — говорила одна наша соседка. Но я думаю, и без ее советов мои домочадцы понимали, что жизнь мою должны украшать какие-то зверушки. Сначала мне завели синичек и снегиря, но они быстро закончили свой земной путь. Парочка чижей дотянула до лета, и мы выпустили их в лес, что рос возле поселка Янино, по дороге к нашему дачному дому в Воейково.

Потом была черепаха. Появление ее в нашем доме было не совсем обычным. К нам на городскую квартиру приехала моя тетя Наташа и торжественно поставила на стол перевязанный ленточкой тортик. Я росла довольно наблюдательной и сразу заметила, что с тортиком что-то не так: коробка казалась мне бэушной, а веревочка завязанной явно самостоятельно, а не в магазине. Раскрыв коробку, я увидела черепаху! Голову и лапки она спрятала в свой панцирь и очень напомнила виденную мною ранее, кажется у той же тети Наташи, пепельницу. Я поставила черепаху на пол и налила ей в блюдечко молока. Любопытство пересилило страх перед неизвестностью, и вскоре из панциря показалась змееобразная голова и высунулись четыре лапки.

Коготочки были острые, и по ночам наш новоявленный домовый зацокал по квартире — ритмично и методично. Летом мы вывезли черепашку на дачу и поместили в большой картонной коробке, постелив ей сено в качестве «одеяла». Прогуливали мы ее в детской песочнице, и плутовка прорыла ход и удрала. Я долго оставалась безутешной и искала свою подопечную по всему участку, но тщетно — питомица исчезла.

Мои родители поняли, что мне нужно что-то, что не может убежать или улететь, и лучше — незвученное, и они остановили свой выбор на рыбках. К тому же они посчитали, что рыбки не смогут уплыть: они замкнуты в ограниченном пространстве аквариума. Но и здесь нас всех ждал неприятный сюрприз. В один, отнюдь не прекрасный день рыбки стали плавать брюхом вверх. Я находилась в это время в школе, и родители мои срочно поехали в зоомагазин, чтобы осуществить подмену таким образом, что я бы ничего не заметила. Но как назло, в этот день выбор был очень ограниченным, и маленьких рыбок (и того же вида, что у меня был, и вообще других) не оказалось, и родители приобрели больших, размером чуть ли не с карасика. Когда я вернулась из школы, родители сказали мне, что рыбки мои просто подросли, и наивный и глуповатый ребенок поверил. Я вообще в раннем детстве была очень доверчива, и обвести меня вокруг пальца не составляло большого труда. Так, например, я долго верила, что глазированный сырок в шоколаде — это мороженое, просто растаявшее.

Так вот, о рыбках. Я посчитала, что раз мои рыбки стали взрослыми, им пора пускаться в большое плавание. Стоял сентябрь, и уличные водоемы в городе еще не замерзли. Пересадив рыбок в банку с водой, я отправилась в Таврический сад (он рядом с моим городским домом) и выпустила своих пленниц в пруд, помахав им на прощание ручкой. Я верила, что для них пруд Таврического — большой океан и там им будет хорошо.

Кот Кишай ознаменовал мой постепенный переход из детства в юность. Мой папа был родом из Ташкента, его отец, как и отец моей мамы, тоже был метеорологом, и в Средней Азии достаточно известным. Папа оказался в Ленинграде, когда еще не кончилась война: в Ташкенте он поступил в эвакуированный из Ленинграда Институт авиаприборостроения, который потом вернулся обратно в город на Неве. Переехал в Ленинград и папа — продолжать учебу. Жизнь в общезитии, по-видимому, была несладкой, а тут еще послевоенное время — в общем, родители-ташкентцы порекомендовали моему будущему папе «заходить к своим давним (еще по довоенному Павловску) знакомым». Это была семья моей мамы. «Походы» закончились свадьбой, и папа стал ленинградцем. А его родители остались жить в Ташкенте. Папа очень тосковал и каждое лето ездил к ним. Иногда вместе с мамой, часто со мной.

Когда мне исполнилось двенадцать лет, родители оставили меня на сентябрь с моими ташкентскими бабушкой и дедушкой (со школой смогла договориться моя ленинградская бабушка). В доме у бабы Лены и деды Вени жила кошка Пуся, которая в мою бытность там как раз окотилась. Согласовав по телефону вопрос с ленинградской бабушкой, я привезла в нашу квартиру на Тверской совершенно очаровательное маленькое существо бухарской породы (аналог нашей сибирской). Мы везли его на самолете, в Свердловске самолет задержался, и мой котенок чуть не убежал. Я неосмотрительно выпустила его погулять, и он пролез за ограждение. Хорошо, что у меня были тонкие руки, и я смогла просунуть их за решетку и поймать беглеца. Один пассажир тогда сказал, увидев у меня на руках котенка: «Вот из-за этого кота нам никак не дают взлет». Мне было не до споров с ним: я крепко прижимала к груди свое сокровище, на транспортировку которого в те времена еще не требовалось оформлять специальные документы и брать переноску,

Долго мы не могли подобрать коту имя: Дымка, Серый — победило, не помню откуда взявшееся, Кишай. Котенок стал всеобщим любимцем и прожил семнадцать лет, тем самым «сопроводив» меня не только по юности, но и в более зрелые годы. Больше всех Кишай любил моего папу, часто устраиваясь у него на коленях во время просмотра телепередач. Кишай спал на подстилке под кухонным столом, возле батареи. Летом он вывозился на дачу, где поначалу исчез с участка и вернулся только через пять дней. Он сидел на крыше нашего гаража и имел вид совершенно дикий. Однако это оказалось всего лишь эпизодом из его последующей долгой и счастливой жизни. Кишай был вальяжный и изнеженный, за что получил от моей няни кличку «Барин номер два» (под «номером один» шел мой папа). Потом в нашем доме жили еще два кота, но это были уже животные, которых приголубил мой сын.

Эпилог

Хорошее у меня было детство — не босоное, но безоблачное, наполненное разными интересными (для нас, детей) событиями: от «кукольных чаепитий» до шитья одинаковых ночных рубашек, от концерта для родителей до занятий английским языком в группе «при клубе».

Я вовсе не против того, как проводят свое время мои внуки (сын перестроил дачный дом, и его семья живет там круглый год), но мои детские затеи кажутся мне сейчас проще, естественней и интересней.

Зимой мы рьяно катались на лыжах: каждые выходные, зимние и весенние каникулы, праздничные дни мы проводили на даче. Парового отопления у нас не было, согревались у чугунной плиты, на ней же разогревали еду и сушили на «плечиках» промокшее от пота лыжное исподнее. Вся жизнь сосредотачивалась на кухне, которая была для всего этого достаточно просторной. Привезенные из города бутерброды шли на ура вприкуску с заготовленными летом папой самодельными маринованными овощными и грибными ассорти. У нас были свои заповедные места, которым папа придумывал названия: «Пупин гроу» («папин гроб» — там папа всегда падал), «Царская тропа», «Домик лесника» (лесника там и в помине не было).

Хорошо, что есть память, и она хранит все то доброе, светлое — СЧАСТЛИВОЕ, которого, конечно же, в детстве всегда больше, чем скучного и неприятного.

Александр МЕЛИХОВ

«БОЙЦЫ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ДРУГ ДРУГА»

Когда-то мне показалась остроумной эта шутка: живем, как в автобусе: одни сидят, другие трясутся. Но когда ее начали применять к нашей жизни чуть ли не всерьез, заговаривать о стране рабов, это уже начало отдавать подловатой клеветой. В североказахстанском окружении моего детства отсидели довольно многие, но не трясутся НИКТО. Ссылная интеллигенция одолевала свою жизненную катастрофу утроенным достоинством, а шахтерщина-шоферщина вообще ничего не боялись, для них было самым простым делом что-то спереть на производстве или поддаться и срубить за это треху-пятерку. Запуганным у нас выглядело только начальство со своей надутостью, оно без крайней необходимости в своих шляпах и «польтах» старалось не соваться в шанхайский мир кепок и «куфаек». Вот в их мире, возможно, и писали те самые четыре миллиона доносов, хотя цифра эта, скорее всего, взялась оттуда же, откуда берется все общеизвестное, — с потолка. А в том мире, в котором я жил, если бы даже кому-то и вздумалось написать донос, он бы не знал, куда с ним сунуться, — мир государственной власти не имел с моим миром решительно ничего общего, он воспринимался как климат, не более того.

Хотя и не менее — это была вечная безличная стихия, на которую могли сердиться только дураки и дети.

Миф о миллионах доносов, бывших якобы главной причиной массовых репрессий в СССР (типичное перенесение вины на жертву), разоблачил историк Олег Хлевнюк: «Первые серьезные сомнения по поводу доносов появились в начале 1990-х гг., когда ненадолго открылся доступ к материалам следственных дел 1937–1938 гг. Выяснилось, что основой обвинительных материалов в следственных делах были признания, полученные во время следствия. При этом заявления и доносы как доказательство вины арестованного в следственных делах встречаются крайне редко.

Глубокое изучение механизмов „большого террора“ помогло понять, в чем тут причины. Организация массовых операций 1937–1938 гг. не требовала использования доносов как основы для арестов. Первоначально изъятия антисоветских элементов проводились на основе картотек НКВД, а затем на основе показаний, выбитых на следствии. Запустив конвейер допросов с применением пыток, чекисты были в избытке обеспечены „врагами“ и не нуждались в подсказках доносчиков.

В конце 1937 г. Ежов разослал в УНКВД краев и областей указание с требованием сообщить о заговорах, которые были вскрыты с помощью рабочих и колхозников. Результаты были разочаровывающими. Типичная шифровка пришла 12 декабря 1937 г. от начальника Омского УНКВД: „Случаев разоблачения по инициативе колхозников и рабочих шпионско-диверсионных троцкистско-бухаринских и иных организаций не было“».

Причины «большого террора». Олег Хлевнюк о мотивах, мифах и последствиях репрессий 1937–1938 гг. Ведомости № 4358 от 7 июля 2017 г.

Интеллигенции часто кажется, что если она не может внушить народу свои идеи, то это означает, что он слушается кого-то другого, начальства прежде всего. Это глупое заблуждение — он не слушается никого. Но чужому начальству доверяет еще меньше, чем собственному.

О мнимой покорности народа написано предостаточно, однако еще никто не написал нужнейшую книгу о повсеместном скрытом сопротивлении, которое позволило выжить — даже и оценить невозможно, какому числу преследуемых властью. Если бы каждый вспомнил о спасительной руке, протянутой кому-то из гонимых в тяжелую минуту, могла бы получиться драгоценнейшая книга.

Своего рода «архипелаг Верности». Верности родственнику, другу, любимому. Или чести, великодушию. Вполне возможно, что незаметные разрозненные искорки человеческой взаимопомощи по своей совокупной массе окажутся сопоставимы с черным океаном государственного террора. Как писал Толстой, Наполеона победили мужики Карп и Влас, отказавшиеся даже за хорошие деньги подвозить ему сено. О победе над внутренним оккупантом речи идти не может, но о выстаивании, о сохранении своих ценностей очень даже может.

Попробую внести и я свои три искорки.

После войны моему отцу, отсидевшему с 1936-го по 1941-й, удалось устроиться в Россошанский пединститут (взят он был из Киевского университета), но когда началась космополитическая кампания, какая-то бдительная гнида подняла на парткоме вопрос, почему у них работает бывший осужденный. И ректор, в недавнем прошлом командир партизанского отряда Пустогаров на голубом глазу соврал, что отец давно реабилитирован. Поступок был настолько отчаянный, что никому не пришло в голову проверить.

Чем он рисковал, вы догадываетесь — партбилетом и должностью, как минимум.

Мне кажется, мы просто НЕ ИМЕЕМ ПРАВА забывать о таких невидимых миру подвигах.

А через некоторое время еще и начали брать «повторников», то есть отсидевших, и подполковник, начальник местного МГБ, а заодно отцовский студент-заочник, вызвал его к себе и спросил: «Скажите по совести, есть за вами хоть что-то?» — и отец вложил в свой ответ последние запасы искренности: «Клянусь, НИЧЕГО». И тот сказал: «Немедленно уезжайте, завтра я уже ничем помочь не смогу». Отец с мамой схватили под мышку меня и брата... Но уже на вокзале у отца оборвалось сердце: он увидел того же подполковника, в своей шинели перешагивающего через обессиленные тела. Но оказалось, он пришел спросить, не нужно ли помочь с билетом.

И уж он-то рисковал не меньше как свободой.

А потом в Северном Казахстане отца не брали на работу, и муж другой моей тети Ксении, страшный партийный зануда и секретарь захудалого района в Южном Казахстане, позвал их к себе и пообещал куда-нибудь пристроить. Тоже серьезно при этом рискуя.

Эти искорки верности и чести тем более драгоценны, чем непрогляднее та тьма, среди которой они вспыхивали. Я думаю, едва ли не в каждом пострадавшем семействе помнится что-то в этом роде. Поднапрягшись, я вспомнил еще один эпизод из истории нашего семейного клана. Брат моего деда Кузьмы дядя Левонтий по мобилизации служил у Колчака, и о его белогвардейском прошлом знала вся родня, а значит, еще и все ее друзья и подруги, это, минимум, около сотни человек, — и никто никуда не стукнул.

И еще вспомнил. В двадцатых сам дед Кузьма, тогда, впрочем, еще не дед, а преуспевающий кузнец и токарь, увидел на маленькой площади села Боровое перед какой-то

начальственной конторой растерянную девушку нехарактерной для Кустанайщины внешности. «Ты кто такая?» — «Я сионистка», — времена были сравнительно вегетарианские, их всего лишь выслали. Дед Кузьма и слова такого никогда не слышал, но взял ее котомку и повел к себе домой, — так у них она и прокантовалась, пока ее куда-то не перевели. И когда мама выходила за ссыльного еврея, дедушка тоже не выказал никаких особых чувств, — еврей не еврей, ссыльный не ссыльный — это как кому повезет.

А за отцовским лучшим другом, угодившим таки в поток «повторников», его жена, нормальная русская женщина, совершенно не склонная к красивым жестам, отправилась, подобно княгине Волконской, в сибирскую ссылку на песенную Бирюсу и этим спасла ему жизнь, очкарику, не приспособленному для выживания среди тайги. Никогда не рассматривая свой поступок как какой-то особенный подвиг — а как же иначе?

На архипелаге Верности иначе действительно не бывает.

А отец посылал ему туда деньги через свою жену, мою маму, его жене под видом возвращения долга, чтобы не сшили еще одно дело.

Хотя вполне могли и не посчитаться с этой хитростью Полишинеля.

Надеюсь, еще не поздно собрать сохранившиеся воспоминания о подобных эпизодах. Или хотя бы воспоминания о воспоминаниях. Нужно дорожить каждой искоркой света, каждым именем и поступком, которые хотелось бы спасти от забвения.

Поэтому призываю всех, кому это кажется важным, присылать максимально сжатые и точные рассказы из истории невидимого противостояния государственному террору, по возможности избегая сведения счетов. О подлостях и жестокостях написано достаточно, хотя океан этот вычерпывать можно бесконечно, но если мы даже не попытаемся вспомнить тех, кто выстоял, не поддался страху и соблазну, это будет подлостью и жестокостью уже с нашей стороны.

Все это, к счастью, дела сравнительно давно минувших и, надеюсь, миновавших дней. Но и в наши дни каждому ежедневно приходится бороться с соблазнами алчности и цинизма, и делать это тем труднее, чем чаще приходится слышать, что в наше-де время такие романтические добродетели, как щедрость, верность, бескорыстие, давно повывелись.

Разумеется, этого нет и никогда не будет, но многие благородные люди уже начинают представлять себе чудаками, последними солдатами в брошенной траншее. А маршал Рокоссовский, в первые дни войны посидев в изолированном окопе, ощутил острое желание каждую минуту проверять, не сбежали ли остальные, не остался ли он один, — и сделал очень важный вывод: бойцы должны видеть друг друга.

Для этого мы и открываем рубрику «Архипелаг Благородства» и призываем наших читателей рассказывать о будничных благородных примерах. Именно будничных, невидимых миру, иногда кажущихся не стоящими внимания. Но возможно, именно общая масса рассеянного в мире архипелага Благородства не позволяет миру скатиться в ад.

Порадуйте нас такими примерами, а мы будем радовать вас. Открывать нам всем, что жизнь далеко не так безнадежна, как ее малюют пошляки и циники.

Присылайте ваши истории по адресу nevaredaction@mail.ru, обозначая тему письма «Архипелаг Благородства».

А пока я хочу обратиться к известным литераторам с двумя вопросами: в каком направлении они посоветовали бы развивать эту идею, и нет ли у них в памяти примеров будничного благородства, о которых они хотели бы поведать миру.

Денис Драгунский

Вот моя дневниковая запись.

Есть вещи, которые не позволяют отчаиваться. Какая-то женщина в 1938 году подобрала на железнодорожной насыпи написанное на тряпочке письмо заключенной, моей двоюродной бабушки — выброшенное из окна на авось: авось добрый человек найдется.

Она отнесла это письмо не в НКВД, а по адресу.

Сейчас это письмо в музее, в витрине. А эта «какая-то женщина», я точно знаю, преbывает в раю. Милая! Моли за нас Царицу Небесную!

(16 мая 2016 года)

Вера Калмыкова

1. Откуда взялся сюжет с миллионами доносов? Источник — выступления Н. С. Хрущева. Придя к власти, он, во-первых, озаботился уничтожением документов, выдававших его личную причастность к «большому террору» (насколько понятно из публикаций, преуспел), а во-вторых, постарался выставить И. В. Сталина единственным виновником репрессий (тоже преуспел). Второе особенно интересно, если вспомнить, например, историю борьбы Сталина с украинскими коммунистами за восстановление доброго имени писателя М. А. Булгакова. Напомню: украинские коммунисты возненавидели Булгакова за роман «Белая гвардия» и пьесу «Дни Турбиных», в которых, как они считали, революционный процесс на Украине был представлен в искаженном виде. В этой борьбе, как мы знаем, Сталин победил, но ценой не репрессий, а долгих переговоров.

Космические цифры, озвученные Хрущевым, подхватил, как ни парадоксально, А. И. Солженицын. И, как говорится, понеслось.

Смирненно полагаю себя предпоследним человеком, которого можно обвинить в сталинизме. Доказательство: Калмыкова В. Человеческое измерение // Сибирские огни. 2023. № 10¹. Однако уверена, что в одиночку «большой террор» не организовать, в таком деле нужна поддержка. Теперь же необходимо создание специальной институции по изучению этого времени и событий. Мы должны для самих себя и потомков воссоздать по документам ход событий и выпустить подготовленные специалистами правдивые исследования ситуации. Нас качает от миллионов доносов к внутренней активности органов власти, а ведь это две абсолютно непохожие модели социального поведения. Такие исследования — и на их основе кино, документальные и художественные, и информация в СМИ, и др. — нужны прежде всего нам и для нас. Мы должны знать себя.

Александр Мелихов как социальный философ, на мой взгляд, предлагает небывалый в России проект, нацеленный на слом самых стойких стереотипов, касающихся не поведения и даже не мировоззрения, а буквально национального характера и национальной картины мира. Уникальность проекта в том, что автор предлагает поменять точку сборки: один из немногих русских деятелей культуры (чтобы не сказать единственный — вдруг все-таки нет?), он предлагает не *отрицание отрицания*, не нега-

¹ <https://сибирскиеогни.рф/content/chelovecheskoe-izmerenie> (дата обращения: 26 апреля 2024).

тивную реакцию на негатив. Мелихов принципиально отталкивается не от того, «что в России (и, соответственно, в русских людях) плохого», а от того, что хорошего, уникального. Парадоксально, что и саму национальную уникальность он выводит из сравнения не с другими нациями, а с представлениями русских о самих себе.

Пример — то, что Мелихов предлагает сейчас. Искать не приспешников «большого террора», а тех, кто ему даже не сопротивлялся — игнорировал его, жил по законам человечности. Обращаю внимание, что такого до сего дня никто не предлагал: наше представление о самих себе как о народе традиционно строится на критике наших же собственных недостатков, «отклонений», «отставаний» и др. Русские как будто все время с кем-то соревнуются, или кого-то догоняют, или перед кем-то оправдываются за собственную недостаточность. При таком подходе игнорируется положительное содержание — оно просто не рассматривается, и это очень странно. Мы должны относиться к себе без гордыни или унижения, которое, как известно, паче гордости, но с достоинством.

2. Мой дед, Владимир Васильевич Калмыков, член большевистской партии с 1918 года, участник Гражданской войны, политработник, в 1930-х годах работал на химкомбинате в Березниках (Пермская обл.). Арестован Ворошиловским РО НКВД 3 марта 1938 года как участник контрреволюционной диверсионной и террористической меньшевистской организации (статья УК 58-6-8-9-11). 5 ноября 1939 года решением нарсуда 2-го участка Ворошиловского района дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Как рассказывал отец, признательные показания из деда в буквальном смысле выбивали — струей воды из шланга. Пытались выбить. В свои сорок мой Василий Калмыков оставался могучим русским мужиком с очень крепким здоровьем и стабильной нервной системой. Никто, кроме жены, Песи-Гели Гилелевны Тодриной, нарушить его неколебимое спокойствие был не в состоянии. Ледяная струя на морозе не принадлежала к числу факторов, способных заставить деда оболгать себя и кого-то другого (материалы дела я не смотрела, но раз речь идет об организации, понятно, что имелась в виду некая группа). Именно поэтому состава преступления и не оказалось: попытка не вынудила его этот самый состав себе и другим обеспечить. Люди менее устойчивые физически и психически, как мы знаем, признавали вину, отправлялись, кто в лагерь, кто на расстрел, и тянули за собой некоторое количество сограждан. Все время, пока Василий Калмыков находился под следствием, у двери комнаты в московской коммуналке, где жили его жена и сын, стоял саквояж с бабкиными вещами: традиционной «сменной белья» и предметами личной гигиены. Бабка ждала, что придут и за ней, и не хотела, чтобы ее застали врасплох.

После освобождения дед еще некоторое время работал на Дятьковском (Мальцовском) хрустальном заводе. В июле 1941 года в возрасте 43 лет он добровольцем отправился на войну. Перед уходом на фронт получил подарок от сослуживцев — графин в виде хвостатого медведя (длинный хвост — третья точка опоры) из зеркального стекла. Как я понимаю, таких медведей после революции не делали, и для деда старался кто-то из старых мастеров. Долгое время это была единственная драгоценная вещь в нашем доме.

Елена Долгопят

Моей семье повезло: никто не отбывал. Случаи, которые вспоминаются, все какие-то малозначительные. В сравнении с твоими, когда люди рисковали (благополучием, жизнью).

Тем не менее:

1. Наум Ихильевич Клейман (киновед, первый директор Музея кино и мой друг) рассказывал (не только мне), как их семью погнали из Молдавии (бывшей Румынии) в Сибирь (1949 год). Мне запомнилась женщина из его рассказов, она гадала по картам всем желающим — и всегда только хорошее. Люди (женщины, я полагаю) ходили к ней за утешением. Чего ей это утешение стоило? Да ничего.

А в школе у них были прекрасные учителя (большинство, насколько я понимаю, из таких же ссыльных или отсидевших). Они им устроили в школе что-то вроде Третьяковской галереи (или, может быть, Эрмитажа) на репродукциях.

Что им это стоило? Ничего. Наверное.

Я что-нибудь да путаю, а вот его рассказ от первого лица очень, мне кажется, в тему: <https://web.archive.org/web/20160329135730/http://oralhistory.ru/talks/orh-1878>.

2. Мама рассказывала, что у нас в Муроме (район под названием Казанка, одноэтажные дома с участками, полугород-полудеревня, рядом завод) жил один человек, о нем говорили, что он писал доносы. Не начальник, а просто рабочий. Его сын воевал, вернулся в красивой моряцкой форме, женился на учительнице, она преподавала английский язык и была хромоножка (говорили, попала под поезд), я училась у нее в пятом классе.

А в другом доме жил человек, который был в армии Власова, рядовым солдатом, поневоле вместе со всеми, не по идее. Он отсидел. Никто его не обижал. На 9 Мая он всегда плакал.

3. Я сломала руку лет так пять уже назад, попала в больницу (слава богу, в Москве), сделали операцию; в нашей палате была женщина, она сломала руку на катке ВДНХ: повезла туда своих учеников-кадетов (будущие следователи) кататься. Она всем бросалась помогать, кто сам не мог себе помочь (нога сломана, лежачие). Я тоже принимала участие, неловко было не принимать, а когда она выписалась, я как бы продолжила ее дело.

Ничем, конечно, ни она, ни я не рисковали.

Вообще, добрых людей я встречала немало. Мне на них везет.

Светлана Щелкунова

Ваше начинание бесценно. У меня обязательно найдутся друзья, которые что-то да добавят. Сама я, увы, ничего добавить не могу. Мои родители не распространялись на эту тему. Знаю только, что дядя Вася, так звали бабушкиного брата, попал к немцам в концлагерь, бежал оттуда, бежал долго, а потом напрямиком — уже в наш лагерь. Дедушки мои умерли довольно рано, и бабушки тоже, прежде чем я стала интересоваться этой темой. И ничего мне не рассказывали (только немножко и выборочно про войну), а родители тоже... А больше спросить не у кого. Но у меня обязательно должны найтись такие друзья, в семьях которых могут быть подобные истории... когда люди поступали по-человечески. И я тоже ни за что не верю в историю о миллионе доносов. А тема сейчас очень важная и актуальная...

Игорь Шумейко

Прекрасная идея Александра Мелихова будет, надеюсь, развиваться по многим направлениям. Зрительный образ — кристаллизация (кажется, воды в научпопфильме): к каждой грани кристаллика пристраиваются новые и новые. Узор растет. (Другой образ «цепной реакции» — взрыв — стараюсь отодвинуть...)

Я бы посоветовал растить «кристаллы благородных примеров» в сторону... официально выражаясь, «сферы межнациональных отношений». Частные примеры доброты, благородной человеческой солидарности порой заслонены — именно этими «официальными выражениями», но они, «будничные», рисуют нам, составят узоры истинной красоты.

Частный пример № 1.

Перед походом в чукотские края казак Семен Дежнёв женился на якутской красавице Абакаяде Сючу. Мимоходный, бытовой, но популярный «титул» открывателя пролива меж Азией и Америкой я услышал от поэтессы Натальи Харлампиевой: «*первый якутский зять*».

Близ Ледовитого океана отряд Дежнёва порой объединялся с группами Михаила Стадухина и Семена Моторы. Чаще они расходились, рыская по просторам размером со среднюю евространу. Задание у всех одно: «объясачивать». Собирать ясак, забирать аманатов (заложников, которых воеводы держат при себе, следя за выплатами).

Ясак, шаблонно понимают: дань. В действительности это «проекция» Ясы, закона Тенгри, неба — на определенную территорию. Россия и платила ясак, и взимала, когда «хан переехал в Москву» (Рюриковичи сменили Чингисидов). Сдавший ясак (в основном меха) получал «государево жалованье» (топоры, пилы, иглы, ткани).

Это дела масштаба государственного, даже глобального: тогда же шла колонизация других частей света... с другими итогами. И «освоение Сибири», и «величайший в истории геноцид» (индейцев), работорговля, «опиумные войны»... давно включены в межгосударственные, цивилизационные споры. Но «Архипелаг Благородства» Мелихова собирает примеры частные, простые поступки людей, своей малостью укрытые от госпропаганд.

Таковой была... драка, случившаяся на самом востоке Азии, близ Ледовитого океана. Михаила Стадухина бил Семен Дежнёв — он был против взятия ясака и аманатов у очередного племени: «Эти слишком бедные!» Стадухин требовал все же взять ясак. Спор и перешел, как у нас случается, в драку.

Пример хорош именно полной свободой от любой пропаганды, «высокой политики». Записка о той драке, жалоба Стадухина несколько веков лежали среди истлевающих бумаг, перечней взятой рухляди (шкурки соболей, черно-бурых лис...). Так же безнадежно был затерян и отчет Дежнёва о пройденном проливе меж Азией и Америкой. Век спустя открывать его послали Витуса Беринга. Вспомнив через много лет, крайнюю точку Азии назвали мыс Дежнёва.

Надеюсь, откроют и «виртуальный остров» архипелага Благородства. Где на скрипящей гальке, близ только что открытого пролива... Семен в кровь лупит Михаила. Хриплые выкрики: «Взять ясак!», «Да они и так бедные!» — безмерно удивляют тюленей, лежащих на берегу студеного моря.

Мария Бушуева

На эти факты стоит посмотреть не с позиций сегодняшнего дня, а представив то время, когда любая, даже незначительная помощь или добрый совет осужденному по 58-й, а также уже отбывшему наказание, но не реабилитированному грозила той же статьей или всевозможными неприятностями помогающему. В газетах тогда публиковали заявления отказавшихся от своих близких родственников (знаю известные фамилии, но не стану их называть) — люди боялись, что тень 58-й упадет и на них: не только рухнет карьера, но — жена и дети отправятся вслед за арестованным отцом.

Сейчас биографию писателя, уроженца Петрограда, Ю. М. Магалифа легко найти в Интернете. Цитирую по сайту: «В июле 1941 года его арестовывают, осуждают по статье 58, в связи с тем, что в его вещах найдены стенограммы первого съезда Союза писателей с фамилиями Радека, Бухарина, и отправляют в лагерь возле Новосибирска. <...> В 1946 году Юрий Михайлович освобождается с запретом проживания в 146 городах страны. Благодаря помощи начальника лагеря, он остался в Новосибирске, где устроился работать в филармонию. Женится <...> на Ирине Михайловне Николаевой, концертмейстере, бывшей ленинградке-блокаднице. С ней он проживет до ее смерти в 1995 году и посвятит ей множество стихов» (<https://fantlab.ru/autor5008?usclid=lvxtrsi92k875445379>).

Рисковал ли своим служебным положением начальник лагеря, помогая бывшему заключенному? Вполне возможно. Его помощь Магалиф всегда вспоминал с благодарностью. Моя бабушка-радиожурналист близко Юрия Михайловича знала, с его слов знала и его сложную биографию. Она первой, еще до публикации, дала по радио его сказку о симпатичной обезьянке, попавшей в Сибирь, — сохранилась его книжка, подаренная ей (тогда еще не бабушке), с забавной надписью: «Крестной матери моего Жакони».

Но еще с большей благодарностью и теплом Юрий Михайлович всегда говорил о жене. Дело в том, что вышел он из лагеря тяжелобольным и тогда же познакомился с Ириной Михайловной, в то время пианисткой. Она буквально выходила эка-туберкулезника. Ирина Михайловна была лет на десять старше Магалифа, и в конце ее жизни он так же преданно ухаживал за ней...

Когда репрессированные возвращались, далеко не все подавали им руку, некоторые продолжали видеть в них «врагов» и опасались за самих себя. Но гораздо важнее другие факты: если вернувшимся из лагерей негде было даже переночевать, поскольку в родной город часто им дорога была закрыта или их квартиру уже заняли беспринципные ловкачи, все-таки находились люди (была такая женщина и среди моей родни), которые, сочувствуя, предоставляли им на первое время свой кров, помогали лекарствами.

И еще один факт. Один из моих близких родственников в 1930-е годы работал заместителем директора крупной организации. Как-то раз его в коридоре остановил один из сотрудников и посоветовал срочно уволиться и уехать из города. Родственник сразу понял, в чем дело: нескольких человек из их организации уже арестовали. Он сориентировался и уехал на Север. Это его и спасло. А сотрудник рисковал...

Архипелаг Благородства или обычной человечности, сохраненной вопреки всему, должен проступить из тумана. Идея, на мой взгляд, очень нужная именно сейчас. Спасибо Александру Мелихову.

Евгений ПОПОВ,
Михаил ГУНДАРИН

ЯВЛЕНИЕ «НЕВОЗВРАЩЕНЦА»

Тридцать пять лет назад, в июньском номере журнала «Искусство кино» за 1989 год вышла в свет повесть Александра Кабакова «Невозвращенец». Успех был оглушительным. Эта книга стала едва ли не первой «перестроечной» прозой о настоящем и будущем, она была издана огромными тиражами в только появившихся кооперативных издательствах. С выходом «Невозвращенца» навсегда изменилась судьба его автора: вчерашний журналист в одночасье стал богатым и знаменитым, причем не только в Советском Союзе, но и за его пределами. И такая модель писательского успеха тоже стала для тех лет, когда литературные институты находились в глубоком кризисе вместе со всеми остальными в стране, абсолютной новинкой. «Невозвращенец» до сих пор переиздается и читается, изучается литературоведами. Предлагаем вашему вниманию главу из первой биографии Александра Кабакова, которую пишут многолетний друг автора «Невозвращенца» и множества других романов, рассказов и эссе Евгений Попов и прозаик, критик, поэт Михаил Гундарин (Попов и Гундарин уже выпустили в соавторстве биографии Фазиля Искандера и Василия Шукшина, книгу о литературной истории 1968 года).

КГБ И ПРОЧИЕ МОТИВИРУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Жизнь у 45-летнего Александра Кабакова к началу перестройки складывалась на зависть многим. А с приходом Горбачева все стало еще удачнее. Юрий Визбор некогда пел: «Я получил отдел, Вовка съездил в Париж»... За 10 с небольшим лет московской жизни приехавший из Днепрпетровска провинциал Кабаков и отдел получил (то есть стал заведомо информативной крупной, уважаемой и авторитетной газетой «Гудок» — вошел в профессиональную журналистскую элиту). И за границей побывал, причем в капитанской (летом 1987 года его с женой Эллой Евгеньевной выпустили во Францию по приглашению ее тамошних родственников).

Вращался он в самой крутой творческой тусовке: литераторы, художники, джазмены, конечно, все в разной степени критически настроенные к власти. Одевался и дорого, и стильно, разве что от буйной кудрявой шевелюры молодости мало что оста-

Евгений Анатольевич Попов родился в 1946 году. Писатель, драматург и эссеист, секретарь Союза писателей Москвы, один из основателей и вице-президент Русского ПЕН-центра. Автор более двадцати книг, переведенных на множество языков. Заслуженный работник культуры РФ, награжден орденом Дружбы.

Михаил Вячеславович Гундарин родился в 1968 году. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Преполагает в вузах, кандидат философских наук. Автор более 10 книг стихов и прозы, многочисленных литературно-критических статей и эссе. В соавторстве с Евгением Поповым написал биографии Ф. Искандера и В. Шукшина. Живет в Москве.

лось — но это только придает ему шарма. Активно публиковался (пусть и юмористические вещи, пусть и в газетно-журнальной периодике, но даже премию «Литературной газеты» завоевал!). Полагаем, вот-вот должны были появиться в печати ранее непечатные его вещи. Но впереди Кабакова ждал воистину звездный час.

Повесть «Невозвращенец» поменяла его судьбу. Да настолько, что у Александра Абрамовича одно время появились опасения: не останется ли он в глазах аудитории автором одной книги. Книг он до самой кончины в 2020 году написал много, публикой был любим, премиями отмечен — но будем искренни: первая ассоциация при упоминании имени Александра Кабакова — именно эта, до сих пор приходится слышать о нем: «А, тот самый автор перестроечного супербестселлера». Да ведь и сам говорил уже в 2018 году: «До сих пор, с десятком опубликованных романов, почти сотней рассказов и несколькими пьесами, с пятитомником неполного собрания сочинений и огромным количеством отдельных сборников, с двумя премиями „Большая книга“ и прочими регалиями, я остаюсь в общественном сознании автором только „Невозвращенца“. Я возненавидел бы это сочинение, если бы не чувство благодарности». Да, было, было за что благодарить «Невозвращенца»!

Александр Абрамович, как и многие другие его коллеги по перу всех стран и времен, с удовольствием работал над своим «биографическим мифом». А «Невозвращенец» в этом мифе занимает важнейшее место. Поэтому историю создания и публикации повести Кабаков рассказывал часто и охотно, причем с различными (иной раз и противоречащими друг другу) подробностями.

Вот одна из наиболее полных версий — в интервью Игорю Свиноаренко, данному к десятилетию выхода в свет книги (ее журнального варианта). Интервью опубликовано в газете «Коммерсантъ», одним из руководителей которой Кабаков в момент интервьюирования был.

«Это было в 1988 году. Я тогда работал в газете «Гудок» редактором отдела информации. И вот вызывают меня однажды в отдел кадров, а там в кабинете двое мужчин, один помоложе, другой постарше. Они начали меня вербовать... Я там даже сохранил имена-отчества этих людей, только поменял их крест-накрест. И портретное сходство сохранил. Один такой пухлый, молодой, а другой худой, с чеканным лицом, этакий человек с плаката. Они потом еще несколько раз приглашали меня на встречи в гостиницу „Интурист“, в „Центральную“, где у них были служебные номера. Это все у меня там описано с небольшим гротеском, с очень небольшим преувеличением. Ну, одежда их превращается в форму НКВД... А то, что они в книге несли чушь, они и так несли чушь.

Они объясняли, что если я советский человек, то должен иметь совесть. Напомнили мне, что я ездил за границу, встречался с там с нашими эмигрантами, что у меня есть знакомая датская журналистка, так вот она работает на спецслужбы... Мы ж, говорят, не призываем тебя стучать на своих, а просим выполнить долг патриота и помочь разоблачению вражеского агента. Я мямлил, что у меня не получится. Я прикидывался Швейком.

— А эта датчанка, она действительно работала на спецслужбы?

— Меня это не интересовало. А если б действительно работала, то мне оставалось только молча пожать ей руку. Ведь я же был противник существовавшего в этой стране строя. И все, что его подрывало, было мне близко, я это приветствовал. Потом тот строй рухнул.

— А было страшно, что на тебя „наехал“ комитет?

— Мне было действительно не по себе. Они меня пытались запугать. Я даже, помню, советовался с отцом.... Отец сказал: „Кончай с ними играть. Эти не те люди, с ко-

торыми можно играть. Нет, значит, говори им ‚нет‘. Все“. Я сказал „нет“. Тем более что свой интерес к их методам работы я удовлетворил. И уехал в отпуск — писать про них эту повесть. О чем их честно предупредил перед отъездом.

Эта повесть была мне нужна по двум причинам. Во-первых, я не читал в русской советской литературе ни единого художественного описания процесса вербовки... Кроме художественной задачи, я перед собой ставил и практическую: отмазаться. Чтоб они, вымещая неудачу, не записали меня в стукачи. Как это они сделали со многими людьми». О таком исходе дела его, кстати, предупреждал мудрый отец, советский подполковник-инженер Абрам Яковлевич.

Говоря откровенно, готовность пожать руку иностранному шпиону (шпионке) как-то Александра Абрамовича не совсем красит. И вряд ли осторожный Кабаков был вообще на такое способен. Но вот храбриться — это он мог, как и большинство представителей советской творческой интеллигенции. Ведь «Невозвращенец» при всех его инвективах в адрес советского строя рожден как способ психологической компенсации страха. Обычного, повторим, чувства советской интеллигенции по отношению к спецслужбам. Это было одной из главных причин большого успеха книги: Кабаков угадал интеллигентскую доминанту и талантливо ее выразил. Ну и отыгрался на «плохих» кагэбэшниках.

В другом месте Кабаков говорит более откровенно: «Скажу честно: я перепугался. Наверное, не так, как перепугался бы лет за пять до этого, но перепугался здорово. Главное, я не мог решить, как себя вести, чтобы и не подыграть им, не дай бог, и себя не подставить».

Насчет «игры», сдается нам, Кабаков, рассказывая об этом, входит в роль своего персонажа из романа «Подход Кристаповича». Какие уж тут, прямо и честно говоря, игры...

Но это и неважно. Главное — появился импульс к созданию книги. Кабаков, как видный «гудковец», вместе с женой едет на юг, в пансионат железнодорожников недалеко от Одессы, но уже в Молдавской ССР. Там хорошо. Там поет Пугачева. Там пахнет дустом (им посыпают розы). Кабаков, сидя на балконе, как проклятый стучит на стильной (как иначе) портативной пишмашинке «Rheinmetall» (и годы спустя писатель вспоминал о ее сереньком в белую точку, как у дорогих саксофонов, футляре). Сидит он на табуретке, машинка стоит на другой. Сидеть жестко, некомфортно, зато атмосфера получается соответствующая дисгармоничному настрою повести.

Отметим ради объективности, что в другом интервью Кабаков говорит о старенькой портативной пишмашинке «Москва». Ну, это для него обычная история, а «Rheinmetall» в «саксофонном» чехле — такая яркая деталь!..

Итог — 75 страниц будущего мегахита за 20 дней 1988 года.

Далее было чтение в узкой аудитории. Кстати, по словам автора, это мероприятие оказалось удачным хотя бы потому, что «за десять минут до начала этого домашнего чтения я заменил название — называлась повесть бессмысленно и претенциозно „Потом наступает рассвет“. Мгновенно, по наитию, я зачеркнул эту чушь и вписал то название, которое, я думаю, принесло едва ли не половину успеха сочинению».

Кабаков «собрал литературных приятелей дома — Игорь Иртенев, Юра Арабов... Кто еще? Боря Гуреев, Дима Попов, киновед, он сейчас живет в Германии...

Закончил я читать, и тут Володя Эфраимсон (сейчас в Америке) говорит: „Ну, Сань, ты даешь! В разгар гласности написать непроходняк, это ж надо!“

Я сам понимал, что непроходняк. Там же был Горбачев и крах перестройки. Я и не мечтал это напечатать.

Но Дима Попов забрал у меня рукопись и отдал своему начальнику по „Искусству кино“, Константину Щербакову. И тот ее, к общему офигению, лично протащил через цензуру!»

Почему «Невозвращенец» вдруг стал киноповестью? Ответ прост. Прежде всего потому, что так было легче его опубликовать в КИНОжурнале, которым руководил блестящий журналист, кинокритик и киновед Константин Щербаков, родной сын, кстати, того самого первого секретаря Московского обкома ВКП(б) Александра Щербакова, похороненного в Кремлевской стене, за гробом которого шли в 1945-м Сталин, Ворошилов, Маленков, Шверник, Берия, Каганович.

Он сделал из отраслевого органа печати популярный и очень интересный вестник нового, «прогрессивного» искусства, с огромными, а по сегодняшним меркам и вовсе космическими, тиражами. Опять же, «Невозвращенец» ему очень в этом помог (журнал позже опубликует и другие вещи Кабакова).

Что характерно: в том же номере, что и повесть Кабакова (отметим стильное даже и для сегодняшних дней оформление издания, а тогда это было просто чем-то невиданным), Щербаковым были напечатаны материалы, далекие от кино. Целый блок статей о художниках (ругают Илью Глазунова, хвалят Сальвадора Дали; Эрнст Неизвестный рассказывает о себе). Да и о кино говорится, например, применительно к авангардистам-«параллельщикам» (им посвящен еще один блок текстов).

В общем, «Искусство кино» на рубеже 80—90-х было одним из лучших культурных изданий страны. И умным, и влиятельным, и популярным.

На волне популярности издания, Щербаков в 1992 году переседает в кресло замминистра культуры РФ (в правительстве Гайдара). Замом, потом первым замом пробудет до 1998 года, своих 60 пенсионных лет. Далее займется общественной работой, станет почетным членом Российской академии художеств. До сих пор окружен всеобщим уважением.

Надо заметить, что за несколько месяцев, прошедших с момента написания до публикации «Невозвращенца», в жизни и карьере Кабакова произошли серьезные изменения (а уж какие изменения происходили в стране на рубеже 1988—1989 годов!). Во-первых, Кабаков покинул «Гудок» ради суперпопулярных «Московских новостей», которые на глазах у всех становились газетой номер один в стране, рупором, знаменем радикальных «прорабов перестройки». Кабаков, который любил быть «на волне», в центре моды и стремился к этому, конечно, сделал логичный выбор.

Во-вторых, он собрал и отнес в одно из первых кооперативных издательств сборник своей прозы под лихим названием «Заведомо ложные измышления» — формулировка политической статьи советского Уголовного кодекса. Все же одну из повестей издатель публиковать побоялся, но и остальное было невозможно представить в печати не то что год — полгода назад, в середине 1988-го.

Параллельно произошло вот что: перед сближением с «Искусством кино» он оказался на «Мосфильме». Не с «Невозвращенцем», а с «Кристаповичем», своим первым романом, написанным (не до конца, впрочем) еще до «Невозвращенца». Вспоминать об этом он будет так: «...сочинение попало на глаза знаменитому режиссеру Владимиру Наумову, и он взялся снимать фильм, один из первых официально антисоветских, „Десять лет без права переписки“, вышедший только в 1990 году... Я стал, ни мало ни много, сразу модным дебютантом-сценаристом главной киностудии, соавтором народного артиста СССР».

И поэтому в «Искусство кино» он пришел все же не с улицы — а с главной студии страны.

Повесть вышла в июньском, за 1989 год, номере журнала «Искусство кино» с предисловием Щербакова. Предисловие отлично показывает те особенности восприятия читателей, которые обеспечили «Невозвращенцу» такой успех. И вообще, очень характерный для эпохи документ. Стоит привести его почти полностью:

Киноповесть Александра Кабакова «Невозвращенец» — антиутопия, род литературы для нашего читателя непривычный. Только сейчас мы прочли Замятина, Оруэлла.

Конечно, литература не влияет на реальность напрямую, но вот о чем вдруг подумалось: если бы эти книги были прочитаны раньше, если бы содержащиеся в них предупреждения были услышаны, быть может, что-то в нашей недавней реальности сложилось бы иначе — гуманнее и разумнее.

Способность пережить в воображении ужас, апокалипсис дает силы ему противостоять, уменьшает возможность того, что нечто подобное может случиться в действительности. Это важно понять и применительно к киноповести, которая предлагается вашему вниманию.

Сколь бы пессимистичной ни казалась на поверхностный взгляд позиция автора «Невозвращенца», речь здесь может идти никак не о безнадежности, а о жестком и трезвом предупреждении. О том, что может произойти, если нам не удастся справиться с существующими в нашем обществе деструктивными, антиперестроечными процессами. Предупреждении об опасности, не считаться с которой мы не имеем права, которую должны исторгнуть, изжить.

Вспоминаю в этой связи фильм Константина Лопушанского «Письма мертвого человека», рассказывающий о страшных последствиях атомной войны. Он не о том, что атомная война неизбежна. Он о том, что каждый — каждый! — должен осознать угрозу и сделать все, что в его силах, чтобы катастрофы не произошло.

«Невозвращенец» Александра Кабакова о том, что перестройка — это, быть может, наш последний шанс, и мы не имеем права его упустить.

В общем, публикация прямо играла на руку Горбачеву и его команде, которая пыталась для укрепления своих позиций сформировать «образ врага» из партийных консерваторов. То есть «перестройщики» шли привычной дорогой властей всех времен и народов: напугать публику и предложить себя как гарантию спасения от злодеев. Это в итоге удалось, и «Невозвращенец», став суперпопулярным, тут им здорово помог.

Итак, повесть вышла — и Кабаков проснулся знаменитым. Вернее, как шутил он: «Я не проснулся знаменитым. Я знаменитым уснул». Приведем мемуар Кабакова о приятнейших для всякого автора моментах.

Это было в одно июльское воскресенье (точнее не помню) 1989 года.

...Еще взясь с ключами от входной двери, я услышал, как особым, международным звоном заливается телефон.

— Это Юлиан Панич, радио «Свобода»¹, — сказала трубка прекрасным актерским голосом, который я и без представления сразу узнал, этим голосом звучали на «Свободе» тексты Солженицына. — Мы вас разыскиваем уже месяц, нам нужно ваше разрешение на трансляцию радиоспектакля по вашему «Невозвращенцу». Постановку мы уже сделали. С вами хочет поговорить редактор программы Сергей Юрьенен...

В тот же вечер я слушал свой текст, по ходу действия сопровождавшийся студийными взрывами и стрельбой.

¹ Здесь и далее: внесено Минюстом РФ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Почти с самого начала передачи телефон звонил не умолкая. «Свободу» слушали все. Потом всю ночь перезванивались — уже было можно.
Вот так я и заснул знаменитым.

И степень этой знаменитости была удивительной.

ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО

Но сначала — о самой повести.

Краткое содержание таково. Юрий Ильич, научный сотрудник академического НИИ, в годы перестройки становится объектом вербовки некой организации, именующей себя «редакцией». Явившиеся к нему прямо на работу «редакторы» Игорь Васильевич и Сергей Иванович требуют, чтобы он использовал по их заданию свои необычные способности: Юрий Ильич — экстраполятор, умеющий переноситься в будущее.

Перемещаясь во времени, Юрий Ильич оказывается в 1993 году — в эпохе, именуемой Великой Реконструкцией. По темной, пронизанной ледяным ветром Москве опасно передвигаться без оружия; пальто у героя, как и у других прохожих, оттопыривает «калашников». По Тверской то и дело проносятся танки, у Страстной площади грохочут взрывы, а по улицам проходят облавы истребительных отрядов «угловцев» — борцов за трезвость, именующих себя так в честь хирурга Федора Углова, объявившего войну алкоголю...

Издредка герой включает транзистор, экономя драгоценные батарейки. По радио звучат новости о съезде в Кремле бесчисленных партий, названия которых звучат фантазмагорически — вроде Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, сообщаются также сведения из газеты американских коммунистов «Вашингтон пост»...

Спасаясь от очередной облавы, Юрий Ильич оказывается в темном подъезде дома, где прошло его детство. Здесь он встречается с женщиной из Екатеринославля (бывшего Днепропетровска), которая приехала в Москву за дефицитными тогда сапогами. Через черный ход им удается скрыться и от отряда «афганцев», убивающих пассажиров старенького «мерседеса», и от облавы Комиссии Народной Безопасности, очищающей московские дома от бюрократов. Они проходят мимо черных руин гостиницы «Пекин», обжитых московскими анархистами. Недавно в одном из окон висел на цепи труп парня-«металлиста», казненного палачами из Люберец. Возле дома с «нехорошей квартирой», описанного Булгаковым, дежурят пикеты «свиты сатаны» в кошачьих масках.

Узнав, что Юрий Ильич обладает бесценными талонами, по которым выдаются предметы первой необходимости, женщина не отстает от него ни на шаг. Она рассказывает неожиданному спутнику о том, какая богатая жизнь была у нее раньше — пока мужа, работавшего на автосервисе, не убили собственные соседи. Женщина сначала заискивает перед обладателем талонов, потом отдается ему прямо на покрытой инеем скамейке, а потом, матерясь от классовой ненависти к «журналисту московскому», пытается застрелить его из его же автомата — все ради тех же талонов. Только очередная облава Комиссии Народной Безопасности, от которой они оба вынуждены спасаться, позволяет герою избежать такой смерти.

После разных других увлекательных приключений, все в том же роде, вернувшись в настоящее, Юрий Ильич опять попадает в лапы вездесущих «редакторов». В следующее путешествие в 1993 год герой отправляется уже вместе с женой. У Спасских ворот

они видят, как мчится в Кремль белый танк диктатора генерала Панаева в сопровождении всадников на белых конях. На Красной площади выдают по талонам продукты: мясо яка, крупу саго, хлеб производства Общего Рынка и т. п. Юрий Ильич с женой идут домой.

Их обгоняют беглецы из Замоскворечья, Вешняков и Измайлова, из рабочих районов, где боевики Партии Социального Распределения отбирают у людей все вплоть до рубашки и выдают защитную форму. Юрий Ильич выбрасывает карточку с телефоном своего ночного собеседника, предлагавшего ему изменить жизнь, несмотря на то, что понимает: его жена была бы на месте только там, куда звал «ночной барин» — где «пьют чай с молоком, читают семейные романы и не признают открытых страстей». В этот момент Юрий Ильич видит своих «редакторов», грозящих ему пистолетом из проезжающих «Жигулей». Но в кошмарном будущем времени, в котором он решил остаться по собственной воле, герой не боится этих людей.

Поэтому и «Невозвращенец», собственно.

Ну и несколько характерных цитат:

— Вот, радуйтесь, дождались! То, что вы, вся наша паршивая интеллигенция, так ненавидели, рухнуло. Аномалия, умертвлявшая страну почти век, излечена, лечение было единственно возможным — хирургическое... Госпитальная хирургия: кровь, ошметки мяса, страх и никакого наркоза...

— Извольте: мы начали лечение... А в девяносто втором — метастаз: его превосходительство генерал Панаев. Это — верная смерть. Что же — прикажете ждать, пока этот рак страну сожрет? Или все же хирургия?

— Варварство и идиотизм. А разве лучше умереть зарезанными, чем естественно?

Какой-то человек влез на железный ящик помойки, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож-штык, и негромко прокричал:

— Всем стоять смирна-а! Вы заложники организации Революционный Ка-амитет Северной Персии! Наши товарищи захвачены собаками из Святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны — здесь, в этом дворе. Кто будет кричать — будем резать сейчас!

А вот еще:

— Вчера в Кремле, — сказал диктор, — начал работу Первый Чрезвычайный Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий. В работе съезда принимают участие делегаты от всех политических партий России. В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации — Христианско-Демократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов Туркестана, Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, католических радикалов Прибалтийской Федерации, а также Левых коммунистов Сибири (Иркутск). В первый день работы съезда с докладом выступил секретарь-президент Подготовительного Комитета генерал Виктор Андреевич Панаев. Московское время — ноль часов три минуты. Продолжаем передачу новостей. Вчера в Персидском заливе неопознанные самолеты подвергли очередной ядерной бомбардировке караван мирных судов, принадлежащих Соединенным Штатам. Корабли шли под нейтральным польским флагом, но это не остановило клерикал-фашистов. Мировая общественность горячо поддерживает миролюбивые усилия...

А вот как выглядит «Выравнивание»: из московского дома, где жила столичная элита, выводят все его население.

Мужчины были все как один в хороших серых пальто и меховых шапках, в руках они несли плоские чемоданчики. Женщины были в шубах и полубубках из овчины. Дети и подростки шли в куртках, без шапок, в небрежно накинутых капюшонах. Их было около сотни.

— По специальному поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий я, начальник третьего отдела первого направления Комиссии Национальной Безопасности тайный советник Смирнов, объявляю вас, жильцов дома социальной несправедливости номер — он взглянул в какую-то бумажку, — номер восемьдесят три по общему плану радикального политического Выравнивания, врагами радикального Выравнивания и, в качестве таковых, несуществующими. Закон о вашем сокращении утвержден на собрании неформальных борцов за Выравнивание Пресненской части.

К слову о предсказаниях. Критики лет десять назад, то есть, уже в 2010-х, заметили, что «правые» страхи писателя: диктатор-генерал Панаев на белом танке, рутинные ядерные бомбардировки, клерикал-фашисты, социал-фундаменталисты, католические радикалы и прочее — либо осуществились, пусть и не в такой густоте, либо вполне представимы. А вот вкрапленные им там и сям «левые» страхи остались втуне. «Вашингтон пост» так и не стала, увы или к счастью, «газетой американских коммунистов», в Иркутске не правят Левые коммунисты Сибири, боевики из предсказанного Кабаковым «Сталинского союза российской молодежи» не орудуют на Тверской, и никакого «радикального Выравнивания» пока даже не намечается.

Еще интересный факт — существует лингвистический анализ текста повести, так вот, согласно ему, она построена на диалогах — их в тексте аж 49 процентов, значительно больше, чем в среднем.

В общем, как заметил один литературовед, «„Невозвращенец“ — он о чувстве катастрофы, которая в России носится над всем. Понимаете? Это всегда предощущение ужаса, в котором русский человек живет. Ну и конечно, это контролируемость всех наших мыслей, именно мыслей определенной конторой, потому что, если вы помните, именно эта контора отправляет героя в будущее, и он в нем остается, потому что в нем есть подлинность».

В уже процитированном интервью 1999 года Кабаков, как представляется, достаточно откровенно говорит Игорю Свиноаренко: «Ну, если ты интересуешься насчет трех источников и трех составных частей, то это вербовка, известное сочинение Оруэлла „1984“ и предчувствие гражданской войны...»

Я тогда домой с работы ходил пешком через Пушкинскую площадь. И останавливался возле кафе „Лири“, где все время шли митинги. Стоял, рассматривал и слушал.

— А как ты угадал, что стрелять в Москве будут именно в 93-м?

— Роман Виктора Гюго „93-й год“ в свое время произвел на меня такое впечатление, что действие своей повести я перенес в 1993 год. Только поэтому, уверяю тебя. И я пытался представить, как же будет выглядеть гражданская война в Москве.

— Да... ты тогда почти точно угадал фамилию главаря путчистов — Панаев.

— За это спасибо цензуре. Она потребовала изменить фамилию диктатора Гончарова — чтоб не было созвучно с Горбачевым. Цензоры не просто понимали литературу, они понимали авторский замысел! Подсознательный замысел! Так сегодня уж никто больше не читает. Я и поменял Гончарова — ну, Гончаров, Скабичевский, Панаев — на Панаева.

— А какой еще вклад цензура сделала в твое произведение?

– Выкинула описание большого котлована на месте Мавзолея и маленьких ямок у Кремлевской стены. На которое меня вдохновил Марк Захаров, потребовавший не-медленно закопать Ленина».

В общем, мир «Невозвращенца» сложился по кусочкам. И эти кусочки, понятные и лакомые для каждого позднесоветского интеллигентного читателя, образовали аппетитное блюдо. Этакую, продолжая сравнение, пиццу, которая в те годы только начинала завоевывать СССР.

В обстоятельном разборе еще 1990 года Михаил Золотоносов выделял в этой «пицце» два основных слоя — аллюзии на текущие политические события и аллюзии литературные, из которых хорошо виден круг авторов, интересных, условно говоря, раннему Кабакову (хотя, напомним, в год выхода легендарной повести ему исполнилось 46 лет). И в самом деле «Невозвращенец» представляет своеобразный каталог, который можно снабдить «реальным комментарием»: «отряд угловцев» — и цитаты из выступлений профессора Ф. Углова, можно сказать, на глазах у всех идейно породнившегося с «Памятью» после декларации о вине сионизма за народный алкоголизм; Партия Социального Распределения — и программа «крестного отца» Российской компартии (учрежденной 21 апреля 1990 года в Ленинграде) М. Попова; «витязи» — черноподдевичники — и описание «Памяти», ее лидеров: И. Сычева, Д. Васильева, Н. Лысенко... Все изображенное здесь — знаки политических реалий, доведенных до логического завершения.

Однако в романе представлены и «приметы» сопряжения с литературными первоисточниками: М. Булгаковым («Роковые яйца», «Иван Васильевич», «Мастер и Маргарита»), Е. Зозулей («Рассказ об Аке и человечестве»), Ю. Даниэлем («Говорит Москва»), В. Аксеновым («Остров Крым» (кстати, Крым у Кабакова назван именно островом, а В. Аксенов — автором «бездарной книжонки» «Материк Сибирь», которая благословила кровавый мятеж азиатских повстанцев в Оренбурге, Алма-Ате и Владикавказе)). Образ главного героя, фиксирующего происходящее, со всей очевидностью отсылает к персонажу замятинского «Мы», также ведущего «дневник», репрезентующий устройство Единого Государства. Во внешности же «сочинителя, песни которого пела вся страна», проносащегося в вагоне метро (куда его засунули анархисты, чтобы, «остановившись где-нибудь в Дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь»), нетрудно узнать Б. Окуджаву: возможно, был задуман резкий контраст Москвы, по которой «Александр Сергеевич прогуливается» и в которой «ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет», и Москвы, где «танк привычен, как такси, без „калашника“ по Тверской никто не ходит, а памятник Пушкину сбрасывает озверелая молодежь постсоциализма».

«НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ» ЗАВОЕВЫВАЕТ МИР

Итак, суперуспех повести и ее автора начался с трансляции на «Свободе», которую как раз тогда перестали глушить в СССР.

А дальше были:

Договор о мировых правах с издательством Christian Bourgois.

Переводы и издания во всех европейских странах, в США и Японии.

Promotion-тур по Европе, с интервью и рецензиями в газетах, от «Le Figaro» до «The Guardian».

Без малого месяц с лекциями в Австралии.

Ну и другие приятности, о которых Кабаков вспоминал с удовольствием несколько десятилетий спустя: «Раннее утро в Париже, возле метро Odeon, киоск, сверху до низу увешанный Paris Match с моей фотографией...

И фотография на рекламной тумбе во Франкфурте — „сенсационный автор ярмарки этого года“».

Из откликов прессы: «Потрясающий сценарий советского коллапса» («Тайм»). «„Невозвращенец“ Кабакова — это нечто, произошедшее из антологий, включающее всю литературу антиутопий, от Хаксли до Оруэлла и Замятина» («Нувель обсерватор»). «Мистер Кабаков один из первых горбачевских удачников, писатель, чья профессиональная жизнь переменилась, когда советский лидер положил конец многим ограничениям самовыражения» («Нью-Йорк таймс»).

Прямо скажем, не слабо. По словам Кабакова, ему написал из Штатов Аксенов (с которым он познакомился в 70-х по джазовым делам) примерно с такими вопросами: а правда ли, мой друг, что ты колоссально сочинил какое-то колоссальное сочинение и теперь колоссально выступаешь по Москве как модный сочинитель? (Он всю жизнь любил слово 50-х «колоссально»...) Да, было колоссально.

А что по деньгам?

Дело щекотливое, так что снова дадим слово автору: «...звонок из Парижа: хотят у меня купить мировые права на повесть, предлагают шесть тысяч франков. Тысяча долларов, бешеные деньги! — если кто помнит 1989 год. Я... по совету сведущего человека — французский родственник, журналист — отказываюсь. Они через десять минут перезванивают и предлагают в десять раз больше. Тогда согласился».

И по нынешним временам нормально. По тем — для советского человека — состояние.

Были и гонорары за публикации. Первая книжная публикация состоялась еще в 1989 году, как раз в том томе избранного, книжном дебюте, о котором вспоминал Кабаков. В книгу вошло несколько глав из «Подхода Кристаповича» (весь роман даже не был дописан), две повести или больших рассказа. И срочно добавленный «Невозвращенец». Издательство «Книжная палата». Тираж — всего пять тысяч. То есть издано еще ДО международного супербума. Потом понеслось...

В 1990 году книжных изданий почти одновременно вышло несколько, и даже не очень понятно, кто успел первым обработать большую аудиторию. Возможно, ушлые одесситы, некое издательство «Вариант», пустившие в свет под аляповатой обложкой просто перепечатку журнального текста. Тираж неизвестен, но совершенно точно составляет не одну сотню тысяч экземпляров!

Официально же первой «большой» книжной публикацией считается выпущенная кооперативным издательством «Международная ассоциация „Диалог культур“» в Москве, в 1990 году. Под одной обложкой там «Невозвращенец» и «Вам отказано окончательно». Тираж 300 тысяч! Была в том же году и публикация в «Молодой гвардии», под одной обложкой с «Записками экстремиста» Анатолия Курчаткина. Тираж 100 тысяч! В общем, за 1989—1990 годы тираж повести перескочил за полмиллиона (а учитывая неофициальные, пиратские тиражи, может, и за миллион перебрался).

Кабаков через десять лет рассказывал откровенно: моментальная волна суперуспеха породила у него самую обычную, можно сказать, базовую иллюзию человека — мол, так будет всегда.

Да, я решил, что раз я теперь знаменитый писатель, то на жизнь мне хватит, причем на какую жизнь! Так что я уволился из «Московских новостей». Меня торжественно проводили, выпили хорошо... Я один из первых в Москве получил пла-

стиктовую карточку! Но после я понял: мне просто казалось, что я богатый. Я потом увидел столько людей, которые были по-настоящему богаты, о богатстве которых я раньше просто не знал!

Я довольно долго жил в Париже. На радио «Свобода» я много выступал, почти как штатный сотрудник, с комментариями — долбал все. У меня в городе появились свои любимые места. Меня там знали. Бывает, даже теперь приедешь в Париж, зайдешь в любимое кафе La Palette, это на Левом берегу, а там спрашивают: «Что ж вы к нам давно не заходите?» — «Да вот, — отвечаю, — дела». Они не догадываются, что я просто на три дня в Париж заехал.

И тут в Париж приехал Егор Яковлев, мы встретились, и он велел мне по возвращении в Россию выходить на работу. Я послушался его и вернулся на работу. И надо сказать, что за это я ему благодарен. На что б я тогда жил, если б не он? Деньги-то быстро исчезли! За эти годы и куда большие деньги у людей успевали исчезнуть... А когда-то я мог купить «Ягуар».

Вспоминал Кабаков и о мошеннике из бывших соотечественников, который кинул его ни много ни мало на 30 тысяч франков...

Стали появляться пиратские издания, повесть перепечатывали чуть ли не в каждом регионе. Например, челябинская газета «Комсомолец» выпустила «Невозвращенца» полностью, в нескольких выпусках. Как вспоминает очевидец, «газета называлась „Комсомолец“ и очень этого стеснялась, так что в шапке у нее был нарисован кубик с большой буквой (как в детском лото), а по вертикальному краю не крупно виднелось полное название)... Прочел там Кабакова, потому что земля слухом уже наполнилась сверх меры».

Денег со всего этого Кабаков не получал. Хорошо хоть, автора указали (а бывало, и не указывали!).

В общем, не в деньгах счастье. Три года прошли, как в сказке. Жаль, что Кабаков отказался от контракта с западными киношниками — чуть ли не сам Оливер Стоун собирался снимать. Отказался под смешным предлогом: мол, уже подписан контракт с «Ленфильмом». Снятым там фильмом режиссера Снежкина Кабаков остался жутко недоволен.

Причем на родине «солидная» критика долго как будто не замечала «Невозвращенца». Заметили — когда начались события в Закавказье, в частности, когда войска применили в Тбилиси саперные лопатки (прямо как в книге), потом прошел путч-91, и многое стало как будто сбываться... Да, заметили, но ни новых денег, ни новой славы автору, собственно, это уже не принесло.

Зато сейчас в досье откликов о «Невозвращенце» можно занести сотни страниц. Будут тут и критика, и литературоведение, и — больше всего — публицистика.

Вот Валерия Новодворская разразилась пламенным, как обычно, панегириком книге: «Сценарий всех напугал. Он не о нас. Он про расколдованное царство, где процессы, разбойники, короли, пажи неловко и тяжело пытаются сделать первые шаги, размять члены, окаменевшие от столетнего сна... Персонаж Кабакова делает то, чего не сможет сделать породивший его автор, не сможем сделать мы, — он выбирает свободу, неприкаянную и бесшабашную, когда только от твоей ловкости и мужества зависит, доживешь ли ты до рассвета».

Ну что тут скажешь... Да ничего не скажешь.

Если брать современную повесть критику, то преобладали, прямо скажем, не очень лестные оценки. Мол, политически правильно и читается хорошо, но разве ж это серьезная проза?.. Кто-то писал, что «Невозвращенец» — «литературно-политическая кри-

тика». Кто-то отмечал торопливую манеру письма, обилие чужих текстов, разговорных и идеологических штампов.

Андрей Василевский все в том же 1990 году сравнивал повесть с жанрами, лежащими вне литературы: «...образцом (колодкой) служит в данном случае типовая модель западного фильма-катастрофы... Важно, что истинным содержанием таких произведений является, в первую очередь, сама катастрофа, на воспроизведение которой усилий не жалеют, а основным действием оказывается борьба героя, сильного духом и телом, за свое выживание и за спасение хотя бы одной красотки, он просто обязан выжить, в противном случае нарушается чистота жанра...»

Между прочим, сам Александр Кабаков в этой ситуации занял абсолютно выигрывающую, наверное, единственно верную позицию. В многочисленных интервью (еще одна примета успеха: журналисты рвали его на части!) он без устали повторял, что для него всего важнее сатира, что фантастика — это только прием, и вообще: «Единственное, что я мог сделать, это развлечь читателя на то время, пока он читает книжку». Не придираешься!

Конечно, если подумать, то были еще блаженные времена, когда казалось, что литература должна воспитывать и наставлять на путь истинный. Торжественно отказавшись это делать, Кабаков сразу занял свое, особое место — между жанрами, между «высоким» и «низким». И этот «срединный путь» он пройдет четко и честно, до конца.

Вот что еще важно: очевидно, пытаясь как-то самоидентифицироваться в литературе, обозначить свое место «между» низкими и высокими жанрами, Кабаков поднял — публично одним из первых — знамя постмодернизма. Видимо, решив, что этот метод, как раз (по крайней мере, с внешней точки зрения) предполагающий смешение верхов и низов, философии и детектива, это самое его. Говорил он об этом в начале 90-х, говорил и, например, в 2013 году, когда постмодернизм уже вел, так сказать, арьергардные бои: «Постмодернизм — это воздух. Самые отчаянные и твердокаменные реалисты сейчас — все равно постмодернисты. Так что я самый настоящий постмодернист. Когда-то я придумал для себя определение — романтический постмодернист. Да, наверное. В моих сочинениях присутствуют все приметы жанровой литературы. Добро со страшной силой побеждает зло. У меня никогда не гибнет главный герой. И вообще все хорошо. Все очень нехорошо, но... хорошо. Чем меня и попрекают, почему серьезные критики и называют меня беллетристом». Но нам представляется, что даже если понимать постмодернизм именно так — несколько все же упрощенно, то к нему больше относятся вещи Кабакова 1990—2000-х годов. А «Невозвращенец» — прямое следование его любимому Аксенову, этикие приключения «с подковырочкой» и «двойным дном».

В 90-х «Невозвращенца» продолжали издавать за рубежом, в довольно экзотических переводах. Например, в Японии, где комментарии занимают более половины тома. Чем не постмодернистская традиция «комментарий больше текста», вызванная, впрочем, экзотичностью советской жизни для японцев.

Из довольно забавных фактов: «Невозвращенец» был выдвинут на отечественную премию фантастики «Великое кольцо». В 1989 году в списке претендентов кого только не было. Кабаков «боролся» со Стругацкими, Бульчевым, Вячеславом Рыбаковым, Крапивинным... Победили Стругацкие, их, может быть, лучший роман «Град обреченный». Но! кабаковский «Невозвращенец» оказался на почетном втором месте.

Когда страсти улеглись, за дело взялись литературоведы. Вот, например, цитата из научной статьи о «Невозвращенце»: «Жанр произведения — антиутопия — кодирует пространство особым образом: художественный мир романа катастрофичен, ката-

строфа становится смыслообразующей характеристикой пространства... Хронотопичность героя романа „Невозвращенец“, на наш взгляд, связана с постоянным движением героя, анализ пространства через посредство сознания и действия героя приводит к выявлению особого локуса — локуса дороги. ...Ключевая пространственная оппозиция, выявленная в ходе анализа, — семиотическое противопоставление пространства „настоящего“/„будущего“ как пространства свободного/несвободного. ...Категориальными семами, которые, выстраивая смысловую и семантическую иерархию, раскрывают ключевую оппозицию и образуют оппозиционные семантические ряды с пространственной семантикой, могут быть названы: „замкнутость“, „отнесенность к быту“, „пустыньность“, „статичность“, „поломанность“, с одной стороны, и „открытость“, „историчность“, „заполненность“, „динамичность“, „неразрушимость“ — с другой».

Скулы сводит, но, в общем, тут поспорить не с чем. И главное — незачем.

Все в порядке было у Кабакова и тогда, и потом, когда успех «Невозвращенца» стал забываться. Он много лет работал в «Московских новостях», в «Коммерсанте», потом в других медиа. Отнюдь не бедствовал. А главное — писал книги и активно публиковался.

А что «Невозвращенец» для многих оставался его главной книгой — что ж! Не самый плохой вариант. Он и сейчас переиздается, например, в 2023 году в «Редакции Елены Шубиной». Но тиражи, само собой, не те, что в 1990-м. А у кого они те — ровно ни у кого, кроме Донцовой.

Интересно читать отзывы современных — совсем молодых — читателей. «Невозвращенец» вызывает у них смешанные чувства:

«„Совковое“ произведение, которое придется по душе читателям преклонного возраста, пожившим в Советском Союзе, встретившим лихие 90-ые. Авторские фантазии разбушевались не на шутку. Скорее всего, больше не вернусь к произведениям Кабакова. На большого ценителя такое странное чтение. Догадываюсь, что роман представляет собой аллерию».

Есть, впрочем, и иные суждения, не менее залихватские — но в другую сторону: «Небольшая 40-страничная повесть Александра Кабакова, возможно, спасла Россию от гражданской войны. Когда во второй тур президентских выборов вышли Ельцин и Зюганов, вся страна прекратила платить налоги и жила ожиданием открытого противостояния».

У Кабакова эта война случилась. И есть вероятность, что растиражированная в сотнях тысячах экземпляров повесть сыграла свою роль в том, что элитные подразделения МВД отказались поддерживать ГКЧП и не пошли против народа».

Вот так-то!

КОММЕНТИРУЕТ ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

Да, действительно! После выхода триумфального «Невозвращенца» стал реальной литературной звездой, сиянию которой завидовали многие даровитые советские сочинители, поднаторевшие в мастерстве создания «кукишей в кармане», а также «борьбе нанайских малышей» с цензурой. Отсюда и злоба, отсюда и лесь. Так не принято было писать ни в либеральной «Литгазете», ни в почвенническом «Нашем современнике», ни в любом другом официозе. Про «андеграунд» умолчим, там и «Метрополь» сначала сочли детищем КГБ, пока не начались у его авторов РЕАЛЬНЫЕ неприятности вплоть до того, что меня и Виктора Ерофеева выгнали из Союза писателей, а пра-

вославною философа и богослова, математика Виктора Тростникова — из МИИТа, где он прежде, чем УВЕРОВАТЬ, сочинял советские брошюры типа «Человек и информация», «Конструктивные процессы в математике», «Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики».

Кабаков в Москве знал ВСЕХ, даже Аллу Пугачеву и ее дочку Кристину Орбакайте, которую катал на плечах, изображая из себя во время квартирных застолий добрую лошадку. Брал интервью у будущего министра внутренних дел Владимира Рушайло, когда тот еще служил опером по раскрытию квартирных краж в Московском уголовном розыске.

И неудивительно, что Кабакова вербовали. А как, спрашивается, такого орла было не вербовать? Допуск к секретам имел? Имел. В Париже черт его знает с кем общался. Еще работая после технического вуза на Южмаше, где ему строго-настрого был запрещен «контакт с иностранцами», ухитрился во время отпуска переспать в Питере со шведской туристкой, что ему по возвращении на работу в Днепропетровск предъявили в первом отделе бдительные чекисты. Сошло как-то... Не с иностранцем же контактировал, а с ИНОСТРАНКОЙ! Везло Кабакову. Умел себя подать, умел уговорить, приврать.

Повезло ему и с Константином Щербаковым, который был уже тогда знаменит и уважаем в избавляющейся от коммунизма Москве. Дивны Твои дела, Господи! Сын высокопоставленного партийного функционера оказался высокой личностью. Реально заботился о стране и ее культуре, а не разводил пропагандистское бла-бла-бла. Я лично помню его как блестящего корреспондента тогдашней «Комсомольской правды», который в своих очерках о Сибири мало того, что написал про меня, непечатающегося, да еще вдобавок процитировал огромный кусок моего «андеграундного» рассказа, опубликованного значительно позже в альманахе «Метрополь»! Я действительно так считаю, что если бы все коммунисты были такие же толковые и рассудительные, как Константин Щербаков (здоровья ему!) или идеологический начальник комсомола Лен Карпинский, то, глядишь, и перестройка не обернулась бы трагифарсом, и не было бы такого количества изломанных судеб в ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ, а не берущей все нахрапом стране. Да... «Съесть-то он съест, да только кто ж ему даст», — гласил старый советский анекдот примерно на эту же тему, посвященный проблеме рационального питания бегемота в московском зоопарке.

Константин Щербаков в предисловии к сенсационной повести Кабакова сказал, как припечатал, что хочется вопреки всем редакционным правилам повторять и повторять этот его пассаж: «„Невозвращенец“ Александра Кабакова о том, что перестройка — это, быть может, наш последний шанс, и мы не имеем права его упустить».

Хотя мало ли на что мы имеем право или, наоборот, не имеем в нашей непредсказуемой стране, где чего и кого только нет!

Вот был такой знаменитый хирург, писатель, общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, академик, лауреат Ленинской премии Федор Григорьевич Углов, доживший до 104 лет. Он на протяжении всей жизни был последовательным пропагандистом трезвого образа жизни, предлагал полный запрет продажи алкогольной и табачной продукции в СССР. Ведь, по мнению Углова, даже кефир, которым женщины вскармливают грудных детей, есть источник и причина алкоголизма. «Широк русский человек...» Провал горбачевской антиалкогольной кампании объяснял сговором бюрократии и «этнических нерусских», противостоящих идее трезвости русского народа. Лично мне интересно, успел ли он, ушедший из жизни в 2008 году, ознакомиться с «Невозвращенцем», где его сторонники «угловцы» изображены как полная шпана, гнобящая простых граждан во имя недостижимых целей?

Странен все-таки был гражданин СССР Кабаков! Когда я как-то спросил его, на кой черт он купил у какого-то отставного генерала двухэтажный деревянный дом в поселке Павловская Слобода, почти 50 километров от Москвы, и перестроил его «под себя» за огромные деньги, Кабаков смутился, а потом вдруг разоткровенничался:

— Я-то думал, что после сногшибательного успеха «Невозвращенца» буду «как Фолкнер». То есть поселюсь в БЛИЗКОЙ ПРОВИНЦИИ, буду писать, что хочу, и пить, сколько хочу. Денег-то у меня тогда куча была, я еще и квартиру в Испании прикупил, повинуюсь тогдашней моде. Был там раза два, потом продал «хату», которой практически не пользовался — меня И ТАК по всему миру приглашали, все оплачивали: дорогу, гостиницы, выступления. А только выяснилось, что без постоянной работы я жить не могу — раз, Павловская Слобода, где гениально отреставрировали потрясающую церковь Александра Невского и храм Пресвятой Богородицы, стала излюбленным местом пребывания «новых русских» — два. Есть еще и третье, и четвертое, о чем я, извини, умолчу.

Не посягая на «прекрасную тайну товарища», я свидетельствую: кабинет себе Кабаков на втором этаже перестроенной «виллы» — так я назову бывшую генеральскую жилплощадь — устроил гениальный, с уютными книжными полками, именно что ПИСАТЕЛЬСКИЙ.

Нанял «обслуживающий персонал», мужика и бабу родом с Украины, ИЗ ЕГО, замечу, МЕСТ. Но, увы, открыть окно там было невозможно, тихая улочка, где был куплен дом, превратилась в бойкий проспект, по которому богатые машины день и ночь шли, как по Тверской, бывшей улице Горького.

Кабакова раньше возила из Слободы на работу казенная машина, он привык к этому, и когда его выперли из им же созданного «Коммерсанта», не придумал ничего лучшего, как купить дорогущий ПОДЕРЖАННЫЙ «мерседес» и вдобавок нанять там же в Слободе шофера «кавказской национальности», который большую часть времени этот автомобиль ремонтировал с помощью дефицитных деталей, которые заказывались чуть ли не в Америке. В этом и был весь Кабаков, да, пожалуй, и не только периода «Невозвращенца», которому, как справедливо было замечено, некоторые «знатоки» отказывали тогда в принадлежности к великой русской литературе. И уж не тогда ли он, кстати, возненавидел ВСЕ постсоветские Союзы писателей, которых расплодилось при перестройке видимо-невидимо, как грибов после дождичка? И сделал исключение только для Русского ПЕН-центра, куда самолично написал заявление дрожащей рукой, перед самой своей кончиной, объяснив это любопытствующим тем, что «там компания хорошая». И ведь действительно, что хотел, то и делал. И во всех своих удачах, а также наивных глупостях виноват сам, только сам.

СМИРЕННАЯ ЛАЧУЖКА:

Коломенский сюжет

на «встречном течении»*

К 75-летию Игоря Шайтанова

Игрушка с секретом

Эта «игрушка, сделанная рукою великого мастера» [Белинский 1926: 176], — с секретом и полна неожиданностей, обрушившихся в том числе и на самого автора. «Когда в сокращенном виде напечатана она была в „Новоселье“ 1833 года, то почти всеми принята была за признак конечного падения нашего поэта. Даже в обществах старались не упоминать об ней в присутствии автора, щадя его самолюбие и покрывая снисхождением печальный факт преждевременной потери таланта» [Анненков 1984: 271].

Воспитанный на нравоучительных романах широкий читатель не увидел ничего, кроме банального сюжета. Критик увидел чуть больше, поскольку намеки на литературные споры во вступительной части были ему ясны и не очень лицеприятны. По тем же причинам «Румяный критик мой», написанный в то же время, не вызвал особого энтузиазма. Для рядового читателя эта часть не была занимательной. То ли дело романы Булгарина!

«У нас есть критика? где ж она? Где наши Аддиссоны, Лагарпы, Шлегели, Sismondi? что мы разобрали? чьи литературные мнения сделались народными, на чьи критики можем мы сослаться, опереться?» — с горечью вопрошал Пушкин еще в 1825 году в «Возражениях на статью А. Бестужева „Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов“» (Пушкин 7: 17). Это был глас вопиющего в пустыне.

Дальше — хуже. «К началу 30-х годов окончательно обозначился разрыв между Пушкиным и современным ему кругом читателей. Уже „Борис Годунов“ был встречен полным непониманием. Ряд других величайших созданий Пушкина нашел самый холодный прием со стороны критики и общества. Все, даже молодой Белинский, говорили „об упадке пушкинского таланта“ именно тогда, когда гений поэта вполне раскрылся. Пушкин понял, что должен оставить все попытки подойти к своему читателю, т. е. снизить до него <...> „Домик в Коломне“ в значительной степе-

Вера Кимовна Зубарева — доктор филологических наук Пенсильванского университета. Автор книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет и публикуется на русском и английском языках. Первый сборник стихотворений вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных литературных премий. Публиковалась в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «Новый мир» и др. Главный редактор журнала «Гостиная», президент проекта «Русское безружье».

* Глава из книги «На „встречном течении“: Пушкин сквозь призму Веселовского» (готовится к печати).

ни недоступен широким кругам читателей и теперь, вероятно, таким и останется», — писал Брюсов, повествуя о неудачах, постигших произведения Пушкина этой поры [Брюсов 2014: 112].

Сегодня ситуация существенно изменилась. Широкий читатель не признает нравоучительности и приветствует развлекательный и игривый тон «Домика», наслаждаясь мастерством, легкостью и остроумием Пушкина. Поклонники пушкинской поэзии называют «Домик» одним из своих любимых произведений, и даже вступительная часть привлекает благодаря популярным в среде начинающих поэтов публичным разборам стихов, ведущимся мастерами с обсуждением формы, стиля и прочих немаловажных для общего образования составных поэзии. Воистину «воспринимается лишь то, к чему сознание подготовлено и что способно оценить как нечто для себя необходимое» [Шайтанов 2011: 19]. И это касается не только творчества: у читателя и писателя тоже должно быть «встречное течение».

Приоткрыв дверь в гостеприимное, остроумное и дружелюбное пространство «Домика», постепенно осознаешь, что оно построено по типу лабиринта, выход из которого читающий должен проложить самостоятельно. Именно проложить, а не найти.

Интереснейшие, фундаментальные исследования литературоведов показывают, насколько изощрен пушкинский «простенький» текст, насколько многопланов и гипотетичен и насколько непосильна задача для рядового читателя/критика сформулировать смысл прочитанного в одной-двух фразах, не впад в банальность.

Так что и сегодня повесть стоит в одном ряду загадочных пушкинских произведений. Более ста лет назад Гершензон писал о том, что «до сих пор никто не мог сказать, что разгадал смысл этой странной поэмы» [Гершензон 1919: 138], и ситуация остается той же. «Поэма эта принадлежит к числу наиболее значительных и вместе с тем наименее осмысленных произведений Пушкина зрелого периода его творчества», — отмечает Л. С. Сидяков [Сидяков 1968: 3]. В современном прочтении загадочный смысл «Домика» иногда прочитывается «как импульс для размышлений, как пост-идея уже не текста, но мира, который не ведом ни духу, ни физике, а существует после них» [Палехова 2007: 106], как «алгоритм некоей программы, по которой, собственно, просчитывается вся дальнейшая периодичность *пост* в художественной культуре» [Палехова 2007: 108].

Непонятная связь

Загадки начинаются со вступительной части. «Непонятна связь между тем вступлением и самой повестью» [Гершензон 1919: 138]. Так или примерно так можно сформулировать ситуацию, касающуюся первых восьми октав. Разумеется, то, *о чем* пишет Пушкин во вступлении, всем ясно. Вкратце это можно определить как «вызов критикам...» [Гиппиус 1941: 261]. Дальнейшее рассматривается литературоведами как воплощение «вызова». «„Литературность“ Домика в Коломне выходит за рамки „игры“. Под пером Пушкина шуточный курс историко-сравнительной поэтики становится оружием в литературной борьбе», — пишет Л. И. Вольперт [Вольперт 1998: 198]. По мнению Шкловского, вступление «почти целиком занято описанием приема, каким написано. Это поэма о поэме. Это почти чистая беспредметная фактурная вещь. „Сюжет“, если взять это слово в смысле фавулы, играет в ней еще меньшую роль, чем в „Евгении Онегине“» [Шкловский 1923: 213]. Поэтому для Шкловского сюжет «Домика» «дан как пародия» на его «будущих критиков» [Шкловский 1923: 213].

Если придерживаться такой точки зрения, то можно вполне согласиться с критикой ведущих литературоведов. «Полемический характер носит и непропорционально

длинное вступление, где Пушкин рассуждает о технических вопросах поэтического искусства: о рифмах, о стихотворных размерах, цезурах, о трудности выбранной им строфической формы — октавы. Сами по себе эти рассуждения очень интересны, несмотря на их шутивную форму, но вне полемической цели, всерьез, Пушкин никогда не стал бы посвящать им столько места в стихотворном произведении» [Бонди 1959: 515].

Действительно, чтобы высказать свои несогласия с критикой, не нужно «Домик» городить. Можно было бы вполне обойтись первыми восемью октавами.

Только не в пушкинском стиле мудрствовать лукаво и разливаться мыслию по древу ради того, чтобы попенять критикам или — того хуже! — поучить всех, как надо писать, основываясь на литературных высказываниях вступительной части. Для измышлений критического толка восьми первых октав было бы вполне достаточно. Самостоятельное емкое высказывание в стихах вместо повести вполне бы потрафило вкусу критики и читателей. Именно так бы все и было, если бы перед Пушкиным стояли те задачи, которые ему приписывались. Но тогда бы он не был Пушкиным.

Во вступительной части Пушкин делает несравнимо больше. Он вводит читателя в свою творческую лабораторию, позволяя ему увидеть, как из формы стиха рождается художественная идея, не привязанная к форме, а оживляющая ее наподобие Творца, вдохнувшего душу живую в глиняное детище. В плане теоретическом это вычленение «жизненной идеи» искусства в процессе художественного сотворения. «Искусство должно овладеть ею, удалить то, что относительно ее представляется не развитием, а привесками и ненужными дополнениями; что имеет смысл лишь в запутанном обилии конкрета и никакого относительно его жизненной идеи. После такого выделения побочных идей и форм, их осложнивших (предполагается, что этот акт совершается бессознательно), в результате получается та чистая форма, которой существенная идея покрывается без остатка; другими словами, восстанавливается гармония идеи и формы, недостижимая в действительности» [Веселовский 2011: 95]

Начиная разговор с формы, Пушкин как бы пробует новый материал, разминает его в пальцах, ибо «идея предмета — не что-либо данное, объективно существующее; мы создаем идею предмета; формы, которые всего рельефнее очерчивают эту идею, мы называем характеристическими для нее. И там и здесь происходит акт субъективного, хотя и бессознательного выбора, только искусство не выделяет сначала идею предмета, освобождая ее от формальных затемнений, чтобы оставить за нею лишь всецело отвечающую ей форму <...>» [Веселовский 2011: 95–96]. И вот уже на наших глазах начинает лепиться живой мир городка, которым позднее будут заселяться образы его обитателей, с их отношениями, с создателем и его alter ego в образе повествователя. Уже в первой строфе читаем:

Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.

Антропоморфизм здесь не случаен. Он знак того, что сотворение началось, «что формальные особенности предмета более других останавливают на себе внимание, делаются характерным признаком предмета, его символом, его идеей. Но процесс совершается ни в ту, ни в другую сторону, ни от идеи к форме, ни от формы к идее: он совершается совместно, путем особой психической апперцепции» [Веселовский 2011: 96]. Обладающий мало-мальским воображением дорисует городок с военными на постое, направляющимися на званый ужин или на игру, куда приводят друзей, как Нарумов

Германа, или просто «бредут» «одни или с товарищем вдвоем». Картинка военного городка незамедлительно подтверждается сравнением рифм с войском в конце третьей октавы:

...что слог, то и солдат —
Все годны в строй: у нас ведь не парад.

Четвертая октава расширяет и конкретизирует этот «строй», весьма любопытным образом накладывая мужское и женское начало на типы слогов:

Ну, женские и мужские слогИ!
Благословясь, попробуем: слушáй!
Равняйтесь, вытягивайте ноги
И по три в ряд в октаву заезжай!

В стихосложении термины «мужские» и «женские» слогИ условны, но, превращенные в солдат, они вочеловечиваются, и создается довольно нелепая для того времени картинка. Представишь себе эти «женские слогИ», вытягивающие носок наподобие мужских, и подивисься: неужто Пушкин и впрямь не смог подыскать более уместной метафоры для них? А может, они вовсе не «женские»? Тогда к чему рядить солдат в женское и выставлять их в такой смехотворной функции? Почему бы четко все это не разграничить! Мы немного запутались...

Однако Пушкин на этом не останавливается. Он уже вошел во вкус, сотворение началось, и сквозь оболочку рифм все сильнее просвечивает образ «строя». Еще чуть-чуть, и вот уже автор взаимодействует с ними как с характерами, а не с формами стиха, всячески подбадривая их:

Не бойтесь, мы не будем слишком строги;
Держись вольней и только не плошай,
А там уже привыкнем, слава богу,
И выедем на ровную дорогу.

В сюжетной части наблюдаем как раз обратное. Вместо того чтобы держаться «вольней», переодетая Мавруша (чье имя также на границе мужского и женского) «прижалась в угол, фартук разбирая». И — «оплошала». На «ровную дорогу» ей выйти так и не удается.

А стихотворец... с кем же равен он?
Он Тамерлан иль сам Наполеон.

Сравнение с Тамерланом и Наполеоном любопытно. Тамерлан, как известно, был тем самым непобедимым полководцем, который слыл еще и покровителем искусств. Увы, после его смерти основанная им империя Тимуридов распалась. Наполеон также познал горечь поражения, разбившего в прах миф о его непобедимости. Так что в этом сравнении большая доля иронии, реализующаяся в разрешении конфликта, где Мавруша позорно бежит от хозяйки дома, как Наполеон от Кутузова. Да, полководец славен победами, но исход боя в руках Божьих.

Мотив Присутствия возникает в шуточном тоне во второй октаве, рождаясь из суждения типов рифм и неожиданно воплощаясь в образе Шихматова, на которого Пушкин не раз писал пародии и эпиграммы.

А чтоб им путь открыть широкий, вольный,
Глаголы тотчас им я разрешу...
Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Так писывал Шихматов богомольный;
По большей части так и я пишу.

В таком же шутовском тоне этот мотив будет обыгрываться и в сюжете повести. Но к легкому тону начнут примешиваться нотки лиризма.

Так постепенно, октава за октавой, Пушкин формирует художественное пространство, состоящее из неясных пока до конца образов и отношений, которым в последующих частях суждено реализоваться из «слогов» и «рифм» в героев повести. В терминах Веселовского, здесь нам предоставлена возможность присутствовать при акте «апперцепции» художника, «воспринимающей исключительно внешние, формальные признаки явлений, которые и становятся содержанием, художественной (в отличие от социальной, нравственной и т. д.) идеей поэтического произведения. Наблюдение над этим психическим актом приведет нас впоследствии к другому определению поэзии — со стороны ее творческого процесса» [Веселовский 2011: 96]. Это в наиболее точных терминах описывает значение вступительной части со стороны творческого процесса.

Автор или повествователь?

Несмотря на то, что образ повествователя в «Домике» сближен с Пушкиным, их нельзя отождествлять.

Понимание того, что автор и повествователь не идентичны, не новость в литературоведении. Однако в анализе они идут бок о бок, постоянно сливаясь. «Рассказчик сливается с личностью А. С. Пушкина, но не до конца: читатель может подозревать в образе рассказчика разновидность И. П. Белкина» [Томашевский 1961: 394].

Такая сплавленность мешает четкости понимания границы между автором и повествователем, что, в свою очередь, сказывается на интерпретациях. Если использовать опыт древнейшей книги, то можно увидеть, что в *Сотворении* определение Творца строится прежде всего на структурной отделенности Творца от тварного мира. Творец находится вне системы, которую сотворяет, хотя и взаимодействует с тварным миром, в том числе и посредством «повествователей» типа Моисея с Аароном, пророков и др. То же относится и к автору произведения, который структурно отделен от своих героев.

Структурная разделенность автора и повествователя согласуется и с различными функциями обоих. Прежде всего, «автор — тот, кто стоит за композицией, архитектурной, героями, повествователем и подтекстом, проявляющимся в деталях» [Зубарева 2021: 13]. Именно его сознание, а не сознание повествователя «обретает неограниченную осведомленность, оно не только в каком угодно ракурсе, с какой угодно пространственно-временной позиции панорамирует внешний мир, но и, в меру раз-

вития многосубъектного повествования, поочередно совмещается с сознанием каждого из героев (проблема „точки зрения“, изучаемая Б. Успенским, А. Чудаковым, Б. Корманом и др.)» [Роднянская 1978: 32].

Автор живет в историческом континууме, а повествователь — в художественном. Повествователь связан только с происходящим в произведении. У него нет ни той полноты видения, ни того опыта, которыми обладает автор. Повествователь «знает немного больше тех, о ком он повествует, но ему не дано всевидящее око автора» [Зубарева 2021: 13]. Например, повествователь может видеть и слышать Парашу, давая описание ее портрета и исполнение романсов. Но он не может знать, какой у нее «тайный том / Дремал до утра под подушкой». Этим ведает автор, он дает ббльшую полноту представлений о героях.

В «Домике» автор раскрывается еще и в размышлениях профессионального плана. Так, вступительная и заключительная части идут от лица автора, создателя текста, руководимого определенными литературными интенциями, а не повествователя, который рождается под пером автора, как все остальное.

Помимо всего, автор дает возможность проанализировать *внутреннее* повествователя, который не так уж разговорчив, когда дело касается его самого. Как известно, в криминальном расследовании личность свидетеля влияет на свидетельство, и понять нужно прежде всего, кто кроется за определенными показаниями. Повествователь является таким свидетелем, и прежде, чем принять или не принять его слова на веру, нужно проанализировать его самого, его интенции. Автор помогает в этом, но не за счет внутренних монологов, как это было принято в литературе того времени, а при помощи деталей, играющих в пушкинском жанре «действительности» роль рассыпанных путеводных знаков. Вот, к примеру, отступление, в котором повествователь признается, что часто в грезах мечтает вернуться

В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

Это настраивает на воспоминания картины богослужения, ее возвышенных особенностей, столь памятных сердцу повествователя. Увы! вместо описания службы двадцать первая октава начинается описанием графини. Какой в этом смысл?

Литературоведы интерпретируют функцию графини как способ оттенить Парашу и «обогащить образы обеих героинь», а в плане структурном как своеобразный «переход» «к самой анекдотической истории» [Вольперт 1998: 108]. Бесспорно, выведя героиню по контрасту, повествователь раскрывает дополнительные качества Параша. Нас интересует не только это, но и факт несовпадения слов и действий повествователя.

Повествователь утверждает, что частенько грезит о службе в Покрове, а по его воспоминаниям выходит, что он не особенно-то и вовлечен в службу. Зато он очень вовлечен в разглядывание двух женщин, о чем свидетельствуют их детальные психологические описания во время богослужения. Невзирая на то, что с того времени прошло уже «лет восемь», повествователь живописует каждый нюанс в их облике. Это ставит под сомнение предмет его частых грез «наяву». О службе ли как таковой грезил он все эти годы?

Базируясь на биографическом аспекте, литературоведы склонны видеть в образе графини Екатерину Буткевич (в замужестве графиня Стройновская), на которую якобы заглядывался Пушкин. Возможно, графиня в какой-то мере и послужила прототипом. Но это совершенно не означает, что и все остальное должно быть привязано к биографической подробности и что строки «Тогда блажен, кто крепко словом пра-

вит / И держит мысль на привязи свою, / Кто в сердце усыпляет или давит / Мгновенно прошипевшую змию» (Пушкин 4, 237) непременно полнятся автобиографическими намеками. «По-видимому, во время прогулки с товарищем поэту удалось сдержаться, а сейчас он проговорился — в беседе с тем, на сочувствие кого он полагается (в работе Якобсон 1987 убедительно показано, что в этих строфах поэмы нашли выражение сугубо личные мотивы Пушкина — необходимость превентивной самоцензуры)» [Перцов 1996: 181]. Мне ближе точка зрения, что повествователь имеет право на свою собственную влюбленность, тайну и историю, относящуюся к его личному пребыванию в Коломне. Имеется в виду литературный, а не автобиографический пласт.

Литературный сюжет отношений повествователя и двух женщин может выстраиваться следующим образом. Графиня принимает взгляды повествователя за интерес очередного поклонника. Тем не менее интенции повествователя, похоже, поняты ею превратно, судя по тому, что он сфокусирован на другой женщине, за которой следит не только на службе, но и околичаясь у ее дома. Иначе откуда ему знать, что делала «под окном» мать Параши, и как сама Параша «то у окна, то на дворе мелькала», и как по ночам у открытого окна «дочка — на луну еще смотрела»? Да и первый визит он наносит не Покрову, по которому так ностальгировал, а домику, описывая с неприкрытой горечью эту первую встречу, явно раздираемый воспоминаниями, мучающими его.

Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя.

Сказанное выше позволяет предположить, что в описании службы в Покрове повествователь предстает в роли псевдопоклонника графини. Это напоминает аналогичную ситуацию в «Моей жизни» Данте. По наущению Амура Данте делал вид, будто влюблен в «благородную даму» («дама для прикрытия»), на которую случайно упал его взгляд во время богослужения, в то время как он смотрел на Беатриче. Ситуация схожа с той, что описана Пушкиным. Так, может, графиня служит повествователю «дамой для прикрытия», в то время как он наблюдает за Парашей? Может, Параша и есть его тайная муза, его Беатриче? Не случайно же он (или автор) ассоциирует ее с русской музой («Поет уныло русская девица, / Как музы наши, грустная певица»!)

Нужно еще учесть, что 1830 год признан годом Данте в творчестве Пушкина. В этом году Пушкин особо активно обыгрывает Дантовы сюжеты и символику (см. подробнее мою статью о «Каменном госте»: Вопросы литературы, 2024, № 3). К Дантову полю в «Домике» относится и употребленное, словно мимоходом, число «три» в описании октавы:

И по три в ряд в октаву заезжай!

Это, в свою очередь, дает возможность интерпретировать октаву как включающую в себя терцину, что само по себе является аллюзией к Данте. В *девятой* (!) октаве число «три» вынесено в конец, завершая октаву, и «утраивается» оно благодаря добавочному двукратному повторению в десятой.

Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

X

Дни три тому туда ходил я вместе
 С одним знакомым перед вечерком.
 Лачужки этой нет уж там. На месте
 Ее построен трехэтажный дом.

Троичная структура в описании двух домов в соединении с троичностью в описании времени дает Дантову девятикружную конструкцию, включающую в себя довольно драматичное движение повествователя из прошлого в настоящее. За подобными построениями стоит автор. Он позволяет увидеть на метауровне, как могут быть поняты отношения повествователя с другими героями.

К той же категории относится и метафора змеи в двенадцатой октаве («Кто в сердце усыпляет или давит / Мгновенно прошипевшую змию»), вновь возникающая в двадцать пятой октаве в описании Параша.

Коса змией на гребне роговом,
 Из-за ушей змиею кудри русы,
 Косыночка крест-накрест иль узлом,
 На тонкой шее восковые бусы <...>

Объединенные метафорой змеи мысль, сердце и Параша образуют единое поле в восприятии повествователя — подробность, которую не обошли вниманием литературоведы. А. А. Бельская проводит связь змеиною с именем Параша, производном от «Параскева», которая является «покровительницей женщин и нередко воспринимается существом своенравным, меняющим свои настроения, свои действия <...> Показательно, что большинство пушкинских Параш, а также тургеневская Параша — натуры если не своенравные, то противоречивые», поэтому «образ „простой и доброй“ Параша из „Домика в Коломне“ сопровождает образ змеи, который ассоциируется с соблазном» [Бельская 151].

Действительно, «змия» олицетворяет соблазн, и Параша также ассоциируется с соблазном («И девушка прельщать умела их»). Да и «коса змией на гребне роговом, / Из-за ушей змиею кудри русы» вызывает в памяти образ Змия-искусителя, нашептывающего Еве запретные желания. Но и в данном случае нельзя ограничиться анализом метафоры «змии». Не менее важен тот, кто описывает Парашу в этих терминах. Согласимся, что не каждый так увидит Парашу, а только тот, для кого она является источником соблазна.

Автор и повествователь различаются и по интонации. Интонация повествователя более лиричная, с оттенком грусти, ностальгии по прошлому. Интонация автора ироничнее, острее. Связано это с тем, что один видит ситуацию изнутри, а другой — изнутри и снаружи.

Еще одна зона пересечения автора и повествователя связана с принципом неопределенности. И автор, и повествователь постоянно что-то не договаривают, но автор дает более широкое полотно, предоставляя читателю больше ракурсов и, стало быть, больше возможностей для догадок.

Принцип неопределенности напрямую соотносится с «поэзией действительности», органично вырастая из нее. В действительности мы не можем знать до конца, как все увязано, у нас нет полноты информации, но даже если бы она и была на определенный

момент времени, то в силу развития и изменчивости окружающего сложно было бы предсказать с точностью, как все сложится в следующий момент. Это отличает жанр «действительности» от других жанров, где развязка ставит все точки над «і», выводя читателя из зоны неопределенности.

На перекрестке сакрального и мирского

Включив в название повести строение, Пушкин направляет движение сюжета от малого строения (домика) к большому (церкви) и назад. Малое строение — мирское, большое — сакральное. Пространства пересекаются благодаря взаимодействию героев. Детали сакрального мира настолько вживлены в общую картину, что их не замечаешь, принимая только за колорит, хотя за ними кроется большее.

И церковь, и домик являются непосредственным местом развития сюжета — от завязки до развязки все происходит в их пределах. Их взаимодействие идет по типу общающихся сосудов, где сюжет, в который они погружены, перемещается из мирского в сакральное, всякий раз обогащаясь новым качеством. При этом появляется больше возможностей для толкований и гипотез происходящего.

Завязка относится ко второй части (всего их пять — по восемь октав в каждой) и закреплена за пространством домика. Эта часть базируется на описаниях домика и Параша. Первое, что мы узнаем о домике, это его расположение.

У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой.

К чему такая точность? Многие ассоциируют домик с реальным домом в Коломне, сопоставляя его то с домом, где жил Пушкин с семьей (две версии адреса), то с домиком, изображенным на деревянной гравюре Е. Бернардовского (1819—1889), послужившей иллюстрацией к «Домику в Коломне». Дома по указанным адресам не подпадают под описание. Дом на гравюре почти в точности ему соответствует. Даже история в чем-то схожа: позднее на его месте был построен трехэтажный дом, который затем надстроили. Одна только неувязка: трехэтажный дом был построен в 1859 году...

«„Домик В Коломне“. Почему „домик“? Чем он значит, какой-то домик и где-то далеко?» — задается правомочным вопросом О. Палехова вслед другим литературоведам. Ее ответ эмоционально окрашен, что предполагает оппонентов со стороны биографического подхода: «Да ничем. Ничем. Дом — фантом. Его нет. Его придумал Пушкин, изобретая формальный контроль над хлынувшими предчувствиями какого-то необходимого, неминуемого состояния, которое строит свой собственный мир далеко от уже пережитого <...> [Палехова 2007: 105].

Скорее всего, домик — собирательный образ, который не должен быть сведен исключительно к одному конкретному строению. Домик — такой же герой повествования, как остальные характеры, и соткан из исторических и художественных деталей, участвующих в раскрытии художественного замысла.

Как одушевленный характер домик имеет свою независимую внутреннюю жизнь, которая не является производной от внутренней жизни его обитателей. У него своя, суверенная, душа. Эпитет «смиренный», которым он охарактеризован, означает его «мир с Богом». Не случайно он поставлен в пространственную близость к Покрову. Жизнь обитателей, их решения и интриги не меняют его собственной внутренней при-

роды. Например, он «выдает» «лазутчика», словно «заманив» его в наиболее доступное для обнаружения место. Не без подмоги высших сил, конечно, проявивших себя во время службы.

Мысль о том, что в доме происходит что-то неладное, посещает вдову совершенно неожиданно и в самое неурочное, казалось бы, время — на богослужении. Сцена внезапно возникшего беспокойства настолько комична и полна приземленных деталей, что невозможно удержаться от смеха. Сколько ни читаешь ее, не перестаешь рукоплескать пушкинскому остроумию и психологичности.

Развитие сюжета: жанр «действительности»

Ничего не может быть дальше от «поэзии действительности», чем сюжет с переодеванием, использовавшийся в комедиях и авантюрных романах. И хотя литературоведы давно согласились на том, что бессмысленно искать, какой именно из вариантов этого сюжета лег в основу «Домика», ряд работ направлен на сопоставление пушкинского сюжета с аналогичными сюжетами в мировой литературе. Наиболее близко к пушкинскому сюжету подходит В. Степанов, обратившись к романам Эмина, упомянутого в повести.

Размышляя о том, какого именно Эмина Пушкин имел в виду — Эмина-отца или Эмина-сына (оба были писателями), В. Степанов приходит к выводу, что имелся в виду все-таки Эмин-отец, этот «авантюрист и делец, Чичиков русской литературы XVIII века» [Гуковский 1999: 153], автор нравоучительных романов, «не всегда благонравных по цели» [Степанов 1974:113]. Параллели, которые нашел Степанов, достаточно убедительны, и мы приведем их ниже, но под немного другим углом зрения.

Для литературы «действительности» важно не только, что происходит, но и кто стоит за происходящим. Откуда мечтательной коломенской девушке пришла экзотическая мысль привести в дом переодетого возлюбленного? Не иначе как из романов.

В. Степанов специально останавливается на одном из эпизодов «Мирамонда», напоминающем сюжет «Домика».

Наперсник Мирамонда Феридат рассказывает другу историю своей любви к дочери губернатора провинции — Наркизе. <...> Как выясняется из рассказа Феридата, довольно легко можно проникнуть в дом семейного человека, переодевшись в женское платье. Сам он таким путем попадает в число служанок Наркизы, вскоре открывается ей в любви и остается в роли прислужницы до того момента, когда складывается ситуация, достаточно удобная, чтобы можно было сделать официальное предложение. <...> Судьба вскоре разлучает платонических любовников, а когда Феридат, верный прежней страсти, вновь находит Наркизу, то узнает, что она была вынуждена выйти замуж за его бывшего воспитателя и сообщника в альковной истории, который повторил опыт своего воспитанника, но с большим успехом использовал свое положение на ролях служанки [Степанов 1974:113].

Параша вполне могла воспользоваться этим сюжетом, уверовав на примере того же Феридата в благородные намерения своего возлюбленного (а были ли они таковыми, кто знает?). Само имя «Мавруша», которым она нарекла его, звучит как «мавританское» имя в русском варианте по ассоциации с восточными героями Эмина.

В осуществлении задуманного Параше помогли все три качества, отмеченные в завязке: любовь к чтению романов Эмина, незаурядные способности управляющей и мечтательность. Сочетание этих качеств убеждают в том, что Параша была способна реализовать книжную интригу.

Получается, «простая» Параша не так уж и проста, коль смогла закрутить такой сюжет у себя в доме? Все зависит от того, с какой точки зрения на это посмотреть.

Если подходить с точки зрения предпринятой ею авантюры, то, с одной стороны, план действительно хитроумен. Никому во всей православной Коломне не придет в голову такая экзальтированная идея. С другой стороны, план потерпел крах. В чем же тут дело и какая пушкинская мысль кроется за этим?

Вот как это может быть проинтерпретировано в рамках жанра «действительности». Параша является не только инициатором замысловатой интриги, но и читательницей, воспитанной на примитивной литературе. В этом смысле она «простая». В жанровой литературе атрибуты действительности упускаются во имя занимательности. Читатель таких романов не обращает внимания на жизненные «мелочи», что сказывается в дальнейшем на его образе мышления. План Параша провалился в силу его нежизнеспособности. В отличие от сюжета Эмина, где «природа» не выдала мужского начала в переодетой служанке, у Пушкина разрешение конфликта строится на этой «незначимой» детали: герою элементарно нужно побриться. Наложение неправдоподобной ситуации (в гареме мужское начало обнаружилось бы мгновенно) на «действительность» приводит к краху «выдумки». Это своего рода шуточный приговор «выдумке», а на метауровне — авантюрно-романтическому нравоописанию.

Также с точки зрения жанра «действительности» невозможно обойти стороной вопрос, касающийся практических деталей плана, а именно: как удалось Параше их реализовать?

Основательная часть организационной работы Параша, без которой невозможно было бы привести план в действие, от нас скрыта, но по неприметным деталям кое-что возможно гипотетически восстановить.

Прежде всего вспомним, что нам известно о том времени, когда умерла кухарка и потребовалась новая. Только то, что Параша через несколько дней приводит поздним вечером другую кухарку. Далее следует описание «кухарки».

За нею следом, робко выступая,
Короткой юбочкой принарядясь,
Высокая, собою недурная,
Шла девушка и, низко поклонясь,
Прижалась в угол, фартук разбирая.

Первый вопрос: откуда появился женский наряд для Мавруши? Не в магазин же отправилась Параша за покупкой! Обычно наряд в сюжете с переодеванием помогает добыть другая женщина, имеющая в арсенале нужную одежду. В данном случае одежда должна была быть для служанки. Как это было, скажем, в «Барышне-крестьянке». Так как у служанок не имелось платьев в избытке, предоставить нужный наряд могла только госпожа. При этом требовалась примерка, чтобы выбрать мало-мальски подходящий размер для Мавруши, судя по «короткой юбочке», достаточно рослой. Не в казарме же примеривал одежды тайный возлюбленный Параша! Без помощника здесь не управиться. Кто же это мог быть?

Нам известна только одна фигура, находящаяся в поле зрения повествователя наряду с Парашей, — графиня. В этой связи вспоминается странная подробность на богослужении:

Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взор свой.

Что могло привлечь внимание графини хоть на минуту к «бедной» Параше? Тем более делать это не единожды (о чем свидетельствует наречие «порой»)! Где графиня и где Параша! Разве могло быть между ними что-то общее! Да и «важность» взора отметала всякие, даже мимолетные мысли по поводу ее сообщничества. Или это было тоже «прикрытием»? В таком случае что же могло сблизать этих двух героинь?

Пушкин кое-что подбрасывает читателю, задавшемуся этими вопросами.

Несмотря на то, что у читателя создается впечатление о семье Параша, как принадлежащей к небогатой мещанской среде, это не совсем верно. Исследуя место действия «Домика», Е. Лямина пишет следующее о Коломне:

<...> перечень заслуживающих внимания точек Коломны пролонгирует ее границы до Никольского собора, отражая еще один важный момент — ее внутреннюю неоднородность, акцентированное деление на Коломну Большую, относительно престижную и тяготеющую к центру, и Малую, места «плохо обстроенные и населением бедные: это Козье болото, это Пряжка с казенными казармами». <...> При этом наиболее однородными по составу домовладельцев были 2-й и 3-й кварталы, т. е. Малая Коломна; наиболее пестрыми — 4-й и 5-й (от тайного советника графа Стройновского и вице-адмирала Клокачева, в доме которого в 1817—1820 гг. снимали квартиру С. Л. и Н. О. Пушкины, до надворной советницы Даревской, мещанина Пелторакова, чиновника 14 кл. Фокина и наследников купеческой жены Вавиловой 5), относившиеся к приходу Покрова Богородицы. В 5-м квартале и живут героини ДвК.

<...> Эти обитательницы Коломны у Пушкина обрисованы без абсолютной однозначности. При неоднократно отмеченной (и подчеркнутой) «бедности» они «два, три дня — не доле» могут жить без кухарки, не заняты снисканием хлеба насущного и располагают досугом, который девушка проводит, в частности, за чтением книг, не сдают комнат в своем домике, а в церкви становятся «перед толпою У крылоса налево». Все это, и в особенности последний штрих, заставляет предположить, что перед нами не мещанки, а скорее вдова и дочь чиновника (возможно, выслужившего дворянство) [Лямина 71—72].

Теперь становится ясней суть намека на то, что у Параша могли бы в будущем появиться возможности жить светской жизнью, которой жила графиня.

Покамест мирно жизнь она вела,
Не думая о балах, о Париже,
Ни о дворе <...>

Здесь «покамест» поставлено в сильную позицию и привлекает внимание. То есть временно Параша вела простую жизнь, но в перспективе ее возможности позволили бы ей подумать и о светской жизни, в особенности имея родственников при дворе, о чем мы узнаем в той же строфе:

(хоть при дворе жила
Ее сестра двоюродная, Вера
Ивановна, супруга гоффурьера).

В этой части в сильной позиции оказывается «хоть», что говорит о большой вероятности такой возможности.

Гоффурьер — это придворная должность, позволявшая после десятилетней службы получить право на чин, соответствующий девятому классу «Табели о рангах». В обязанности гоффурьера входило распределение жилых покоев для придворных. Вполне возможно, графиня из Коломны могла знать супругов, имеющих родство в Коломне.

Все это обрисовывает некое гипотетическое поле, объединяющее Парашу и графиню за пределами Покрова. Давая понять, что у графини было практически все и даже Фортуна «была подвластна» ей, повествователь намекает на внутренние истоки ее неудовлетворенности. Из таковых вероятнее всего — несчастливое замужество. Возможно, это сыграло свою роль и помогло молодой графине проникнуться судьбой девушки, посодействовав ей в осуществлении ее плана с возлюбленным.

Никто, разумеется, не утверждает, что скрытый сюжет развивался именно в этом русле, но детали, которые рассыпает лаконичный Пушкин, позволяют *размышлять* о возможных увязках в поле «действительности». При этом мы никогда не получим «прямых улик», потому что именно так все и происходит в жизни, которая полнится слухами, предположениями и всякого рода догадками. Главное, что автор не «упустил» намеков на скрытые увязки, без которых жанр «действительности» был бы недействителен. А что упустил читатель, не так важно.

ДВА ДОМИКА: СЮЖЕТ И МОТИВЫ

Займствование или...?

Еще один нерешенный вопрос касается выбора места действия повести. На сей раз вопрос относится не к повествователю, а к автору. Почему вся эта история должна была происходить в Коломне? Только потому, что Пушкин жил там в свое время? Но в Болдине он тоже жил! А также в Одессе, в Кишиневе и в других местах. И с каждым из них связаны воспоминания. Автобиографический аспект — слабый довод в качестве единственного пояснения. Здесь мы вновь возвращаемся к «жизненной идее» искусства. Что могло бы стать такой идеей в пространстве Коломны с ее богатой историей? Было ли какое-то особое предание, в котором мог бы пустить корни «Домик»?

На предание настраивает фольклорное начало повествования («Жила-была вдова»), на что обращали внимание литературоведы. М. И. Шапир полагает, что фабульную основу «Домика» составляет «похабная сказка о батраке Марфутке, впервые напечатанная только в 1997 г.». Далее автор сопоставляет два текста, однако из сопоставления не следует, что пушкинский сюжет является займствованием этой сказки. «В некотором царстве, в некотором государстве был поп с попадьей, у него было три дочери-красавицы; а недалечко от них жила вдова <...>» (Афанасьев 1997: 393). Ср. у Пушкина: «Теперь начнем. — Жила-была вдова <...>» («Домик в Коломне», строфа IX, стих 67). Обращает на себя внимание не только дословное совпадение поэмы со сказкой, но и специфически сказочный зачин (жила-была) отнюдь не сказочного сюжета» [Шапир 2009: 121].

Не знаю, о каком «дословном совпадении» идет речь в данном случае, но кроме глагола «жила» (даже без «была!») и существительного «вдова» в приведенном выше отрывке ничего нет. Но даже если бы и были, это не могло бы быть доказательством, так как займствование не выводится из употребления одинаковых слов или сходных описаний.

Приведу еще несколько сопоставлений такого же рода из работы Шапира:

<...> *Короткой юбочкой принарядясь* <...> (XXX: 234); ср.: «Нарядился в женское платье <...>» (Афанасьев 1997: 393);

<...> *Высокая, собою недурная, // Шла девушка* <...> (XXX: 235–236); ср.: «<...> девка-то пришла славная, пригожая <...>» (Афанасьев 1997: 393) <...> [Шапир 2009: 122] и т. п.

Да и сюжет сказки в той же мере совпадает с сюжетом «Домика», в коей приведенные выше фразы. Привожу краткий пересказ фабулы «похабной сказки». Она выстраивается на похотливом попе, взявшем на работу приглянувшуюся ему «девку», оказавшуюся на деле таким же похотливым переодетым юношей. Развитие сюжета строится на отъезде попа. Он берет слово, что дочери будут вместе с Марфуткой. Марфутка соблазняет дочерей. Дочери беременеют. Обман вскрывается попадья в бане.

В чем здесь заимствование? И вообще, как определить, что является заимствованием, а что — нет?

Обратимся к Веселовскому. Сюжет определяется Веселовским как *тема*, «в которой снуют разные положения-мотивы» [Веселовский 2011: 542], где мотив — простейшая повествовательная единица. Какова, в этих терминах, тема сказки, на которую ссылается Шапир? Ее можно сформулировать так: *похотливый парень и глупые девушки*. Сюжет «Домика» не описывается этой темой.

Различая сюжет и мотив, Веселовский дает два варианта формулировки сюжета (темы). Упрощенный вариант: «1) сказки о солнце (и его матери; греческая и малайская легенда о солнце-людоеде); 2) сказки об увозе» [Веселовский 2011: 542]. Усложненный вариант: «а) бегство Фрикса и Геллы от мачехи и златорунный овен = сказки о таком же бегстве и в тех же условиях; помощные звери; б) трудные задачи и помощь девушки в мифе о Язоне и сказках <...>» [Веселовский 2011: 542]. Усложненные варианты появляются с течением времени, в результате того, что «и мотивы и сюжеты входят в оборот истории: это формы для выражения нарастающего идеального содержания. Отвечая этому требованию, сюжеты варьируются: в сюжеты вторгаются некоторые мотивы, либо сюжеты комбинируются друг с другом» [Веселовский 2011: 542].

В случае «Домика» мы имеем дело с усложненным вариантом поэтического сюжета, который можно сформулировать в той же шуточной форме и с элементом драматизма, которыми отмечена сюжетная часть: «Переодевание во имя любви и спасение Параша коломенским Провидением».

Обратимся к мотивам в сказке и в повести.

«Простейший род мотива может быть выражен формулой $a + b$: злая старуха не любит красавицу — и задает ей опасную для жизни задачу. Каждая часть формулы способна видоизмениться (курсив мой. — В. З.), особенно подлечит приращению b ; задач может быть две, три (любимое народное число) и более; по пути богатыря будет встреча, но их может быть и несколько» [Веселовский 2011: 538].

По аналогии выделим мотивы в сказке ($a + b$):

— *парень хочет соблазнить поповских дочек и переодевается в женскую одежду, чтобы наняться в работники;*

— *поп принимает переодетого работника за девицу и мечтает согрешить с ней;*

— *поп уезжает — и переодетый парень соблазняет глупых девушек;*

— *попадья замечает, что дочки беременны, и велит всем идти в баню;*

— *все идут в баню, и там вскрывается обман.*

Ничего подобного — ни по отдельности, ни в комбинации — в «Домике» нет.

В «Поэтике сюжета» Веселовский подчеркивает, что «на почве *мотивов* теории заимствования нельзя строить; она допустима в вопросе о *сюжетах* (курсив мой. — В. З.),

то есть комбинациях мотивов» [Веселовский 2011: 546]. «Чем сложнее комбинации мотивов (как песни — комбинации стилистических мотивов), чем они нелогичнее и чем составных мотивов больше, тем труднее предположить, при сходстве, например, двух подобных, разноплеменных сказок, что они возникли путем психологического самозарождения на почве одинаковых представлений и бытовых основ» [Веселовский 2011: 542]. В таком случае речь будет идти не о совпадении, а о заимствовании.

Составные мотивы повести описываются следующими формулами:

- *кухарка неожиданно умирает, и это влечет за собой перемены в доме;*
- *кухарку хоронят на охтинском кладбище, и вскоре в дом приходит переодетый гвардеец;*
- *переодетый гвардеец нанимается на работу и замещает умершую кухарку;*
- *провидение посещает хозяйку дома, и она разоблачает гвардейца.*

Как видим, мотивы, кроме переодевания и разоблачения (общих для многих сюжетов с переодеванием), не совпадают со сказкой. Сравнивая мотивы из румынского фольклора и романа Лонга Хлоя, Веселовский пишет: «Как румынский парень желал бы срезать девушку-тростинку, чтобы играть на ней и ее целовать, так в романе Лонга Хлоя хотела бы обратиться в Сирингу своего Дафниса. Тут нет заимствования образа, как и к самой схеме желаний нельзя приложить этого критерия, если он не вызван сложностью сходных формул и совпадением последовательности (курсив мой. — В. З.) <...>» [Веселовский 2011: 396].

Коломенский сюжет

Интрига с переодеванием возлюбленного воплощается Парашей, начитавшейся Эмина. Правда, здесь есть небольшая неувязка с четвертой октавой, где переодевание впервые представлено как переодевание «женского» в «мужское», и не просто в «мужское», а в военное (см. выше). Конечно, можно сказать, что это всего лишь отправная точка, зачин, из которого разовьется несколько другое, а инверсия несущественна. Но тогда это шло бы вразрез с поэтикой Пушкина — лаконичной и базирующейся на деталях неслучайного толка. Если отталкиваться от этого понимания детали у Пушкина, то нужно искать еще один сюжет с переодеванием, где бы любящая женщина переодевалась в мужскую одежду, а точнее — в военную форму. Главное — он должен быть связан с Коломной.

Такой сюжет есть. Будем называть его здесь «коломенским сюжетом». Широко известный коломенский сюжет базируется на смеси документальных фактов и устных свидетельств, смыкающихся с чудесным. Как предание он вполне мог бы стать материалом «поэтической сюжетности» [Веселовский 2011: 537] «Домика». Имеется в виду сюжет, касающийся Ксении Петербургской и связанными с ней преданиями, зафиксированными в различных источниках.

Начнем с истории Покрова, с которой, вне сомнений, знаком был и Пушкин.

В 1703 году в Петропавловской крепости была заложена деревянная церковь апостолов Петра и Павла, которую перенесли на Петербургскую сторону и вновь отстроили и освятили во имя апостола Матфея (1720). В 1754 году около неотопливаемой церкви Матфея выстроили теплую деревянную церковь Покрова, на месте которой затем возвели двухпридельный каменный храм в 1799 году. По преданию, в XVIII веке прихожанкой деревянной церкви была Ксения Петербургская (она же Ксения Блаженная). Там ее венчали и отпевали.

История Ксении Блаженной одна из замечательных историй любви и самоотречения, непосредственно связанная с мотивом переодевания.

В юном возрасте Ксения влюбилась в полковника лейб-гвардии Преображенского полка Андрея Федоровича Петрова, с которым вскоре обвенчалась.

Андрей Федорович был певчим придворного хора в приходе церкви Апостола Матфея. В повести певуньей выведена Параша. Интересно, что Пушкин дает подробность, касающуюся молитвенного места вдовы с Парашей в Покрове.

По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилась перед толпою
У крылоса налево.

«Крылос» (клирос) — место для певчих. На правом «крылосе» находятся опытные певцы, близкие к оперным («праздничные»). На левом — те, что выполняют роль служащего хора («простые»). Муж Ксении Блаженной не был оперным певцом, он был военным и, скорее всего, находился в левом клиросе, где должна была стоять и его жена. Так позиционно сближены в метатексте пушкинские герои и героини коломенского сюжета.

Дом Петровых был куплен на приданое Ксении и находился в приходе на Петербургской стороне. На Петербургской стороне находился и дом вдовы в повести, расположенный, как мы знаем, вблизи Покрова. Это усиливает позиционную близость двух домов.

Прожив три с половиной года с молодой женой, Андрей Федорович внезапно умирает от тифа в 1757 году, не успев покаяться. Смерть мужа Ксении становится поворотным моментом в ее судьбе. Глубоко потрясенная тем, что муж ее скончался без должного покаяния, Ксения приняла решение вымолить покаяние мужу. В тот же день, переодевшись в его военную форму, она отправилась за гробом, называя себя отныне его именем и оглашая, что умерла Ксения Григорьевна. Она ходила так до конца своей жизни, и когда форма мужа истлела на ней, обрядилась в его лохмотья. Эхо этого переодевания и слышится в четвертой октаве, хотя и в комической инверсии.

Буквально в той же последовательности внезапная кончина Феклы («Но горе *вдруг* их посетило дом» (курсив мой. — В. З.) влечет за собой перемены: вскоре на место кухарки нанимается переодетый возлюбленный Параша. Если Ксения надевает на себя военную форму покойного мужа, то поклонник Параша ее снимает, чтобы играть роль кухарки. В этом комичном «замещении» Фекла словно обретает вторую жизнь, как покойный муж Ксении обретает вторую жизнь в момент ее переодевания в его форму. Только если переодевание Ксении мотивировано желанием покаяния, то переодевание возлюбленного Параша мотивировано как раз обратным — греховностью замысла. В такой вариации коломенского сюжета идеальное содержание расторгнуто, и это заземляет его, внося элемент комичности.

Похоронив мужа, Ксения решает раздать все свое имущество, включая и домик в Коломне, чтобы совершать подвиг юродства. Дом находился на улице Андрея Петрова (улицы тогда назвались по имени домовладельцев), нынешней Лахтинской. Продаже дома воспротивилась снимавшая часть его небогатая и бездетная вдова, которой Ксения пожелала оставить все свое имущество.

Нет, речь не о том, что в плоскости художественного пространства это, возможно, тот же дом, что и дом вдовы в повести. Хотя такие ассоциации вполне могут возник-

нуть. Речь о будущей хозяйке дома. Она была женщиной благочестивой и, видя состояние Ксении, испугалась, что Ксения пойдет по миру. Тогда она обратилась в суд, чтобы он не допустил разорения Ксении, заявив, что Ксения не в себе и не может распоряжаться имуществом по причине ее невменяемости. (Тревога, связанная с мыслью о разорении, охватывает и вдову в повести, и она тут же предпринимает все возможное, дабы это предотвратить.) Однако после обследования медицинская комиссия объявила Ксению здоровой, и суд постановил, что она вольна распоряжаться собственным имуществом по своему усмотрению.

В конце концов Ксения настояла на том, чтобы вдова стала хозяйкой дома. Она обещала помогать во всем, в том числе и с содержанием дома, на которое требовались немалые средства. Взамен она взяла с вдовы слово, что та никогда не откажет в крове тому, кто в этом будет нуждаться. Когда согласие было получено, Ксения отдала новой владелице все оставшееся имущество, став ее покровительницей, и с того момента начала скитаться, помогая людям и предсказывая им будущее, включая и скорую смерть с тем, чтобы человек сумел покаяться.

Новую хозяйку дома Петровых звали Параскева Антонова. Или попросту Параша.

О Параскеве и ее доме Ксения Блаженная пеклась до конца своих дней. Как гласит одно из преданий, она помогла ей обрести сына, отправив ее на набережную, где в этот момент произошла страшная трагедия: беременную женщину задавили лошади, и она перед смертью успела родить мальчика. Ребенок и был отдан Параскеве, так как других родственников найти не смогли. Параскева вырастила прекрасного заботливого сына, ставшего ей подмогой и опорой на всю жизнь.

В повести наблюдаем инверсию этого мотива. Провидение (не та же ли покровительница Параскевы Ксения Блаженная?) воспрепятствовало приросту семейства вдовы столь греховным образом.

Если отвлечься от специфики двух сюжетов (коломенского и пушкинского), то в схеме их мотивы можно представить следующим образом:

- *домочадец неожиданно умирает, и это влечет за собой перемены в доме;*
- *влюбленный переодевается в одежду противоположного пола и замещает умершего;*
- *дому грозит разрушение, и хозяйка становится на его защиту.*

Помимо мотивов сюжет включает в себя образы. Некоторые из них ключевые, другие – побочные.

Ключевые образы для обоих сюжетов:

- *дом;*
- *Покров;*
- *переодетый;*
- *Параша.*

Думал ли Пушкин именно в таком ключе, останется в зоне пушкинской неопределенности. Речь не о разгадке, а о возможности обнаружения увязок в рамках гипотетического целого на основе методики, разработанной Веселовским. Пушкинский текст не предполагает разгадок, он только стимулирует догадку.

Две музы

В повести «встречное течение» формируется при помощи наложения сюжета Эмина и коломенского сюжета. В поле жанровых ассоциаций Параша действует как неопытный подражатель, прилагая напрямую заимствованный сюжет и не учитывая особен-

ностей своей культуры. Отсюда чужеродность и смехотворность ее придумки, полной драматизма в сюжете Эмина. «Сюжет» Параша выглядит как подражание, которое «действует более в ширину» [Веселовский 2010: 62].

Пушкин переводит «чужое» на новые рельсы, устанавливая связь с «преданием» («„чужое“ случайно в том смысле, что не связано преданием» [Шайтанов 2011: 43]). Две музы в повести олицетворяют «встречное течение». Одна — «резвушка», то есть покровительница «быстрых повестей». (Как писал Пушкин А. А. Бестужеву, «твой „Турнир“ напоминает „Турниры“ W. Scott’a. Брось этих немцев и обратись к нам православным; да полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами» [Пушкин, IX, 151].) Эту музу в повести он пытается приструнить:

Усядься, муза: ручки в рукава,
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!

Другая — Дева-муза, ее полная противоположность. Предпочтение отдано последней как музе «действительности».

Печалию согрета
Гармония и наших муз, и дев.
Но нравится их жалобный напев.

Этот «напев» и задает тональность метатекста, в котором возникает коломенский сюжет. Там перед нами уже не комедия нравов, построенная «исключительно на наружной оболочке людской» [Катенин 1981: 165], лучшим изобретением которой Катенин считал сюжет с переодеванием. «Правда, что иные задачи уже истасканы, как сначала ни казались забавны и любопытны», — прибавляет он, советуя «дать всему этому отдых, и выдумывать, и перенимать, что менее пригляделось; кому бог пошлет по этой части новую счастливую мысль, может быть уверен в успехе блестящем и продолжительном» [Катенин 1981: 166].

Словно отвечая на этот призыв, Пушкин, всегда чутко относившийся к работам Катенина («Катенинская октава и полемика отозвались на „Домике в Коломне“» [Тынянов, Прибой 1929: 123]), создает сюжет «на встречном течении», вынося его в Коломну и Покров, где развивался самый необычный, уникальный, трагичный и правдивый сюжет покровительницы семьи и дома, Параскевы и Петербурга Ксении Петербургской.

Литература

Аверинцев С. С., Роднянская И. Б. Автор // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1962–1978. Т. 9: Аббасзадэ — Яхутль. 1978. Стб. 28–30.

Аксаков С. Т. Аленький цветочек. Сказка ключницы Пелагеи. М.: Детская литература, 1938.

Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984.

Бельская А. А. Поэтоним «Параша» у А. С. Пушкина и И. С. Тургенева // Ученые записки Орловского государственного университета: ОГУ, 2011. С. 147–153.

Бем А. Л. О Пушкине. Ужгород: Письмена, 1937.

Бонди. Примечания. А. С. Пушкин. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Т. 3. Поэмы, сказки.

- Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. Т. VII. М.: Директ-Медия, 2014.
- Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина: игра по моделям... М.: Языки русской культуры, 1998.
- Гершензон М. Мудрость Пушкина. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 2019.
- Гиппиус В. В., Мейлах Б. С., Орлов А. С., Слонимский А. Л., Якубович Д. П. Пушкин // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). Ред. Б. С. Мейлах. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941–1956.
- Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 153.
- Зубарева В. К. Слово о полку Игореве: новый перевод с комментарием. Изд. 2-е, доп. М.: Языки славянской культуры, 2021.
- Катенин П. А. Размышления и разборы. М.: Искусство, 1981.
- Лямина Е. Из комментария к «Домику в Коломне»: Место действия // *The Real Life of Pierre Delalande: Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin*. Edited by David M. Bethea. Stanford: 2007. С. 67–84.
- Лямина Е. Из комментария к «Домику в Коломне»: О персонажной структуре // Пушкинские чтения в Тарту 4: Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария: Материалы международной конференции. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. С. 110–116.
- Опрышко Н.А. Православные святые. М.: Олма-Пресс, 2002.
- Палехова О. Жизнь литературы в период ПОСТ // Коллаж-5 / РАН. Ин-т философии. Отв. ред. А. Сыроедеева. М., 2007. Вып. 4. С. 104–115.
- Перцов Н. В. О языковом иконизме Пушкина (Из комментариев к поэме «Домик в Коломне») // Московский пушкинист: Ежегод. сб. / Рос. АН ИМЛИ им. А. М. Горького. Пушкин. комис. — М.: Наследие, 1995. Вып. II. 1996. С. 166–201.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. / Сост. Б. В. Томашевский. 4-е изд. Л.: Наука, 1977–1979.
- Роднянская И. Б. Автор // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1962–1978. Т. 9: Аббасзаде Яхутль. 1978. Стб. 30–34.
- Сидяков Л.С. Поэма «Домик в Коломне» и художественные искания Пушкина рубежа 30-х годов XIX века // Пушкинский сборник. Ред. Е. Маймин. Псков: ПГПИ им. С. М. Кирова, 1968. С. 3–14.
- Степанов В. П. Литературные реминисценции у Пушкина // Временник Пушкинской комиссии, 1972 / АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. — Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1974. С. 109–114.
- Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Прибой, 1929.
- Шайтанов И. О. Классическая поэтика неклассической эпохи // Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Сост., послесл., коммент. И. О. Шайтанова. СПб.: Университетская книга, 2011. С. 5–50.
- Шапир М. И. Статьи о Пушкине / Сост. Т. М. Левина; изд. подгот. К. А. Головастиков, Т. М. Левина, И. А. Пильщиков; под общ. ред. И. А. Пильщикова. — М.: Языки славянских культур, 2009.
- Шкловский В. Б. Евгений Онегин (Пушкин и Стерн) // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923.



ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

ЕДИНСТВО ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

(И. С. Тургенев и Алоизиус Бертран)

Иван Сергеевич Тургенев ввел в русскую литературу новый жанр — стихотворение в прозе, создав цикл произведений под двойным заглавием — «Senilia. Стихотворения в прозе» (1878—1882).

Оригинальность, национальное своеобразие и общечеловеческое значение тургеневского цикла были отмечены уже современниками писателя. По отзыву П. В. Анненкова, это «оригинальное и обаятельное явление в высшей степени»¹. Для характеристики этого необычного литературного явления критик использовал и сравнения необычные: определил собрание стихотворений в прозе как «ткань из солнца, радуги, алмазов, женских слез и благородной мужской мысли» (10, 456). Н. Невзоров не менее образно назвал тургеневский цикл «калейдоскопом, составленным из разнообразных по величине и качеству бриллиантов», отмечая «необычайную силу выраженных в этом калейдоскопе мыслей и чувств» (10, 462).

Несмотря на значительные успехи в их изучении, «Стихотворения в прозе» по-прежнему представляют для читателей и исследователей ряд загадок. Так, до конца не проясненной остается проблема творческой истории и литературных источников

Алла Анатольевна Новикова-Строганова — доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), историк литературы.

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — М.: Наука, 1978—1982. — Сочинения: В 12 т. — Т. 10. — С. 456. Далее сочинения И. С. Тургенева цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы.

цикла. В литературоведении предпринимались попытки соотнесения отдельных стихотворений в прозе Тургенева с произведениями Гейне, Гофмана, Леопарди² — с учетом определенной близости жанровой природы. Однако, как подчеркнул академик М. П. Алексеев, из всех параллелей «важнее всего те, которые ведут нас во французскую литературу, так как во Франции возник и самый термин, которым пользовался Тургенев, и создано было наибольшее количество произведений, близких к его „Senilia“ в жанровом отношении» (10, 472—473). В то же время ученый указал, что проведенные сопоставления отдельных стихотворений в прозе Тургенева и Бодлера малоубедительны (см.: 10, 474).

Действительно, сходство Тургенева с французским поэтом Шарлем Бодлером преувеличенно и формально. Прежде всего отличаются источник вдохновения и общее настроение созданных ими произведений. Печаль Тургенева по-пушкински «светла». «Что за гуманность, что за теплое слово при простоте и радужных красках, что за грусть, покорность судьбе и радость за человеческое свое существование» (10, 455), — восхищался критик Анненков. Но — в отличие от тургеневского — чувство Бодлера исполнено разочарования и гнева.

Итальянская исследовательница Анна Ло Гатто Мавер в статье «Несколько гипотез по использованию французских образцов в „Стихотворениях в прозе“ Тургенева» справедливо заметила: «Меланхолия и понимание человечества со всеми его ошибками, некоторый вид абстракции в выражении чувств и мыслей в поэзии сближают Тургенева с Бертраном, но не с Бодлером. Грусть Бодлера полна боли и горечи, которые трансформируются в ярость, иронию и сарказм. В ней нет нежности, печальной мечтательности Тургенева и Бертрана»³.

Именно с Бертраном связано зарождение стихотворения в прозе как особого поэтического жанра — не только во французской, но и в мировой литературе.

Жак Луи Наполеон Бертран, или — как он любил именовать себя на старинный манер — Алоизиус Бертран (1807—1841), — поэт-романтик, умерший от туберкулеза в возрасте 34 лет, малоизвестен за пределами Франции. В настоящее время его знают как автора единственной небольшой книги стихотворений в прозе. При жизни он не был оценен по достоинству, а после смерти почти забыт. Показательной самохарактеристикой-предвидением могут служить строки из письма поэта: «Прошло время, а мой час не настал. До сих пор я лишь червь, который дремлет в своей куколке, ожидая, что его либо раздавит нога прохожего, либо луч солнца дарует ему крылья. <...> Погруженный в созерцательную жизнь, заточенный, как монах в келье, в круге своих занятий и искусства, изолированный и никому не известный, я с невыразимо тоскливой болью, от которой кровь приливает к сердцу, делюсь с Вами моим горем»⁴.

Бертран не надеялся, что книга «какого-то бедного бумагомарателя», «бывшего иной раз замечательным поэтом»⁵ (как он именовал себя), обретет широкое читательское признание. Обращаясь в посвящении к Виктору Гюго, поэт говорит о «неведомом библиофиле», который когда-нибудь «извлечет из могилы эту заплесневевшую,

² См.: Чистова И. С. Тургенев и Леопарди (к вопросу о литературных источниках «Стихотворений в прозе») // Тургенев и его современники. — Л.: Наука, 1977. — С. 142—152.

³ Lo Gatto Maver Anna. Quelques hypotheses sur les modèles français des «Poèmes en prose» de Tourguèniev // Tourguèniev et l'Europe. Actes du Congrès du Centenaire 1883—1983. Association des d' Tourguèniev, Pauline Viardot et Maria Malibran. — 1983. — № 7. — P. 55.

⁴ Цит. по: Балашов Н. И. Алоизиус Бертран и рождение стихотворения в прозе // Бертран Алоизиус. Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло. — Серия: Литературные памятники. — М.: Наука, 1981. — С. 263.

⁵ Там же. — С. 266.

трухлявую книжицу» и «на первой странице прочтет твое прославленное имя, которому моего имени не спасти от забвения»⁶.

Тургенев, будучи маститым писателем, также высказывал сомнения относительно долговечной судьбы своих «Стихотворений в прозе». Он писал Д. В. Григоровичу 3 (15) декабря 1882 года: «...и „река времен в своем течении“ унесет в лоно забвения эти легонькие листки...» (10, 460). Время не подтвердило этот пессимистический прогноз. Цикл «*Senilia*» («Старческое»), одно из наиболее совершенных созданий «позднего» Тургенева, признанный шедевр мировой литературы, показал, что для жанра стихотворений в прозе «час настал».

Бертран — родоначальник стихотворения в прозе — этим жанровым обозначением еще не пользовался. В то же время французский художник слова хорошо сознавал жанрово-стилевое новаторство своего литературного детища, говоря о нем как о «новом жанре прозы»: «„Гаспар из тьмы“, эта излюбленная книга моего сердца, в которой я попытался создать новый жанр прозы» (263). Полное название книги Бертраана — «Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло» (1842). Первое издание было осуществлено с большими трудностями — и лишь через год после смерти поэта.

Литературные эксперименты Алоизиуса Бертраана впоследствии вдохновили Шарля Бодлера на создание его «Маленьких стихотворений в прозе» («*Petits poèmes en prose*» — 1869), с появлением которых новый жанровый термин вошел в употребление. Бодлер прямо ссылался на художественный опыт своего предшественника в предисловии к циклу, адресуясь к журналисту Арсену Уссе: «Я должен сделать Вам маленькое признание. Перелистывая по меньшей мере в двадцатый раз знаменитую книгу Алоизия Бертраана „Гаспар из тьмы“ <...>, я набрел на мысль — попытаться сделать нечто в том же роде, применив к изображению современной жизни или, вернее, духовной жизни одного современного человека тот самый прием, который был применен им к описанию жизни былых времен» (10, 473–474).

Продолжатель Бертраана отчетливо понимал, какие широкие творческие возможности открывает перед писателем новая жанровая форма, насколько она может быть привлекательной и «удобной» для читателя: «Мы можем прервать в любой момент я — свои мечтания, вы — просмотр рукописи, читатель — свое чтение, ибо я не связываю своенравной воли его бесконечной нитью сложнейшей интриги. Выньте любой позвонок, и обе части этого капризно извивающегося вымысла соединятся между собой без малейшего затруднения» (10, 473).

На тот же принцип относительно свободной композиции впоследствии указал Тургенев в авторском обращении «К читателю», помещенном в качестве предисловия к циклу «*Senilia*»: «Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд <...> Но читай их враздробь: сегодня одно, завтра — другое, и которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу» (10, 125).

Вопрос о том, знал ли Тургенев о Бертраане, читал ли его книгу «Гаспар из тьмы», остается в литературоведении открытым. Насколько известно, русский писатель нигде и никогда не упоминал имени поэта, основательно забытого даже в его родной Франции к тому времени, когда туда переехал Тургенев.

Называя творение Бертраана «знаменитой книгой», Шарль Бодлер выдавал желаемое за действительное, стремясь вернуть «Гаспара из тьмы» из тьмы забвения.

⁶ Бертраан Алоизиус. Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло. — Серия: Литературные памятники. — М.: Наука, 1981. — С. 27. Далее произведения А. Бертраана цитируются по этому изданию с указанием страниц.

В письме к Арсену Уссе Бодлер в скобках замечал: «(книга, известная Вам и нескольким нашим друзьям, неужели она не имеет права быть названной знаменитой?)»⁷

В то же время не исключается возможность, что Тургенев мог, по крайней мере, слышать о Бертроне в кругу французских литераторов. Анна Ло Гатто Мавер выдвинула предположение о том, что русский писатель мог также знать о Бертроне по рассказам о его «закадычном друге» — французском актере Гаспаре Дебюро — «знаменитом ярмарочном клоуне» в амплу «печального Пьеро», хорошо известном в литературном мире Франции, куда его ввел Шарль Бодлер. «Мэтр романтизма» Виктор Гюго, который одобрительно отзывался о стихотворных опытах Бертрона, лично встречался с Дебюро. Не исключено, что дружба поэта Алоизиуса Бертрона и актера Гаспара Дебюро проясняет загадку заглавия книги «Гаспар из тьмы», хотя существуют и другие версии истолкования смысла заглавия.

Все же гипотезу итальянской исследовательницы следует признать маловероятной, поскольку и Бертрона, и Дебюро к тому времени, когда Тургенев тесно общался с французскими писателями, уже давно не было в живых, и они мало кого интересовали. Но бесспорен тот факт, что «печальный писатель России» («самый печальный из людей», как отзывалась о Тургеневе Полина Виардо) для того, чтобы описать свои мысли и самые глубокие лирические переживания, избрал ту же форму стихотворения в прозе, которую во французской словесности открыл Бертран — «маленький печальный Пьеро», подверженный приступам меланхолии и душевной тоски.

В «Стихотворениях в прозе» Тургенева и «Фантазиях» Бертрона творческая индивидуальность русского писателя-реалиста и французского поэта-романтика проявляется настолько ярко, что вопрос о том, знал или нет Тургенев о книге Бертрона, отходит на второй план. Вместе с тем лирико-философские раздумья, определенный круг проблем: человек и мироздание, быстротечность жизни и неизбежность смерти, гармония и трагизм бытия — позволяют установить типологические связи между циклами произведений двух авторов.

Сюжетно-содержательная сторона стихотворений в прозе русского и французского художников слова не имеет практически ничего сходного. Бертран целиком погружен в средневековое прошлое Франции, в историю своего родного города Дижона — некогда славной столицы Бургундии. Трепетная мечтательность романтика, беззащитного и растерянного перед жестокой и совсем непоэтичной реальностью, вызывает острое желание укрыться, спрятаться от нее в идеальном мире, созданном в собственном воображении Бертрона. Для личности и мироощущения художника, который не только сочинял, но и жил как романтик, показателен следующий факт его биографии: умирающий поэт-одиночка, страдавший, по его словам, «дикарской гордостью и необщительностью» (266), сгорая от стыда за свою нищету, буквально спрятался, укрывшись с головой, под одеялом, когда в больнице для бедных его навестил скульптор Давид д'Анже, желавший предложить дружескую помощь.

Книга Бертрона изобилует типично романтическими образами, уводящими их создателя в дивное царство волшебной мечты. Бертрановские стихотворения в прозе переполнены старинными замками, готическими храмами, башнями и колокольнями, рыцарскими турнирами и разбойничьими набегами, феями и гномами, водяными и сильфидами, алхимиками и астрологами, кудесниками и палачами. Эта доходящая до пестроты многоликость в описаниях жизни, по словам Бодлера, «столь странной для нас и столь живописной» (10, 474), в эстетике романтизма создает ощущение «картинности», непосредственной связи творчества художника слова с творениями художни-

⁷ Baudelaire. Oeuvres complètes. Préface, présentation et notes de Marcel A. Ruff. — Paris. Ed. du Seuil, 1968. — P. 146.

ков кисти. Вторая часть заглавия книги Бертрана — «Фантазии в манере Рембрандта и Калло» — напрямую отсылает к живописной манере старых мастеров.

Искусство великого голландского художника Харменса Ван Рейна Рембрандта (1606—1669) и французского живописца, гравера, офортиста периода перехода от Ренессанса к барокко Жака Калло (1592 или 1593—1635) явилось для поэта источником вдохновения и творческой энергии, породившей стремление новаторски соединить литературную манеру с живописной. Бертран ощутил, что для воплощения этой цели требуется особая художественная форма — более свободная, чем стихи, и в то же время более организованная ритмически, чем проза. Необычный жанр, открытый поэтом, определил оригинальность его творчества и позволил не только следовать мастерам голландской и фламандской художественных школ XVI—XVII веков, но даже творчески состязаться с ними, живописуя словами затейливые сценки, причудливые пейзажи и замысловатые интерьеры.

Тургенев также выступал знатоком и тонким ценителем живописи. Например, его очерк «Поездка в Альбано и Фраскати (воспоминание об А. А. Иванове)» (1861) свидетельствует об активном взаимодействии двух видов искусства — словесного и живописного. В то же время очевидна самобытность тургеневской художественности. Созданные писателем на закате дней неповторимые «пейзажи души» не передаваемы живописью и не имеют аналогов в изящной словесности.

«Литературная живопись» тургеневских «Стихотворений в прозе» представлена в иной манере, чем у экзальтированного романтика Бертрана. На пересечение искусства слова и живописи в поэтике цикла указывал сам Тургенев, когда объяснял редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу, посетившему писателя в Буживале, особенности жанровой природы своего нового творения: «это нечто вроде того, что художники называют эскизами, этюдами с натуры, которыми они потом пользуются, когда пишут большую картину» (10, 452).

Эскизы, этюды, предварительные наброски более динамичные, композиционно свободные, «воздушные» по сравнению с законченными полотнами. Эту особенность почувствовали современники Тургенева, расценив его «Стихотворения в прозе» как «мимолетные наброски», «отрывки», «поэтические искры». Так, в газете «Одесский листок» 8 (20) декабря 1882 года отмечалось: «Искры дышат поэзией и глубиной мысли; нужно ли говорить о том высоком наслаждении, которое испытывает читатель, любясь этими мимолетными набросками, этими художественными отрывками, от которых веет бодростью, свежестью, молодостью великого бессмертного таланта и глубоко любящего сердца» (10, 461).

Анализ цветового строя стихотворно-прозаических циклов Тургенева и Бертрана показывает, что французский поэт пользовался полноцветными, насыщенными красками: доминируют «синий», «зеленый», «золотой», «красный». В палитре русского художника слова преобладают пастельные тона, краски более нежные, прозрачные: «синеватый», «бледно-зеленый», «лазурный», «перламутровый» — с преобладанием «серого», «дымчатого», «седого» цветовых оттенков. Живопись цикла «*Senilia*» позволяет читателю не только понять, но буквально увидеть, что размышления и воспоминания автора словно подернуты пеллом отгоревшей, угасающей жизни, сочные краски которой лишь на миг выхватывает из сгустившегося ночного мрака «трепетный огонек» (10, 129) («Собака», «Роза», «Старик» и другие).

Многокрасочность в миниатюрах Бертрана также предстает как яркое световое пятно, выхваченное из тьмы, будто на потемневшей от времени картине, «столь закопченной, что на ней уже ничего нельзя разобрать» (55) («Библиофил», «Продавец тюльпанов», «Серенада», «Алхимик», «Готическая комната», «Келья» и др.). Например,

в миниатюре «Саламандра» нарисована темная «каморка из копоты и пепла». Но в очаге разгорается пламя, переливающееся «розовыми, голубыми, красными, желтыми, белыми и лиловыми блестками» (68).

Стихотворения в прозе обоих авторов представляют собой по преимуществу «ночной пейзаж души». Вокруг художественных полотен словно сгущается ночная мгла. В этом отношении показательны лирические миниатюры Тургенева «Песочные часы», «Я встал ночью...», «Как хороши, как свежи были розы...» и, например, «Ночные бродяги», «Лунный свет», «Вечерня» Бертрана; в целом третья книга его «Фантазий» — «Ночь и ее причуды».

Философско-поэтическая символика света и тьмы, развернутая метафора угасающей жизни последовательно раскрываются в мотивном комплексе тургеневского шедевра «Как хороши, как свежи были розы...»: «...в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол <...> А в комнате все темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке <...> Свеча меркнет и гаснет <...> Мне холодно... Я зябну... И все они умерли... умерли... Как хороши, как свежи были розы...» (10, 168). Рефренный повтор строки полузабытого стихотворения И. П. Мятлева (1796—1844) «Розы» (1834) задает элегическую тональность и ритмически организует весь текст.

На философско-содержательном и отчасти стилистическом уровнях сходные мотивы различимы в стихотворно-прозаических строках Бертрана: «Но увя! У меня уже нет солнца с того дня, как закрылись прекрасные очи, согревавшие мне душу!» («Шевремор» — 100); «И мне слышались как бы вздохи и рыдания, в то время как пламя, ставшее мертвенно-бледным, затухало в опечаленном очаге» («Саламандра» — 68).

Общность эмоциональной атмосферы, лидирующей тональности циклов стихотворений в прозе двух авторов во многом объясняется тем, что оба создавали свои творения в последние годы жизни, рассматривая их как итоговые, подводящие черту земному и творческому пути. Л. Пич вспоминал, что когда Тургеневым все сильнее овладевала старческая тоска, «он написал много поэтических видений, воспоминаний и аллегорий глубоко пессимистического содержания, замечательных то грандиозной смелостью, то увлекательной грацией рисунка. Он назвал эти произведения „Senilia“» (10, 458).

Бертран, имевший, по словам современника, «чело серьезного и задумчивого старца», так же, как и Тургенев, мог бы сообщить своей книге подзаголовок «Senilia» («Старческое»). Во внешнем и внутреннем облике поэта парадоксально соединялись юность, даже детскость, и умудренность с приметами старения и дряхлости. Психологический портрет Бертрана, нарисованный его другом и единомышленником Теофилом Готье в повести «Онуфрий, или Фантастические невзгоды некоего поклонника Гофмана» (1833), передает самую суть характера молодого романтика, рано надломленного столкновением с жизнью, нуждой, болезнями, предчувствием преждевременной смерти: «...всматриваясь в черты его бледного и усталого лица, вы начинали замечать, что в них сквозит нечто неопределенное, нечто детское, какое-то неуловимое сочетание ребячества и дряхлости» (313). Бертран писал: «Еще одна весна — еще луч майского солнца на челе юного поэта среди людской сутолоки, на челе старого дуба в лесной чаще!» («Еще одна весна» — 101).

Русского и французского авторов объединяют тоска по утраченной молодости, увядаемое жизнелюбие и элегические раздумья в преддверии близкой кончины. Показательны в этом смысле тургеневские шедевры «Посещение», «Чья вина?», «О моя молодость! О моя свежесть!» и «Еще одна весна», «Ангел и фея» Бертрана. Безнадеж-

ный характер носят лирические миниатюры Тургенева «Старуха», «Череп», «Встреча» и другие. Полны ужаса и мучений такие бертрановские «фантазии», как «Сон», «Ночь после сражения», «Виселица».

Один из характерных тургеневских образов, символизирующих трагизм человеческой жизни, — «на смерть раненная птица» (10, 167) («Без гнезда», «Куропатки», «Что я буду думать?»). Не тождествен, но близок этому символу образ «недоношенного орленка», с которым Бертран сравнивает самого себя. В кругу той же образности — метафора жизненного пути поэта-романтика: «...яйцо судеб моих, не согретое в гнезде теплыми крыльями благоденствия, осталось таким же пустым, таким же убогим» («Господину Давиду д'Анже, скульптору» — 122).

В миниатюре «Шевремерт» мотив вселенского одиночества человека приобретает новое семантическое наполнение, усиливающее чувства трепета и отчаяния перед неведомым и неизбежным. Метафора судьбы-пустыни трансформируется в образ души-пустыни, «где уже не слышится голос Иоанна Крестителя!» (100): «Так и душа моя — пустыня, и я, стоя на краю бездны, воздев одну руку к жизни, другую протянув к смерти, безутешно рыдаю» (100). Подобно тургеневскому, мироощущение лирического героя Бертрана столь же трагично: «Скажи мне, друг, если знаешь, — обращался поэт к Давиду Д'Анже, — не представляет ли собой человек, хрупкая игрушка, подвешенная за ниточку страстей, не представляет ли он собою всего лишь паяца, которого подтачивает жизнь и разбивает смерть?» (122).

Иногда поразительно родственными выступают проявления духовно-душевной жизни лирического героя стихотворного цикла Тургенева и «фантазий» Бертрана. Так, в миниатюре «Мне жаль...» Тургенев пишет: «Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц... всего живущего» (10, 174). Подобное острое переживание всеобъемлющей любви-жалости, сострадания ко всему живому, но с элементами мифологического, сказочного восприятия мира испытывают маленькие герои Бертрана в стихотворении в прозе «Дождик»: «Им жалко лань-беглянку <...> и забившуюся в расщелину дуба белочку <...> Им жалко птичек — трясогузку, которая только собственным крылышком может накрыть свой выводок, и соловья, потому что с розы, его возлюбленной, ветер срывает лепесток за лепестком. Им жалко даже светлячка, которого капля дождика низвергает в пучины густого мха. Им жалко запоздавшего путника <...> Но особенно жалко им ребятишек, которые, сбившись с пути, могут прельститься тропой, протоптанной шайкой грабителей, или направиться на огонек, зажженный людоедкой» (109–110).

Обоих художников роднит также стремление постичь загадки бытия, метафизические глубины вселенской жизни, проникнуть в сокровенную сущность природы с ее поэзией и тайной. В Тургеневе, по словам Тютчева, поражает «сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного»⁸. Яркие примеры — в «стихотворениях в прозе» «Разговор», «Нимфы», «Природа», «Дрозд (I)» и других.

Бертран же, в отличие от Тургенева, — романтик до мозга костей — полностью погружался в свой ирреальный мир («Хоровод под колоколом», «Ундина», «Водяной», «Два ангела» и другие). По отзыву Т. Готье, «находясь в самой гуще реальной и кипучей действительности», поэт «умудрялся <...> создавать свой собственный мир, полный экзотических видений, куда нелегко было проникнуть непосвященному. В самых обычных вещах он привык искать их сверхъестественную сущность, и нередко какая-нибудь банальная и незначительная деталь обретала под его пером фантастический смысл» (313–314).

⁸ Цит. по: Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. — М.: АН СССР, 1962. — С. 186.

«Фантазии» Бертрана нередко носят характер колдовского наваждения, так что читатель вовлекается в чародейную атмосферу загадочного «Гаспара из тьмы». Поэт гипнотически завораживает картинными образами, подыскивая для их создания исключительно редкостное слово, обретающее душу и плоть.

Тщательная словесно-художественная отделка творений Бертрана, беззаветно служившего культу искусства, сродни священнодействию. Французские поэты XIX века, отмечает современный исследователь, «лелеяли „религию“ своего труда как душеспасения и вместе с тем спасения рода людского через Красоту (она же Истина, и непременно с большой буквы), возвращали в себе и насаждали в своих кружках самосознание такого священничества от культуры»⁹.

Эстетизм как принципиальная поэтическая установка просвечивает буквально в каждой строке Бертрана: «Луна расчесывала свои кудри гребешком из черного дерева, осыпая холмы, долины и леса целым дождем светлячков» (59); «...земля — благоухающий цветок, пестиком и тычинками коему служат луна и звезды!» (57); «...ветерок, распахнув неплотно затворенное окно, бросил мне на подушку сорванные грозой лепестки жасмина» (63). Выразительно-изобразительные примеры такого рода, из которых видно, как художник шлифовал текст, взвешивая каждое слово, можно продолжать и множить.

Молитвенное преклонение перед божеством Красоты сочеталось с острым видением безобразных сторон жизни. Воображением поэта был создан жуткий и отвратительный персонаж — гном Скарбо, напоминающий то ли паука, то ли жука-скарабея с человеческой головой («Готическая комната», «Скарбо», «Карлик», «Дурачок»). «Отвращение, страх, даже ужас» (10, 151) возбуждает зловещий символ смерти — насекомое, описанное в тургеневской миниатюре («Насекомое»).

Обоим авторам также присуще предчувствие вселенской катастрофичности («Конец света» в цикле Тургенева, «Второй человек» у Бертрана). «Труба Архангела прогремела из бездны в бездну, в то время как все с грохотом рушилось: и небосвод, и земля, и солнце, ибо не стало человека — краеугольного камня мироздания» (103–104), — писал французский романтик.

В отличие от него Тургенев постепенно идет к преодолению ужаса вселенской катастрофы и метафизического одиночества («Собака», «Нищий», «Воробей», «Милостыня», «Голуби», «Морское плавание», «Ты заплакал», «У — а... У — а!»). Идея о вселенской гармонии как законе бытия — в центре раздумий автора «Стихотворений в прозе». Из множества разрозненных индивидуальностей, единичных «конечных» существований складывается в итоге бесконечность всеобщей жизни: «...нужно, чтобы жизнь не прекращалась, собственная и чужая — все та же всеобщая жизнь» («Два брата» — 10, 156).

Из беспросветных трагических размышлений о хрупкости и мимолетности земного существования лирический герой Тургенева обретает выход к свету, в «неувядаемый рай» — «царство лазури, света, молодости и счастья» («Лазурное царство» — 10, 152), тогда как Гаспар Бертрана в финале его книги окончательно погружается во тьму мрака и отчаяния: «Я тоже отметил свою фишку в житейской игре, где мы беспрестанно проигрываем» («Господину Сент-Беву» — 194). Единственной наградой и утешением поэту становятся открытые им «новые основы гармонии и красок» (23–24).

Новаторская жанрово-эстетическая структура, изобретенная Бертраном для решения сравнительно узких романтических художественных задач, в творчестве Тургенева получила мощный импульс к дальнейшему развитию. Автору «Стихотворений

⁹ Великовский С. Вехи и мастера французской поэзии XIX века // Поэзия Франции. Век XIX. — М.: Худож. лит., 1985. — С. 17.

в прозе» тоже свойственно романтическое переживание мира, но при этом тургеневский цикл охватывает самый широкий круг тем, проблем, настроений. На это разнообразие обратили внимание уже современники писателя: «...здесь и <...> мечты, и надежды, и любовь к родине, и сомнения в русском обществе, и мысли о себе самом и своей судьбе» (10, 463), — отмечал А. Незеленов в работе «Тургенев в его произведениях» (СПб., 1885).

Так, в стихотворении в прозе «Деревня» реалистически точно рисуются средне-русский пейзаж и деревенский быт в узнаваемых деталях и приметах. В то же время этнографически тщательные описания представлены столь прочувствованно и глубоко лирично, что из каждой любовно выписанной детали простонародной жизни вырастает обобщенный образ родины, России: «Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!» (10, 125); «Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный, крутогривый конек»; «...целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. <...> То-то будет спать на нем славно!» (10, 125).

Особым национально-патриотическим настроением проникнуто знаменитое стихотворение в прозе «Русский язык» (1882), которое со временем не покрылось ни пылью забвения, ни коркой хрестоматийного глянца, но и сегодня звучит столь же актуально, как и за все более чем 140 лет, прошедшие с момента его создания.

Свое достойное выражение, свои отзвуки нашли в тургеневском цикле христианские упования («Христос», «Молитва»); мысли и чувства человека из народа («Нищий», «Маша», «Ши», «Два богача»); жертвенный героизм («Порог», «Дрозд (II)», «Памяти Ю. П. Вревской»); извечное человеческое желание «остановить прекрасное мгновенье» («Стой!», «Когда меня не будет...»); многие другие темы, мотивы и образы.

Тургенев, новаторски разрабатывая жанр стихотворения в прозе, представил его в многообразных разновидностях. Это зарисовки, мини-рассказы, философские размышления, развернутые аллегории, «то элегии, то басни, то эпиграммы» (10, 462), — замечал современник Тургенева, — то «возвышенные мечты и сказки маститого беллетриста» (10, 463). Таким способом писатель открывал самые широкие возможности в развитии плодотворной и емкой художественной структуры, переплавляющей поэзию и прозу в новое эстетическое единство.

Тургеневу принадлежат открытия не только стиховедческие, но и психологические, человековедческие. О глубоком облагораживающем, нравственно возвышающем воздействии тургеневского цикла говорил современник писателя Арс. Введенский: «„Стихотворения“ И. С. Тургенева — действительно стихотворения, проникнутые гуманной мыслью, которая постоянно и неумолчно звучит в каждом отрывке. <...> Но и короткие отзвуки душевной жизни поэта, выражающиеся в чрезвычайно поэтических, целостных, западающих в душу образах, не пройдут бесследно в душе читателя и вызовут чувства, не совсем обычные в наше беспощадное время» (10, 461).

При всем разнообразии тематики тургеневского цикла он воспринимается как единое художественное целое. Цельности восприятия способствуют ритмико-стилистическая организация текста, некоторые повторяющиеся композиционные приемы. Так, например, обращают на себя внимание финалы стихотворений в прозе — итоги раздумий умудренного жизнью автора. Зачастую они сформулированы как емкие, врезающиеся в память афоризмы: «Житье дуракам между трусами» («Дурак» — 10, 138); «Только любовью держится и движется жизнь» («Воробей» — 10, 142); «Далеко Ротшильду до этого мужика!» («Два богача» — 10, 153); «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать» («Житейское правило» — 10, 179); «Благодарность — долг; всякий честный человек платит свои долги... но любовь — не деньги» («Путь к любви» — 10, 185).

Концовки «фантазий» Бертрана по большей части непредсказуемы. Например, в миниатюре «Каменщик» герой весь свой день посвящает самому мирному, созидательному труду — высоко на воздушных строительных лесах возводит сооружение, с любовью обозревая сверху архитектурные постройки города «с его тридцатью церквями», «бездну галерей, башенок, окон, парусов, колоколенок, крыш и балок» (32), «крепостные сооружения звездоподобных очертаний» (33). Но финал звучит резким диссонансом — неожиданно возникает картина пожара, войны и разрушений: «Вечером же, когда прекрасный неф храма уснул, сложив руки крестом, он (каменщик. — А. Н.-С.) со своей лесенки увидел на горизонте деревню, подожженную солдатней» (33). Так трагически переплетаются небо и земля, прекрасное и ужасное, созидание и разрушение, мир и война.

Герой бертрановского стихотворения «Щеголь» с его нарядной внешностью, франтовато закрученными усами, на первый взгляд ведет себя хвастливо и вызывающе: «разгуливал, лихо подбоченясь, расталкивал мужчин и улыбался дамам» (49). Но финал показывает, что это лишь бравада обедневшего человека, который и в безобразии нищеты силится остаться эстетом: «На обед денег у него не хватало, поэтому он купил себе букетик фиалок» (49).

Известно, как тщательно работали русский и французский художники слова над тем, чтобы придать своим творениям совершенную, изысканную форму. Бертран в своей книге признавался: «Эта рукопись поведает вам <...> сколько инструментов испробовал я, прежде чем нашел тот, что издает чистый и выразительный звук, сколько кистей я извел, прежде чем заметил на полотне слабые признаки светотени» (23).

Оттачивая выразительные возможности слова, Тургенев провел огромную ритмико-стилистическую правку текстов стихотворений в прозе и дал читателям «понимание красоты языка, красоты фразы, любовь к этой красоте, к музыке речи»¹⁰. «Сам язык, известный, гармонический, образный тургеневский язык — производит впечатление скорее стихов, чем прозы» (10, 461), — отмечали современники писателя.

В рукописях Тургенев дал следующее жанровое обозначение цикла: «Стихотворения без ритма и размера» (10, 445). «Синтез поэзии и прозы» у писателя «имеет осознанный характер, акцентностиховую ритмическую основу с противостоящим стиху гашением ритмической инерции»¹¹. Работая над стилем, Тургенев сознательно убирал в тексте рифмы и стихотворные ритмы. В то же время его произведения — настоящая поэзия даже в прозе. Многие строки сохраняют стихотворную ритмическую организацию. Так, например, миниатюру «Нимфы» венчает поэтическая строка: «Но как мне было жаль исчезнувших богинь!» (10, 159).

Тургеневская художественная практика шла в направлении от живописности к углублению психологизма, лирического самоанализа в форме внутреннего авторского монолога. Личностное, лирико-эпическое начало сформировало «удивительно симпатичный образ автора» — композиционный центр «Стихотворений в прозе». По отзыву Анненкова, «личное-то в них и играет первую и самую блестящую роль; личное-то и составляет их *raison d'être* <аромат> и прелесть» (10, 455). В целом цикл стихотворений в прозе Тургенева приобрел качества своеобразного лирического дневника, осердеченного искренним чувством и проникнутого глубокой мыслью умудренного жизненным опытом писателя. Бертран же всецело растворился в своих романтических грезах, ирреальных фантазиях и причудах.

¹⁰ Нелидова Л. Ф. Памяти И. С. Тургенева // И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. — М.: Худож. лит., 1969. — Т. 2. — С. 236.

¹¹ См.: Балашов Н. И. Ритмический принцип «Стихотворений в прозе» Тургенева и творческая индивидуальность писателя // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. — 1979. — № 6.

«Кто из нас не мечтал в часы душевного подъема создать чудо поэтической прозы, музыкальной без ритма и без рифмы, настолько гибкой и упругой, чтобы передать лирические движения души, неуловимые переливы мечты, содроганья совести?» (10, 474) — риторически вопрошал Шарль Бодлер. Такое «чудо поэтической прозы» создал в русской словесности Иван Сергеевич Тургенев. У истоков этих художественных свершений в литературе французской стоял Алоизиус Бертран.

ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Александр БАЛТИН

К 100-ЛЕТИЮ В. СОЛОУХИНА

Счастье тихой охоты — отодвигаются тугие, слегка пружинящие лапы елей, и — под ними крепкий, будто литой боровик, источающий такой аромат, что поверишь в концентрацию чувства счастья.

Или — на полянке милый круг, называемый почему-то ведьминым: желтеют лички, их много, сразу наберешь половину лукошка...

Владимир Солоухин писал сочно и смачно, забираясь в самые дебри грибного счастья, повествуя о бесконечных разновидностях чудесных, почти как эльфы, существ. Впрочем, эльфы — слово не из лексикона Солоухина: он очень русский, так сокровенно связанный с русским космосом, с правдой его, силой, неповторимостью. И в поэзии его заложены коды и ноты счастья, вспыхивающие, например, огнями зимы, даже ежели близкий пейзаж не слишком хорош, но — такое открывается за ним:

Зима разгулялась над городом южным,
По улице ветер летит ледяной.
Промозгло и мутно, туманно и вьюжно...
А горы сверкают своей белизной.

Есть отливы и отзвуки небесной белизны в поэзии и прозе Солоухина: в прозе-поэзии, предложенной им миру, ибо прозаические его тексты строились по принципу необыкновенного внимания ко всякому слову, то есть — поэтически.

«Третья охота» — скорее поэма: царственная, лесная, грибная, а то, что именуется она повестью, так это скорее издательские правила, чем правда творчества.

Александр Львович Балтин родился в Москве в 1967 году. Поэт, прозаик, литературный критик. Автор 85 книг (включая Собрание сочинений в пяти томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 150 изданиях России, Украины, Беларуси, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Дании, Испании, Израиля, Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США.

«Владимирские проселки» требуют своего пути: книгу надо пройти, чтобы прочувствовать.

Лирический лад — и в каждом слове слышатся родные звуки, и радуга радости распростерта — легка и красива. Иди. Смотри. Увидишь самую суть вещей или — сущность пути. И метафизика осмысления яви зажигается огоньками в стихах поэта:

Откуда в сердце сладкая тревога
При виде звезд, рассыпанных в ночи?
Куда нас манит звездная дорога
И что внушают звездные лучи?

Какая власть настойчиво течет к нам?
Какую тайну знают огоньки?
Зачем тоска, что вовсе безотчетна,
И какова природа той тоски?

Постигнет ли мозг самые корни таинственных огоньков? Не так уж важно, ибо путь постижения подразумевает рождение стиха... Или прозаического повествования, берущего силу у поэзии. Лето полыхнет ярко:

Безмолвна неба синева,
Деревья в мареве уснули.
Сгорела вешняя трава
В высоком пламени июля.

Картины Солоухина всегда точны, и разные техники использует он: и графику, и акварель, и гуашь — словесные, разумеется.

То, насколько Солоухин болел Россией, сильнее всего явлено в «Последней ступени», повествовании жестком, требующем вдумчивости и... сострадания.

И наследие В.Солоухина играет нетускнеющими красками.

«Третья охота» раскрывается пышной радостью грибных троп... Рыжики можно есть сырыми, а вовсе не сыроежки, точно по ошибке получившие свое название; а ведь мин круг великолепных желтых, с китайскими складочками, лисичек всегда отзывается детским трепетом в сердце. Нижние, пружинящие ветви елей отгибая, найдешь боровик, в крепости своей точно вышедший из древнерусских преданий...

Солоухин-поэт или Солоухин-прозаик? Взаимодополняющие данности, и в каждой разливается млеко и пахнет домовито хлебом.

...Существует ли гриб-чесночник? Описание его дано, но позволит ли данность встретиться с оным, затерянным в травах знания, мечты и фантазии?..

Хорошо, когда три ипостаси пересекаются, — результат будет загадочен, занятен. Солоухин-поэт раскрывается в прозе не меньше, чем в стихах, и лирика его прозы поступает сквозь каждую линию фразы...

Прошагать с ним по владимирским, столькими поколениями исхоженным тропам, почувствовать то тайное, что редко удастся уловить быстро идущему нынешнему человеку, остановиться, попробовать поймать мгновение... Да и не так их много, слагающихся в жизнь, и ближе к финалу становится понятно, как все быстро.

Россию Солоухин любит мучительно, страстно... Как в «Последней ступени» писатель, крепко укорененный в жизни (этакий боровик!), получающий спецпайки и расхваливающий вождей, встречается с человеком, который переворачивает его мировоззрение, представляя подлинной русской славой — монархизм...

И то, и то разливы русскости: и бездны исчезнувшей империи, и мощь советскую любит Солоухин, ибо все — Россия, ибо столько еще троп в ней не исхожено, столько еще сил не раскрыто...

Плавно и величественно разворачиваются ленты строк: замедленно, будто выкупанные в том волшебном зное, о котором идет речь, текут они — торжественные, как церковная служба:

Ветер
Летит над морем.
Недавно он не был ветром,
А был неподвижным, теплым воздухом над землей.
Он
Окружал ромашки.
Пах он зеленым летом
(Зыбко дрожал над рожью желтый прозрачный зной).

В. Солоухин необыкновенно чувствовал природу: вместе — природу русского, лесного, часто потаенного, церковного. Он использовал крупные слова, словно из них, как из хорошо обработанных камней, созидал здания стихотворений.

Белый стих его действительно играл (но совершенно всерьез) великолепную белизною мгновения, тянувшего на откровения, и чудо жизни, словно стекавшее, срывающееся с проводов строк, попадало прямо в читательское сердце, заражая восторгом:

Жить на земле, душой стремиться в небо —
Вот человека редкостный удел.
Лежу в траве среди лесной поляны,
Березы поднимаются высоко,
И кажется, что все они немножко
Там, наверху, друг к дружке наклонились
И надо мной смыкаются шатром.

Солоухин совмещал — рифмованный стих, белый, верлибр... Он стремился впитать все возможности поэтической субстанции, чтобы, пропустив ее через фильтры собственного дара, вырастить свой, поэтический лес.

Разворачиваются житейские истории: переложенные стихами, они, опаленные проносающимися лентами трагедии жизни, воспринимаются столь необычно, будто смотришь кино, снятое так, что в него можно войти:

«Журавли улетели, журавли улетели!
От холодных ветров потемнела земля.
Лишь оставила стая средь бурь и метелей
Одного с перебитым крылом журавля».
Ресторанная песенка. Много ли надо,
Чтоб мужчина сверкнул полупьяной слезой?
Я в певце узнаю одногодка солдата,
Опаленного прошлой войной.

Густ и медов стих Солоухина, ладно скроен, крепко шит.

И седые, обомшелые валуны, и пение ручья, и дремучая гушь лесная — они персонажи и собеседники, они — часть человеческой, поэтической души и, живописанные Солоухиным, словно приобретают новые оттенки — в своей бесконечной сложности:

Здесь гуще древесные тени,
Отчетливей волчьи следы,
Свисают сухие коренья
До самой холодной воды.
Ручья захолустное пенье
Да посвисты птичьи слышны,
И пахнут лесным запустеньем
Поросшие мхом валуны.

Зайти на базар, поэтически представленный Солоухиным, увидеть краски его, ощутить запахи: старинный базар, вероятно, ибо поэт всегда тяготел к старорусскому, сочный и плотный, такой:

На базаре квохчут куры,
На базаре хруст овса,
Дремлют лошади понуро,
Каплет деготь с колеса.
На базаре пахнет мясом,
Туши жирные лежат.
А торговки точат лясы,
Зазывают горожан.

Поэт взрастил свой лес: поэтический, густой и пышный, наполненный деревьями чувств и подлеском ощущений, предлагающий валуны мысли и весь пронизанный золотистым светом — надежды, счастья, добра...

РЕЦЕНЗИИ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ?

Леонид Юзефович. Поход на Бар-Хото. М., 2023.

Один мой знакомый — немецкий историк Райнхард Айзенер, игравший довольно профессионально на трубе, — рассказывал, как однажды чуть не упал в обморок — был на грани этого, — когда однажды на концерте музыкант, исполнявший соло на трубе, выдал фальшивую ноту.

Вот, наверное, почему, чем старше мы становимся, тем труднее читать художественную литературу. Я имею в виду не классику, а современных авторов. Любая неверная интонация звучит нестерпимой фальшью. Вызывает протест. И уже невозможно преодолеть сопротивление. Откладываешь книгу, чтобы избавиться от чувства негодования, через несколько дней, «остыв», снова берешь то же издание в руки и снова слышишь фальшивые интонации: либо пафоса, либо высокомерной иронии, либо надуманной скорби. И все.

«Не верю!» — основной посыл невозможности продления разговора с автором.

Вот, наверное, почему, чем старше становишься, тем чаще направляешь свои стопы в библиотеке не к разделу «художественная литература», а к тем полкам, где расположились произведения документального жанра: мемуары, воспоминания, биографии, записки очевидцев, — с тем бóльшим основанием, что в стилистическом отношении они не только не уступают современной беллетристике, но чаще всего и превосходят ее.

Вот, наверное, в чем главный секрет мгновенной популярности, большого количества рецензий и откликов читателей на последнюю книгу Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото». Ведь это — самый настоящий мемуар, в чем нам на первых страницах признается герой книги, которому писатель отдает свой голос и свое видение мира.

«Стиль — это человек» — не случайно из всех существующих определений самым цитируемым стало высказывание Бюффона.

Так что же это за человек, которому автор отдал свой голос и свою интонацию, от имени которого он ведет рассказ?

Про Солодовникова — героя романа — можно не колеблясь сказать, что он посетил сей мир в более чем роковые минуты: сначала Монголия, потом Первая мировая война, революция, Гражданская война и, наконец, годы ссылки, которые он проводит в местечке Селенга.

Солодовников стал не только свидетелем «высоких зрелищ», но и участником. Правда, Юзефович оставляет нам его «записки» лишь о самом драматическом моменте жизни: стремительного, кровавого и, как потом становится понятно, совершенно бессмысленного сражения в местечке под названием Бар-Хото.

Сразу оговорюсь, что если мы, зная, чем закончится любой классический роман, будь то Пушкин, Лермонтов или Достоевский, перечитываем его раз за разом, не теряя интереса, то не считаю, если пользоваться современным выражением, «спойлером» изложение некоторых сюжетных линий произведения Юзефовича. Не только сюжет приковывает нас к книге. Интонация — вот что держит наше внимание на коротком поводке.

Правда, «приступая к запискам», Солодовников делится с нами сомнениями: имеет ли он право писать мемуары, — поскольку сыграл слишком скромную роль в истории.. Но ведь для нас важна не его роль. А то, как он рассказывает о случившемся.

Поэтому мы и читаем не отрываясь историю жизни Солодовникова, гадая, что его ждет: сума и тюрьма, пойдет ли он по этапу или вытащит «счастливый билет» — будет мирно доживать свои дни на берегу Селенги, вслушиваясь и вглядываясь в течение жизни, куда ему уже не суждено окунуться.

Горькая, мудрая интонация записок оставляет такое впечатление подлинности, такое ощущение достоверности и правды, что забываешь, кто истинный их автор.

Описания Монголии — страны, которая кажется «дикой, забытой всеми богами: голые степи, странной формы сопки, скудная растительность, холодный вечер, «безжалостный и полный какой-то космической чистоты», — завораживают. Эти описания ощущаешь почти на физическом уровне: и обжигающее солнце, и острый колючий мелкий песок, которым заполнено пространство. Создается даже впечатление, словно Солодовников вернулся к «родным берегам», хотя сам герой признает, сколь неуютен для европейца этот мир.

И вот здесь впервые закрадывается мысль: может быть, буддисты правы и существует такое явление, как перерождение? Иначе откуда вдруг у молодого человека ро-

дом из средней полосы «монгольская грусть»? Каким образом в его сердце вспыхнула необъяснимая любовь, понимание и близость почти марсианской природы? Иначе чем объяснить ощущение родства и близости к столь суровому миру?

Догадываясь, что такой вопрос может возникнуть, автор дает нам прямой ответ от имени героя: потому что «в Петербурге близость верховной власти искажает пропорции вещей», там призраки выдают себя за мужчин и еще чаще — за женщин, «там нет правды, а есть только целесообразность. А здесь, на этой скудной земле, я жил среди живых, видел все цвета мира».

Это осознает почти в самом начале книги герой романа. Осознает на уровне логики, на уровне понимания. Но вспоминая о пережитом через много лет, он находит иные смыслы: «Там, на юге, лежит бедная, пустынная, дикая, прекраснейшая в мире страна моей молодости. Там осталось мое сердце, но я не могу объяснить, почему не пытаюсь вернуть его обратно. У ненависти обязательно найдется причина, а любовь — беспричинна».

Афоризм не просто умного, это афоризм мудрого человека.

Как известно, авторы не случайно выбирают имя и фамилию для героев. Посмотрим, что пишут про фамилию героя: «...люди, носящие эту фамилию несомненно, могут гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России. Так называли людей, приготовлявших солод — сладкое (в полногласной форме „солодкое“) вещество, продукт брожения хлебных злаков. Солод считался на Руси дорогим продуктом. И те, кто им занимался, пользовались уважением. Пиво, солод и хмель входили в состав оброков крестьян за пользование землей. В сборнике норм древнерусского права „Русской правде“ говорится, что вирнику (сборщику платежей и штрафов) в день полагалось ведро солода, а мастерам, занимавшимся ремонтом городских укреплений, помимо денег, корма и питья выдавался солод».

Не обрезаем и дополнительными сведениями, как, например: «Солодовниковых отличает чувство ответственности, они всегда выполняют свои обязательства, трудолюбивы и настойчивы, не боятся преодолевать трудности, они честные, искренние, всегда говорят правду и делают то, что считают правильным».

Похоже, что Леонид Юзефович именно это имел в виду. Герой романа как военный советник «на хорошем счету», о чем говорит его соперник — предприниматель Серов. Герой не покидает поле боя, не бежит (несмотря на уговоры) от реальной опасности, от возможности погибнуть в чужой стране, в непонятно зачем затеянной военной экспедиции. Он взял на себя обязательства и считает, что должен выполнить долг. Завещанное еще Пушкиным наставление Петруше Гриневу «беречь честь» герой принял и для себя как нечто важное, настолько важное, что даже не подлежит обсуждению, что принимается как само собой разумеющееся.

Честность автора записок позволяет ему видеть все происходящее с предельной четкостью, даже когда речь идет о любимой: «К апрелю наши отношения достигли той стадии, когда мужчина и женщина отлично сознают, к чему у них идет дело, но по молчаливому взаимному согласию предпочитают не торопить неизбежное и не делают последнего шага».

В его словах нет ни цинизма, ни пафоса. Есть понимание.

С такой же простотой и беспощадностью показан чрезвычайно сложный для описания момент близости влюбленных — сцена полна той неловкости и нелепостей, из которых часто состоит обыденная жизнь. И в то же время на какую высоту поднимает переживание героя заключительный аккорд: «Телесная опустошенность блажен-

но и при этом болезненно сочеталась во мне с наполненностью души. Помню, я тогда подумал, что единство этих двух противоположных состояний и есть счастье».

Очередное афористическое высказывание, которое тоже ближе к поэзии, чем к прозе, а если продолжить мысль, то вся книга — это поэма в прозе.

Однако удивляться мастерству писателя, имея опыт чтения «Филэллина», «Властелина ветра», «Карлики и журавли», было бы даже странно, это вполне закономерно, это можно сказать ожидаемо.

Но вот когда Леонид описывает сцену камлания — это уже какое-то запредельное постижение.

Действие описано вроде бы также просто, почти бесстрастно, без аффектации, без нажима, с той же ровной интонацией... но выглядит настолько фантастически ярко, что становится страшно... Физически страшно. Словно вырвавшаяся на свободу дикая сила хаоса способна захлестнуть не только участников похода, но и читателя...

Вот тогда понимаешь всю степень писательского мастерства.

Ведь этого похода не было, этого штурма тоже, этого камлания Юзефович не мог видеть!

Но описание вынуждает нас стать свидетелями — очевидцами — случившегося.

Жизнь героя, как признается он сам, прошла «под знаком четырех женщин». Две из них названы близким по звучанию именем.

Одна Лина, а другая Ия. Не правда ли, есть что-то общее в звучании имен — протяженное, ускользающее, неуловимое, что невозможно удержать в руках. И на подсознательном уровне мы улавливаем намек автора: ни та, ни другая не останутся с ним...

Если бы мы были более сведущими в греческой мифологии, то сразу бы угадали, что женское имя Лина в переводе с греческого означает «скорбная песнь».

А если бы мы были более сведущими в христианстве, то поняли, по какой причине автор наделил другую героиню не совсем распространенным именем. Ия — почитаемая преподобомученица.

Только одно показалось мне странным в романе: ни разу Солодовников — даже мельком, даже косвенно — не упоминает о семье, о близких ему людях. Ведь не мог он, если поминать недобрым словом латынь, — *ex ovo patus*, — родиться из яйца. Образ матери, какой бы черствой она ни была, все же сохраняется в душе человека навсегда...

Почему же герой оказался свободен от воспоминаний детства?

Вполне возможно, я не прониклась глубинным замыслом автора показать абсолютное сиротство героя?

Если так, тогда все верно. Солодовников действительно чрезвычайно одинок. Как одинок, наверное, всякий не просто умный, а мудрый человек, переживший столько, что другим и за три жизни не дано увидеть.

Одним из тяжелых испытаний стало то, что его умение, способности, знания военного советника — все оказалось в этом походе ненужным, никакой роли они не сыграли, не стали решающими, более того, оказались неуместными. Сражение развивается не по законам военной логики, а вопреки ей, абсолютно иррациональным образом. Многие европейцу трудно понять в недоступном ему способе мыслить, однако Солодовников смиренно и спокойно формулирует для себя вывод: «Этично ли мне вставать в позу существа с развитой легочной системой, которое с высот своей эволюции взирает на тех, кто для получения кислорода вынужден обходиться жабрами?»

Надеюсь, вы тоже снова слышите почти поэтическую формулу...

Герой романа — глубоко русский человек. В то же время любовь к Монголии словно бы позволила ему принять, воспринять буддийское мировоззрение. Как вы знаете, одна из главных благородных истин учения свидетельствует: «Жизнь есть страдание», а если короче, то просто «существует страдание». С чем часто трудно спорить, даже если человек понятия не имеет о буддизме.

Но вот вторую истину нам принять труднее, потому что причину страдания буддисты видят в страстном желании или привязанности.

Услышав слово «привязанность», сердце европейца вскипает, потому что ему представляется, что, вступив на восьмеричный путь, нужно будет немедленно оставить родных, любимых, близких, то есть какую-то крайнюю степень отрицания, с чем невозможно смириться.

Но вот мы видим, что Солодовников потерял все. Ту страну, которая его взрастила, ту страну, которой он присягал на верность. Женщина, которую он полюбил, оказалась не той, какой она ему представлялась.

Два столпа, на которые опирается человек: любовь к родине, любовь к женщине и семье, оказались майей.

Что же осталось в сухом и горьком остатке?

Верность себе.

А это немаловажно.

Герой не озлобился. Не превратился в ненавистника, который брызжет ядом злобы и разочарования. Он не проклинает окружающую действительность. Солодовников даже не стал едким скептиком. Он по-прежнему глубоко чувствующий и... понимающий человек.

Вот отчего он не соглашается принять жертвенный поступок Ии — как мы помним — «преподобномученицы».

И в то же время Солодовников не смирился: об этом можно судить уже по тому, что он «пишет» записки о пережитом — на память и в назидание потомкам. Это «сумма переживаний» — опыт, который, может быть, когда-нибудь найдет отзвук в душе другого человека.

Да, мы понимаем, в какие минуты он посетил сей мир, мы понимаем, что пережитые им «высокие зрелища» подняли героя над житейскими буднями. Как если бы, осознав, «что жизнь есть страдание», он осознал, что потери принесли важный опыт, который дает ему возможность выразить в афористических формулах свое видение мира. Эти потери сделали его мудрее, позволяют подвести итог и закончить тем, с чего он начал: «Смысл того, о чем рассказывает герой, меняется в процессе работы и полностью открывается лишь после ее завершения».

И что же нам открылось?

Почти чудо.

И оно открылось непосредственно во время выступления Леонида Юзефовича на встрече с читателями в Библиотеке иностранной литературы — неожиданная (на первый взгляд) переключка между романом и жизнью.

Чтобы немного прояснить смысл случившегося, позволю себе еще одну цитату (ну куда денешься от цитирования, если речь идет о писателе?), которая передает состояние, знакомое многим пишущим, многим исследователям и составителям, когда после какого-то долгого вхождения в поток нужные факты, книги, тексты вдруг начинают сами идти в руки.

«Бывают периоды, когда судьба подчиняет себе жизнь и вопреки теории вероятности преобразует ее в ряд якобы случайных совпадений. Я сам создал вокруг себя это

силовое поле...» — пишет герой романа, отмечая, как неожиданно удалось встретиться с теми, кто, казалось бы, должен был находиться за тысячи километров от места ссылки. И благодаря невозможным с точки зрения привычного хода вещей встречам Солодовников узнает многое, что позволило дополнить записки, как бы завершить их, поставить точки в судьбах тех, с кем он был связан.

А мы стали свидетелями того, как начинает работать такое «силовое поле», когда увидели документальные фотографии, сделанные в Монголии примерно в то самое время, когда происходили описанные в романе события.

Появление этих снимков относится к числу невозможных явлений.

Человек (хорошо знавший Леонида Абрамовича) снимал квартиру в Москве и... случайно (!!!) обнаружил под кушеткой папку с фотографиями.

Авторство установить не удалось. Как не удалось узнать и кому принадлежала папка.

Но эти фотографии словно бы стали «документальным свидетельством» достоверности описанных Юзефовичем событий.

Одна из фотографий даже появилась на обложке книги (жаль, что не в полном формате).

И когда мы смотрели эти кадры на экране, меня не покидало чувство, что они были вызваны из акаши.

На всякий случай напомним, что приведенный (из санскрита) термин означает «первичная субстанция» — вселенская система записи, которая фиксирует все мысли, слова и действия, хранилище всего человеческого опыта, запись всех событий или знание прошлого, настоящего и будущего всех вещей...

И похоже, что эти фотографии (недаром мы так и не узнали имени автора) были извлечены из акаши для того, чтобы подтвердить подлинность, достоверность описаний, которые приводятся в книге. Остается только процитировать еще один афоризм Леонида Юзефовича:

«Наша жизнь — то, что мы о ней написали. Все остальное — мираж, майя...»

Людмила СИНИЦЫНА

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОШЛОЕ?

На Потсдамской конференции Черчилль спросил у Сталина, простил ли он его призывы к интервенции во время Гражданской войны.

— Это было в прошлом, — ответил Сталин. — А прошлое принадлежит Богу.

В этом есть определенный смысл, поскольку изменить прошлое мы не можем. Но мы можем его понять. Или попытаться понять.

Именно это обстоятельство сподвигло меня прочитать огромную по сегодняшним меркам книгу **Евгения Попова и Михаила Гундарина «1968» (СПб.: Алетейя, 2024)**.

Два автора этой книги — очевидец и действующее лицо тех лет с одной стороны и тот, кто в то время был ребенком, а сегодня смотрит на это время с позиции исследователя — образовали интереснейший тандем, потому что всякая идея, объясняющая эпоху, тут же подтверждается или опровергается фактами.

И постепенно, по мере погружения в книгу, вдруг становится ясно, что 1968 год был началом времени, в котором мы живем. Ну посудите сами — вот небольшой поселок на берегу Черного моря в Крыму. Утро, люди тянутся к магазинчику, чтобы поправить голову. И вдруг — известие: в Чехословакии советские танки!

Большинство тех, кто это услышал, продолжают идти в магазин, и только поэт Евгений Евтушенко идет в контакт и пишет гневный пост. Точнее, он идет на телеграф и посылает телеграмму протеста Брежневу.

Точно по такой же схеме бунтует молодежь во всем мире, все люди доброй воли, словно кто-то отыскал способ играть на нервах людей, как на пианино, и принялся исполнять симфонию, вздымая волны человеческого гнева.

Тогда это был первый год информационной эры. Видимо, поэтому он и запомнился. Теперь мы в этом живем ежедневно и уже привыкли посылать телеграммы протеста в «Телеграме» или где-то еще.

Все эти поводы, по которым мы гневаемся, уже забыты, а в книге про 1968 год они выстроены в единый ряд и как-то по-детски наивно обнажены. Возникают разного рода вопросы, и становится понятно, что для чего было сделано.

Становится ясно, отчего Чехословакия в 1968 году вдруг взбунтовалась. Это же для нее нетипично. Чехи послушно легли под Гитлера, потом легли под Сталина. Чего это им бунтовать против милейшего Леонида Ильича? Ну чтобы показать, что Леонид Ильич тиран хуже Гитлера и Сталина, разумеется. Эта технология с тех пор успешно применяется, не находите?

Но это зачин книги, а в целом она посвящена судьбам писателей, которые, конечно же, чувствовали, что живут на рубеже эпох, и каждый по-своему пытался приспособиться к новым временам. Эдуард Лимонов покинул свои родные места, на минуточку, Харьков, переселился в Москву, а потом отправился на Запад, в самый центр информационной революции.

Шукшин и Николай Рубцов погибли на взлете, писатели-деревенщики рассердились, а «шестидесятники» стали массово эмигрировать — кто на Запад, кто во внутреннюю эмиграцию. Владимир Высоцкий успешно освоил новую технологию, что такое его песни как не посты ежедневные в контакте? Стал мегауспешен и сгорел на волне этого успеха.

Солженицын уехал на Запад и засел в тамошней глухомани. Он выбрал путь игнорирования времени.

Бардовскую песню пытались сделать послушным орудием в руках партии. Не вышло. Стругацкие стали настолько популярными, что с ними пришлось мириться. Каждый выбирал свой путь, в конечном итоге приведший к тому, что советская культура развалилась окончательно. Она оказалась не приспособленной к новой информационной эпохе. Этот же процесс мы наблюдаем сегодня. С корабля современности падают за борт вчерашние кумиры, в одночасье превратившиеся в иноагентов. Сегодня не крысы бегут с корабля, сегодня с корабля бегут пассажиры первого класса.

Книга странным образом показывает нам, что главенствующая культура сильна, пока за ней стоят армия и флот. Появляется слабость, и от культуры летят клочки по закоулочкам. Холодильник побеждает не только телевизор, но и библиотеку. И таким же странным образом выясняется, что литература, основанная на архетипах, продолжает жить. Здесь не вольны ни холодильник, ни главенствующая культура.

Возникает вывод, что стратегия, когда все силы и ресурсы отдаются злобе дня, не работает. Что в культуре должны быть направления, работающие на вечность. Что их надо поддерживать, чтобы в нужное время можно было именно там черпать поддержку и силы, чтобы жить.

Так что смотрите, какую интересную, нужную и важную книгу написали товарищи Попов и Гундарин! Она помогает осмыслить время, в котором мы живем. А это самое важное, что нам нужно сегодня, как думаете?

Айдар ХУСАИНОВ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ХАРБИН — «РУССКИЙ КИТЕЖ»

Часть 13

Часовня-памятник Венценосным мученикам

В 1936 году при Доме милосердия, у самого входа была воздвигнута часовня-памятник Венценосным мученикам. Это памятник императору Николаю II, царской семье и королю Югославии Александру I (Карагеоргиевичу), покровителю русской эмиграции, убитому в 1934 году. Дата мученической смерти Николая II и членов его семьи ежегодно отмечалась российской эмиграцией во всем мире. Повсеместно в церквах служились панихиды по убиенным. Владыка Нестор очень чтит память об императоре Николае II и цесаревиче Алексее.

Через всю свою жизнь пронес владыка почитание царственных мучеников. Вот как, например, описывает харбинская газета «Заря» празднование 20-летия пребывания архиепископа Камчатского и Петропавловского Нестора в сане епископа 19 октября (1 ноября) 1936 года: «Владыка совершил в храме Дома милосердия всенощную и по окончании ее панихиду по Императоре Николае II, Августейшем Покровителе Камчатского Братства наследнике Алексее Николаевиче, всей Царской Семье, почившим архипастырям, принимавшим участие в хиротонии — митрополите Евсевии, епископе Павле и о. Иоанне Кронштадтском по случаю дня его Ангела [преп. Иоанна Рыльского]. Юбилейное торжество началось литургией, которую совершал высокий юбиляр в сослужении с причтом и городским духовенством. Владыка был в облачении, пожалованном ему [императором Николаем II] в день хиротонии»¹.

Купол часовни Венценосным мученикам был выполнен в виде шапки Мономаха, напоминавший собой шапку-корону русских царей. В часовне находилась неугасимая лампада в форме императорской короны и хоругвь в виде Георгиевского креста, на которой находились российские боевые ордена². Впоследствии в этой часовне был установлен иконостас, и там некоторое время совершались богослужения в будние дни.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Заря. Харбин. 02.11.1936. № 297. С. 5.

² Тыкоцкий Т. Б. // Русская Атлантида. 2003. № 9. С. 16.

Вспоминает бывший харбинец Н. Г. Шарохин: «В Модягоу находилась Батальонная улица, на которой располагался замечательный архитектурный памятник — часовня „Шапка Мономаха“, находившаяся на подворье „Дома милосердия“. Это была часовня округлой формы, завершающаяся имитацией Шапки Мономаха, в которую были вставлены цветные стекла, в вечернее время блистающие красными, синими, зелеными огнями. Это было незабываемое зрелище. Там были замечательные живописные и иконописные сюжеты, привезенные из России. Несмотря на некоторую удаленность от центра, люди любили приезжать сюда полюбоваться этим архитектурным памятником. Подворье и часовня заслонялись обширным парком фирмы Воронцовых, где осенью дети любили смотреть диких амурских косуль, бродивших среди растений. Парк выходил на основную магистраль — Хорватовское шоссе, которое тянулось от Пионерной базы русских строителей Старого Харбина до Нового города. К Модягоу примыкал Славянский городок — веселый конгломерат из небольших одноэтажных домиков, утопавших в зелени садов. В Славянском городке находился интернат для мальчиков „Русский Дом“ с домовою церковью без колокольни, которую заменяла звонница»³.

Приложение 10. А. К. Караулов, В. В. Коростелев. Елей русского покаяния и скорби (Предисловие к публикации брошюры архиепископа Нестора «Часовня — памятник памяти Венценосных Мучеников в г. Харбине»)⁴

До 1945 г. владыка Нестор на Соборной площади Харбина, привселюдно, а после — тайно совершал ежегодно 17 июля панихиду по убиенной в Екатеринбурге Царской Семье и Алапаевским Мученикам. В 1948 г. это обстоятельство, как и сам факт строительства Часовни-Памятника, послужили, среди прочего, основанием для обвинения владыки Нестора в антисоветской деятельности и заключения его в сталинские лагеря.

Югославский король Александр почти не известен русскому читателю. Имя его долгие годы, даже в самой Югославии, замалчивалось, а значение его благородной деятельности умышленно приуменьшалось. Его Королевское Величество Александр I Карагеоргиевич родился 16 декабря 1888 г. Крестник императора Александра III Миротворца, названный сын Царя Мученика Николая II. Он был воспитанником Петербургского Пажеского корпуса, как русский, говорил по-русски и любил Россию. Во время балканских освободительных войн командовал армией сербов, а в Первой мировой войне был Главнокомандующим сербской армии. С 1921 г. — король Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Королевство Югославия), прозванный за мудрую внутреннюю политику «Объединителем».

Октябрьскую революцию и исход многих достойных людей России в эмиграцию король Александр воспринял как личную трагедию. Благодаря его усилиям десятки тысяч русских беженцев получили не только приют в королевстве, но и были приравнены в правах к югославским гражданам. Русские офицеры принимались в армию, казаки — в пограничную стражу, инженеры приглашались для работы в промышленности и строительстве. Были созданы десятки русских школ и кадетский корпус. Много выходцев из России окончили Белградский университет, среди преподавателей которого также были наши соотечественники. Ежегодно проводились Дни русской культуры, проходили выставки русских художников, съезды писателей, издавались русские газеты. В Сремских Карловцах получил убежище Заграничный Синод Русской Православной церкви, ставший на многие годы Духовным Центром всей русской эмиграции. В этой благородной деятельности королю активно помогали премьер-министр Никола Пашич и Сербские Патриархи Димитрий и его преемник Варнава.

³ Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 47.

⁴ Русская Атлантида. 2004. № 12. С. 22–25.

В 1934 г. король Александр отправился во Францию для заключения договора о союзе. 9 октября 1934 г. вместе с министром иностранных дел Франции Л. Барту он был убит в г. Марселе агентами хорватской националистической организации (усташами).

Убийство короля Александра глубоко потрясло российскую эмиграцию. Многие находили явные параллели между трагическими судьбами короля Александра и его названного отца — Императора Всероссийского Николая II. Именно тогда у владыки Нестора родилась мысль о необходимости совместного почитания Венценосных мучеников и строительства Часовни-Памятника в Харбине.

Эту идею поддержал Н. К. Рерих, также глубоко почитавший Императора Николая II и короля Александра. Он стал автором первого проекта часовни. Проект, однако, не был осуществлен и не сохранился. Дадим краткое пояснение причин этого. Н. К. Рерих прибыл в Харбин в конце мая 1934 г. и был восторженно принят всеми слоями харбинского общества. Попали под обаяние личности Николая Константиновича и харбинские иерархи. Был запланирован ряд начинаний с участием Н. К. Рериха, которым, однако, не суждено было сбыться.

В середине ноября 1934 г. началась массированная атака на Рериха харбинских газет «Харбинское Время», «Возрождение Азии» и «Наш Путь». В его адрес выдвигались тяжкие обвинения в деятельности, противоречащей учению Православной Церкви. Газетная кампания продолжалась (с перерывами) до середины 1935 г., а отголоски ее ощущались даже в конце 1938 г.⁵

Не будем судить о достоверности этих обвинений, о которых до настоящего времени существуют полярные точки зрения, и идут жаркие споры. Так или иначе, но с конца 1934 г. — начала 1935 г. от Рериха отшатнулось большинство харбинцев, в том числе и архиереи. О строительстве часовни по проекту Н. К. Рериха не могло быть и речи⁶. Разработка проекта была поручена харбинскому епархиальному архитектору М. М. Осколкову.

Строительство Часовни-Памятника осуществлялось небывало высокими темпами. Всего несколько месяцев оказалось достаточным, чтобы всколыхнуть российскую эмиграцию во всех странах рассеяния и сформировать Строительный Комитет. Душой всего предприятия был архиепископ Нестор. Именно благодаря его авторитету, энергии и настойчивости почетными членами Строительного Комитета согласились стать выдающиеся деятели эмиграции, откликнулись меценаты и многие жертвователи, проживавшие в Маньчжурии, Китае, Югославии, Чехословакии, Англии, Франции, Германии, Японии и США.

⁵ После революционных событий 1917 года Финляндия закрыла границы с Россией, и Н. К. Рерих с семьей оказался отрезанным от Родины. Рерих организует кампанию против большевиков, захвативших власть в России. Входит в руководство Скандинавского общества помощи российскому воину, которое финансирует войска генерала Н. Н. Юденича, после вступает в эмигрантскую организацию «Русско-Британское 1917 г. Братство». В Лондоне Рерих налаживает контакты с членами Теософского общества и в июле 1920 года вместе с женой вступает в его английское отделение. Существует распространенная версия о том, что Рерих был агентом Коминтерна и ОГПУ, а экспедиция в Индию (1925–1928) была организована на деньги советской разведки, целью которой было свержение Далай-ламы XIII (см.: Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж. М.: ОЛМА-Пресс. 1999).

⁶ Рериховская концепция культуры основана на слиянии ранних историко-культурологических воззрений художника с религиозно-философскими идеями учения Живой этики (Агни Йога). Позиция Русской православной церкви в отношении учения Агни Йоги была сформулирована на Архиерейском соборе 2 декабря 1994 года: «Усиленно пропагандируется „Учение живой этики“, введенное в оборот семьей Рерихов и называемое также Агни Йогой. [...] Освященный Архиерейский Собор, следуя апостольской традиции, свидетельствует: все вышеперечисленные секты и „новые религиозные движения“ с христианством несовместимы. Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем более способствующие их распространению, отлучили себя от Православной Церкви».

На строительство часовни было собрана и израсходована сравнительно небольшая сумма — чуть более шести тысяч гоби. Денежные средства были истрачены главным образом на строительные материалы, оборудование и оплату наемных рабочих. Основные работы по проектированию, а также внутреннему и наружному оформлению часовни выполнялись безвозмездно.

Однако заслуга владыки Нестора в строительстве Часовни-Памятника была не только и не столько в том, что были собраны необходимые средства. Ему удалось объединить в едином порыве очень разных людей, представлявших самые различные слои погрязшей в распрях русской эмиграции. Вокруг благородной идеи собрались люди, которые в повседневной жизни были не только друзьями, единомышленниками или союзниками, но и являлись подчас соперниками, противниками и даже врагами. Основными жертвователями были тысячи безымянных простых людей, внесших свою трудовую копейку на благое дело во время тарелочных сборов в церквях и на специальных собраниях.

Поражают приведенные в брошюре списки почетных и рядовых членов Строительного Комитета, а также всех тех, кто оказал ценную помощь делу построения Памятника-Часовни. Среди них царствующие особы, политические деятели, военные, представители высшей аристократии, дворянства, казачества, купечества, мещанства и крестьянства. Вместе с тем, весьма показательным является отсутствие в списках представителей нераскаявшихся левой и либеральной частей эмиграции. Разнообразен и национальный состав жертвователей и благотворителей. Среди них великороссы, белорусы, украинцы, армяне, грузины, немцы, швейцарцы, поляки, сербы, чехи, евреи, греки, татары, китайцы, корейцы и японцы.

Активную поддержку начинанию оказали лидеры русской эмиграции на Дальнем Востоке Николай Львович Гондатти⁷, атаман Григорий Михайлович Семенов⁸, генералы Алексей Проклович Бакшеев⁹ и Вениамин Вениаминович Рычков¹⁰. Политические деятели и дипломаты представлены в списке именами доктора Карела Петровича Крамаржа¹¹ — «отца русской эмиграции», бывшего в 1918—1919 гг. главой правительства Чехословакии; Корэкие Такахаси¹² — министра финансов Японии, экс-премьер-министра «Страны Восходящего Солнца»; Василия Николаевича Штранд-

⁷ Николай Львович Гондатти (1860—1946) — исследователь-этнограф Северной и Северо-Восточной Сибири. Шталмейстер Двора Его Императорского Величества Николая II, приамурский генерал-губернатор, действительный статский советник. Умер 5 апреля 1946 года в Харбине. Похоронен на Новом кладбище, которое до настоящего времени не сохранилось.

⁸ Григорий Михайлович Семенов (13 [25] сентября 1890 — 30 августа 1946) — казачий атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант Белой армии. 30 августа 1946 года был приговорен к смертной казни с конфискацией имущества как «враг советского народа и активный пособник японских агрессоров». В тот же день Семенов был повешен, приговор привели в исполнение в Москве.

⁹ Алексей Проклович Бакшеев (12 [24] марта 1873 — 30 августа 1946, Москва) — офицер Забайкальского казачьего войска, герой Первой мировой войны, генерал-лейтенант Белой армии, политический деятель эмиграции. В августе 1945 года захвачен в Маньчжурии советской контрразведкой. Осужден вместе с атаманом Г. М. Семеновым, К. В. Родзаевским и др. Расстрелян 30 августа 1946 года.

¹⁰ Вениамин Вениаминович Рычков (12 декабря 1867, Тифлис — 22 августа 1935, Харбин) — генерал-лейтенант Русской императорской армии и первый председатель Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи. Член Русской фашистской партии, руководил ее военным отделом.

¹¹ Карел Крамарж (27 декабря 1860 — 1937, Прага) — первый премьер-министр независимой Чехословакии (1918—1919). Крамарж был активным сторонником Белого движения, состоял в дружеских отношениях с Антоном Ивановичем Деникиным. Умер незадолго до оккупации чехословацкого государства нацистской Германией. Похоронен рядом с супругой в крипте православного храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах.

¹² Такахаси Корэкие (1854—1936, Токио) — японский финансовый эксперт и государственный деятель, председатель партии Риккэн Сэйюкай (1921—1925), премьер-министр Японии, возглавлявший

мана¹³ — благодетеля эмиграции, бывшего русского посланника в Югославии; Алексея Александровича Татарина — французского консула в Циндао, бывшего военного атташе России в Пекине.

Список в изобилии содержит имена высоких иерархов, клириков и мирян, принадлежавших к разным ветвям Русского Православия, (в XX веке, увы, расколотого по Божьему попущению), а также Сербской Православной Церкви. Наиболее полно представлен Зарубежный Синод в лице Первоиерарха митрополита Антония (Храповицкого) и его преемника митрополита Анастасия (Грибановского), членов Синода владык Гермогена (Максимова), Феофана (Гаврилова), Тихона (Лященко), Виталия (Максименко), а также всех архиереев, находившихся в Китае и Маньчжурии — Мелетия (Заборовского), Нестора (Анисимова), Виктора (Святина), Иоанна (Максимовича), Димитрия (Вознесенского) и Ювеналия (Килина). Представлена Американская Православная Церковь в лице ее главы митрополита Феофила (Пашковского) и даже Московская Патриархия — в особе признававшего ее юрисдикцию митрополита Японского Сергия (Тихомирова).

Способствовали строительству часовни многие лица, входившие в состав близкого окружения митрополита Антония. Среди них митрополичий келейник архимандрит Феодосий (Мельник), влиятельнейшие граф Юрий Павлович Граббе (позже протопресвитер, а с 1979 г. епископ с именем Григорий) и Николай Павлович Рклицкий (позже архиепископ Никон), первый настоятель Свято-Троицкого собора в Белграде протоиерей о. Петр Беловидов, известный православный писатель Владислав Альбинович Маевский и другие.

Особенно примечательно наличие в списке имени студента Белградского Университета Владимира Михайловича Родзянко, также близкого к окружению митрополита Антония. Это внук последнего председателя Государственной Думы, в 1917 г. столь много «посодействовавшего» принятию Государем решения об отречении от престола, а затем искренне сожалевшего об этом. Владыка Нестор лично знал и благословлял благие начинания Владимира Михайловича по сохранению единства Церкви и был даже крестным отцом его сына. Живя в Англии и приняв священнический сан, В. М. Родзянко получил широчайшую известность как многолетний ведущий религиозных передач на волнах русской редакции радиостанции «Би-Би-Си». Позже принял монашество с именем Василий. Скончался в сане епископа.

Вошли в состав Почетных членов Строительного Комитета и выдающиеся представители Сербской Православной Церкви: покровитель, защитник и благодетель русской эмиграции Святейший Патриарх Варнава (Росич) и его «правая рука» митрополит Иосиф (Цвийович), а также исповедники митрополит Досифей (Васич) и епископ Николай (Велимирович), причисленные недавно к лику Святых.

Важным, с точки зрения их высокого научного и нравственного авторитета, было участие в деле строительства Часовни-Памятника интеллигенции. Это профессора харбинских высших учебных заведений Г. К. Гинс, К. И. Зайцев, Н. И. Никифоров, Н. Е. Эсперов и видные школьные педагоги: Владимир Михайлович Анастасьев, директор Харбинской женской гимназии М. А. Оксаковской, инспектор Департамента народного просвещения; Василий Савельевич Фролов, директор харбинской гимназии им. Ф. М. Достоевского, а позднее гимназии в Дайрене. Не остались в сторо-

20-е правительство (1921–1922). Убит на посту министра финансов организаторами путча 26 февраля 1936 года у себя дома, в токийском квартале Акасака.

¹³ Василий Николаевич Штрэндман (Штрэндтман) (1873–1963, Вашингтон) — русский дипломат. С 1914 года поверенный в делах Российской империи в Сербии. В 1919–1924 годах представлял в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в ранге посланника правительство адмирала Колчака. Монархист. Масон. До 1929 года был членом русской парижской ложи «Астрея № 500» Великой ложи Франции. После Первой мировой войны переехал в Германию, жил в Швейцарии, а затем в США. В 1945 году переехал в Вашингтон. Похоронен на Старом кладбище в русском Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, штат Нью-Йорк.

не наиболее уважаемые в Харбине медики — Николай Павлович Голубев, Самуил Исаакович Тарковский¹⁴, Всеволод Владимирович Кожевников, К. С. Оглоблина, Н. Ф. и П. Ф. Орловы. В. К. Степанек, А. И. Сунгуров и др. Помогали и известные харбинские благотворительницы — княгиня Л. В. Голицына и наместница Богородице-Владимирской обители игумения Руфина (Кокорева).

Существенным в процессе строительства Часовни-Памятника был финансовый вклад в общее дело самых состоятельных представителей деловых кругов Харбина и русской колонии в Китае. Прежде всего это видные промышленники, предприниматели, администраторы и банкиры: Дмитрий Матвеевич Воронцов с супругой Екатериной Петровной и братом Михаилом (кстати, ближайшие соседи владыки Нестора по ул. Батальонной в Модягоу); Иван Васильевич Кулаев, — известный русский купец, меценат и создатель знаменитого в эмиграции, поныне действующего, благотворительного «фонда Кулаева», уехавший в конце 20-х годов в США, однако и оттуда продолжавший поддерживать харбинский «Дом милосердия»; крупнейший предприниматель Семен Федорович Ганин; строительные подрядчики, владельцы харбинских топливных складов Павел Степанович и Флор Степанович Маркизовы; владельцы транспортной фирмы Бринеры: Леонид Юльевич с супругой Еленой Михайловной и Борис Юльевич с супругой Екатериной Ивановной (урожд. Корнаковой), бывшей актрисой МХАТа; Семен Леонтьевич и Соломон Леонтьевич Скидельские, наследники капиталов и предприятий крупнейшего предпринимателя Дальнего Востока России и Маньчжурии Леонтия Соломоновича Скидельского (Хайма-Лейбы Шимановича); владелец дровяного склада Петр Гаврилович Державин; крупные домовладельцы Ивлиан Леванович Хаиндров и Евгений Зенонович Комар; бывший председатель Правления Добровольного флота К. В. Компанион; директор фанерного завода фирмы «Лиддел» Михаил Александрович Гинце и другие.

Среди жертвователей представители торгового капитала: чаеоторговцы и крупнейшие благотворители Илья Федорович и Ираида Петровна Чистяковы, Елизавета Николаевна Литвинова, вдова известного купца и мецената Семена Васильевича Литвинова; Иван Цхомелидзе (магазин «Цхомелидзе-Микотадзе» на углу улиц Китайской и Саманной, торговавший копченостями и кондитерскими изделиями); Михаил Иванович Шитухин (магазин «Товарооборот» на ул. Мостовой, торговавший валенками, кожанками и тулупами); Н. Г. Ипсиланти (магазин восточных сладостей — халва, буза, баклава); К. Ю. и А. К. Лейтловы (гастрономические магазины на Пристани и в Модягоу — потрясающий вкус знаменитой вареной «лейтловской» колбасы до сих пор не забыли многие бывшие харбинцы); владелец аптек Федор Николаевич Зимин; президент Торговой фирмы «И. Я. Чурин и Ко» Н. А. Касьянов и другие. Были и коллективные пожертвования, например, от сотрудников фирмы «Лион», полицейских станции Хан-чин-тун, охранников концессии «Кондо» ст. «Яблоня» и др.

Нельзя не упомянуть имена ближайших сотрудников владыки Нестора по «Дому милосердия», принявших на себя основной груз безвозмездной технической работы

¹⁴ Тарковский Самуил Исаакович родился в 1887 году в Киеве. Из крещеной еврейской семьи. Окончил медицинский факультет Казанского университета. В 1910–1914 годах — вольнопрактикующий врач, затем участковый врач в Уфимском уезде. Во время Первой мировой войны — полковой и дивизионный военный врач. В годы Гражданской войны в Челябинске — главный врач 3-го Уральского армейского корпуса, затем Западной армии. Участник Сибирского ледового похода. В 1920–1921 годах — главный врач Дальневосточной армии атамана Г. М. Семенова. Генерал-майор по военно-медицинскому ведомству. Эмигрировал в Китай в 1921 году, занимался частной лечебной практикой в Харбине. Жертвователю на нужды женской монашеской общины в Харбине в период тяжелейшего материального положения (1923) и на строительство часовни-памятника в честь Царственных мучеников в Харбине (1936). Врач Модягоуской больницы в Харбине, директор Мариинской общины Красного Креста. Принимал участие в создании детских приютов. Странник восстановления православной монархии. Арестован в 1945 году. Работал в заключении лагерным врачом. Скончался в Сиблаге Кемеровской области 19 июля 1953 года.

по сбору средств, строительству и украшению Часовни — настоятеля Свято-Скорбященской церкви протоиерея о. Иоанна Тростянского, игумена Николая (Гиббса), бывшего воспитателя Цесаревича Алексея Николаевича, а также игумена о. Нафанаила (князя Львова), иеромонаха о. Мефодия (Савелова-Иогеля), протоиерея о. Петра Задорожного, замечательную иконописицу инокиню Олимпиаду (Болотову), Сергея Григорьевича Жалнина, Кирилла Александровича Караулова.

По-разному сложится дальнейшая судьба этих людей. Некоторые из них вскоре «непестыдно и мирно» покинут этот мир. Остальным, с началом Второй мировой войны, придется пережить разделение на «оборонцев» и «пораженцев». Часть пройдет суровое испытание гитлеровскими или сталинскими лагерями. Некоторые там и погибнут. Часть будет казнена за реальные или мнимые прегрешения перед воюющими державами. Одни будут обесславлены в глазах грядущих поколений, другие — прославлены в лике Святых.

В 1936 г. брошюра владыки Нестора оказалась в Югославии и была прочитана при дворе следующего монарха, вступившего на югославский престол. В знак признательности за память о его отце Александре король Петр II Карагеоргиевич¹⁵ пожаловал архиепископу Нестору высшую гражданскую награду Югославии орден св. Саввы I степени, а автору проекта Часовни-Памятника М. М. Осколкову и руководителю строительства К. А. Караулову орден св. Саввы II степени. Обладателям первых двух степеней этого ордена жаловалось потомственное югославское дворянство.

Приложение 11. Архиепископ Нестор (Анисимов). Часовня — памятник памяти Венценосных Мучеников в г. Харбине. Харбин. Дом милосердия. 1936 г.¹⁶

4-го апреля 1935 г. начал работать Строительный Комитет по созданию часовни-памятника. И 6 (19) мая, в день рождения Государя Императора Николая II, была совершена закладка часовни. Литургию в этот день совершали три архипастыря: архиепископ Нестор, епископ Димитрий¹⁷ и епископ Ювеналий¹⁸. Мощно пел хор церкви Дома Милосердия, и вся церковь пела «Вечную память» Благодетельнейшему Государю Императору Всероссийскому Николаю II Александровичу и Благодетельнейшему Государю королю Югославии Александру I Карагеоргиевичу.

Глубокое и сильное слово произнес Преосвященный епископ Димитрий, указавший на смысл и значение сооружаемой часовни как памятника Венценосным Мученикам и как места нашей молитвы за них. «Памятник этот будет свидетельство-

¹⁵ Петр II Карагеоргиевич (1923–1970) — сын Александра I Карагеоргиевича. В 1934 году наследовал югославский престол при регентстве принца Павла. В марте 1941 года взял правление в свои руки после революции, начавшейся из-за прогерманской ориентации князя Павла (Павел Карагеоргиевич (1893–1976) — великий князь, принц-регент Югославии в 1934–1941 годах). Однако через несколько недель Гитлер завоевал Югославию, и король Петр вынужден был искать убежище в Греции, Египте, а затем Англии. После прихода к власти маршала Тито остался в эмиграции. Умер в г. Денвере (США). Его сыну, наследному принцу Александру Карагеоргиевичу (р. 1945), в 2001 году возвращены югославское гражданство и часть собственности.

¹⁶ Русская Атлантида. 2004. № 12. С. 27–31.

¹⁷ Димитрий (Вознесенский) (1871–1947), епископ Хайларский, викарий Харбинской епархии, с 1944 года архиепископ. Отец Первоиерарха Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополита Филарета. В 1946 году вернулся в Россию, где находился на покое в Псково-Печерском монастыре. Скончался в Ленинграде, похоронен на Охтинском кладбище.

¹⁸ Ювеналий (Кишин) (1875–1958), епископ Сынцзянский, викарий Пекинской епархии, с 1941 года епископ Цицикарский, викарий Харбинской епархии, а с 1946 года викарий Пекинской епархии. В 1947 году возвратился в Россию. Епископ Челябинский и Златоустовский (с 1947 года). Иркутский и Читинский (с 1948 года), архиепископ Омский и Тюменский (с 1949 года). Ижевский и Удмуртский (с 1952 года). Перед кончиной принял схиму с именем Иоанн.

вать, что мы не забыли своего императора, об этом он будет говорить как нам, так и нашему молодому поколению, сменяющему нас», — сказал владыка Димитрий. К концу литургии в Дом Милосердия прибыл Архиепископ Мелетий¹⁹ и все четверо архиереев, вместе со множеством духовенства и бесчисленными толпами народа, крестным ходом направились к месту закладки часовни. К этому времени весь двор Дома милосердия, прилегающая улица, даже крыша храма и соседних домов были заполнены бесчисленными народными толпами.

Я обратился к народу со словом: «Христос Воскресе! Мы все собрались на молитву и на закладку часовни-памятника Венценосным Мученикам — Государю Императору Всероссийскому и всей Его Царской Семье, и Государю королю Югославии Александру I Объединителю. Не на родной земле, а на чужой созидаем мы этот молитвенный памятник, ибо сами мы в изгнании, вдали от родной земли, где не позволяют молиться за Венценосных Мучеников. Не от избытков своих, не от богатства приносят нам жертвователи жертвы на священное дело, но от скудости, среди нужды, когда часто сами жертвователи питаются горькой коркой хлеба. Но „не хлебом единым жив будет человек“, и не о хлебе только должны мы заботиться в эти годы испытаний и мук.

Нет, прежде всего должны мы посмотреть, почему мы лишились и хлеба, и крова, и благополучия, и славы, и самого Отечества нашего. Потому, что прегрешили мы, и прежде всего прегрешили пред Царем нашим — помазанником Божиим, о котором сказал Господь: „Не прикасайтесь помазаннику Моему“. Мы все повинны в падении нашего царства, в утрате нашего царя. Иные ругались над Ним и клеветали на Него, а иные, как Пилат, умывали руки. Этот грех мы должны искупить ежечасным постоянным покаянием, постоянной покаянной молитвой перед Богом. Об этом-то нашем непрременном долге да будет постоянно напоминать ныне воздвигаемая часовня-памятник, в которой, если благословит Бог, будет приноситься и Бескровная Жертва.

Некоторые говорят, что лучшим памятником Государю было бы собирать детей бедняков, устраивать бесплатные столовые, ибо кругом много нужды. Истинно, нужды много, и тому доказательством является наш Дом милосердия, полный и детьми, которых здесь более восьми десятков, и убогими, и больными. Есть около храмов Божиих и столовые, и другие приюты. Эта работа во имя милосердия Божия обязательно должна совершаться, потому что страдания человеческие вопиют к каждому сердцу. Но ни приюты, ни столовые, ни богадельни не могут быть памятниками Государю, потому что самая нужда наша, самые страдания наши родились от нашего греха против Царя и Родины, и все наши благотворительные учреждения являются последствием нашего греха, а не искуплением его. Памятником Государю может быть только дом молитвы, дом Божий, где будет возноситься молитва за Царя Мученика и молитва нашего покаяния.

Памятник этот должен быть скромным, как скромным должно быть все у нас на чужбине. Итак, объединимся сейчас все в вере и молитве, прося Бога принять от нас эти малые жертвы, эти малые лепты и труды во искупление нашего великого греха. Аминь».

Потом мы — все архиереи — совершили молебен и с молитвой закладку часовни-памятника. Вечером в тот день в Русском клубе было многолюдное траурное заседание, посвященное памяти Мученика Государя. Я рассказал о том, как имел счастье и великую честь многожды видеть Государя и Семью его в дни мира и счастья России, так же, как и в дни страшной войны; бывший воспитатель Наследника Цесаревича — о. игумен Николай²⁰ рассказал о своих воспоминаниях жизни при Царском Дво-

¹⁹ Мелетий (Заборовский) (1869—1946), архиепископ Харбинский и Маньчжурский, с 1939 года митрополит. Скончался в Харбине, был похоронен в Благовещенской церкви.

²⁰ Николай (Гиббс Сидней Иванович) (1876—1963), игумен. Родился в г. Роттерхэме (Великобритания). Окончил Кембриджский университет. С 1908 года преподавал английский язык у великих княжон, дочерей императора Николая II, а затем и у цесаревича Алексея. После революции последовал

ре; Н. Л. Гондатти и проф. К. И. Зайцев²¹ обрисовали светлый образ Мученика-Царя. В этот день множество русских людей принесло свои посылные лепты для общего священного дела. Деятельно и энергично закипела работа. Вице-председателями нашего Строительного Комитета были генерал В. В. Рычков²² и В. С. Фролов²³. Проект часовни создан архитектором инженером М. М. Осколковым²⁴. Наиболее энергично принимал участие в работе серб — М. А. Авдалович.

Я посетил самые разнообразные слои населения Харбина с призывом помочь делу созидания часовни. И повсюду видел добрый жертвенный отклик. Столь же тепло и усердно откликнулись многочисленные патриотически настроенные русские люди из других стран и городов русского рассеяния.

По моему поручению отец игумен Нафанаил²⁵ объехал все станции и поселки линии бывшей КВЖД²⁶ с призывом к русским людям. Он проник с этим призывом в са-

в ссылку за царской семьей в Сибирь. В 1934 году в Харбине принял от владыки Нестора крещение в Православной церкви с именем Алексей, а в 1935 года — монашество с именем Николай и священство. В 1937 году возвратился в Англию. Архиепископом Нестором в дни его визита в Англию возведен в сан архимандрита (1938). В первой половине 1940-х годов основал православный приход св. Николая Чудотворца в Оксфорде. В 1945 году перешел в юрисдикцию Московской патриархии. Похоронен на кладбище Хэдингтон в Оксфорде.

²¹ Зайцев Кирилл Иосифович (1887—1975), профессор политической экономии юридического факультета Харбинского института им. Св. Владимира (1936—1938). В 1945 году принял священство, служил в Пекине и Шанхае. После Второй мировой войны переехал в США. Пострижен в монашество с именем Константин в Свято-Троицком монастыре в г. Джорданвилль (США) в 1949 году. Архимандрит (1954). Многолетний редактор журнала «Православная Русь». Профессор пастырского богословия и русской литературы в Свято-Троицкой семинарии.

²² Рычков Вениамин Вениаминович (1870—1935), генерал-лейтенант, георгиевский кавалер. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Первый председатель Бюро по делам российских эмигрантов в Харбине (1934—1935).

²³ Фролов Василий Савельевич (1879—?), известный русский педагог-словесник. Окончил учительскую семинарию в Благовещенске (1898). Заведовал школой № 1 на станции Маньчжурия (1921—1922), директор гимназии им. Ф. М. Достоевского в Харбине, а после ее закрытия до 1945 года — директор русской гимназии им. А. С. Пушкина в Дайрене (Дальнем). В 1944—1945 годах воспрепятствовал поклонению учащихся своей гимназии японской языческой богине Аматерасу. Репрессирован НКВД в 1945 году. Срок отбывал в инвалидном лагпункте Востураллага в Свердловской области.

²⁴ Осколков Михаил Матвеевич (1872, Симферополь — после 1944), военный инженер. Окончил Николаевское инженерное училище (1899) и Николаевскую инженерную академию (1904). Работал в Виннице. На Дальнем Востоке с 1904 года. В Благовещенске построил Свято-Троицкую церковь. До 1918 года работал городским инженером в Хабаровске, откуда эмигрировал в Маньчжурию (Харбин). С 1921-го по 1937 год в Харбинском городском самоуправлении занимал должность городского инженера. Действительный член, а затем председатель правления Общества русских инженеров в Маньчжоу-Го. Кроме храма в Харбине в честь Софии Премудрости Божией (1933, сохранился) и часовни-памятника Венценосным мученикам (1936, утрачена), автор сотни частных домов.

²⁵ Нафанаил (князь Львов Василий Владимирович) (17 (30) августа 1906 года, Москва — 26 октября (8 ноября) 1986 года, Вена), игумен. Родился в семье члена Государственной думы, обер-прокурора Святейшего Синода в 1917 году. Учился в гимназии в Санкт-Петербурге, в реальных училищах в Бугуруслане и Томске. Окончил Харбинское реальное училище (1922). Работал рабочим на Китайской Восточной железной дороге (1922—1929). Учился на вечерних богословских курсах (1928—1931). Принял монашество. Посвящен в иеромонахи (1929). Законоучитель в детском приюте при «Доме Милосердия» в Харбине. Архимандрит (1936). Настоятель Воскресенского собора в Берлине (1945). Епископ Брюссельский и Западно-Европейский (1946—1951). В 1952 году служил в Тунисе. Преподавал Ветхий и Новый Завет в монастыре преп. Иова Почаевского (1953—1956). С 1966-го по 1980 год был настоятелем обители преп. Иова в Мюнхене. Епископ Венский и Австрийский (1971). Архиепископ (1981).

²⁶ После продажи Советским Союзом Японии КВЖД она была переименована в СМЖД (Северо-Маньчжурская железная дорога).

мые глубокие дебри Маньчжурской тайги, к русским охранникам и рабочим. И эти закаленные в опасностях и трудах люди, затерянные в глуши, почувствовали себя снова русскими, которым близко и дорого общее русское дело, общая русская скорбь. С воодушевлением собрали они свои трудовые, окропленные кровью и потом гроши и копейки, радуясь, что и они, затерянные в глубинах тайги, могут принять участие в общем деле.

Был он с этим призывом и у приграничных русских поселков, где особенный смысл, особенное значение приобретал призыв к созданию часовни-памятника нашего покаяния, потому что, казалось, и близкие просторы России прислушиваются к этому призыву. Так общими трудами, общими усилиями стало возможно осуществление священного дела. И 15 (28) июля, в день памяти святого князя Владимира, торжественно поднят был крест на купол часовни — первая самая трудная часть работы была закончена. В дальнейшем работа проводилась, главным образом, по внутреннему украшению часовни и по отделке ее наружных деталей художником скульптором В. Ф. Винклером под руководством К. А. Караулова²⁷.

Наконец 4 (17) мая [1936 г.] настал день освящения священной часовни. С улицы перед часовней возвышается чугунная ограда, украшенная художественными литыми медными двуглавыми орлами — даром полковника С. Д. Иванова от Русского Шанхайского Волонтерского полка и К. Э. Мецлера от Русского Эмигрантского Комитета в Шанхае. Эти орлы украшали некогда Российское Императорское Генеральное Консульство в Шанхае как стражи русской славы на рубеже Дальневосточных стран.

Над входом в часовню широко простер свои царственные крылья величавый огромный Двуглавый Орел. Немигающим взором смотрит он, овеянный тысячелетней славой, вспоенный победами своих сынов, столь многожды видевший страдания своей страны. На колонных постаментах справа и слева у входа в часовню возвышаются императорская и королевская короны — венцы царственных Страдальцев, которые сменили они на мученические венцы. И об этом мученическом их избрании вещают слова церковной молитвы, начертанные над входом в часовню: «Вселенная приносит Ти, Господи, Богоносныя Мученики». Древняя Шапка Мономаха и Держава украшают боковые постаменты, осененные надписями: «Нет у нас Царя, яко не убоюхomsя Господа» и «Боже, суд Твой Царева даждь».

Святое Распятие Христово (работы инокини Олимпиады²⁸, копия с Распятия Петербургского «Храма на крови» — места мученической смерти Императора Алексан-

²⁷ Караулов Кирилл Александрович (12 августа 1913 года, Хабаровск — 20 сентября 1983 года, Кировоград). Родился в семье командира парохода «Амурского речного пароходства», работавшего с 1907 года на маршруте Амур—Сунгари. В 1920 году его отец вывел пароход из уже занятого красными Хабаровска и очутился в Харбине без средств существования. Заболел туберкулезом. Сына Кирилла в 1924 году пришлось отдать в приют к епископу Нестору. Кирилл окончил в Харбине гимназию Андерса, иконописную школу, военное училище РОВС, богословские курсы, зубо-врачебное училище и Харбинский зубо-врачебный институт, служил в Русском волонтерском полку (Шанхай). С 1931-го по 1955 год был заведующим приютом, а затем управляющим Дома милосердия. По поручению владыки Нестора руководил строительством зданий на территории Дома милосердия, постройкой часовни-памятника Венценосным мученикам, харбинского госпиталя Красного Креста и др., а также типографией. Одновременно имел медицинскую практику в больницах Харбина, а также в Доме милосердия и Лицее им. Св. Александра Невского. В 1955 году выехал с семьей в СССР «на освоение целинных и залежных земель» в Кокчетавскую область. После освобождения владыки Нестора в 1956 году из заключения и назначения на Новосибирскую кафедру семья переехала в Новосибирск, а затем в Кировоград (место нового назначения владыки). В последние годы работал врачом-стоматологом в поликлинике Кировограда.

²⁸ Олимпиада (Ольга Болотова) (1880 — после 1967 года), инокиня, выдающаяся иконописица. Родилась в Слободском уезде Вятской губернии. С детских лет воспитывалась в Вятском женском монастыре, где изучила азы иконописи. После революции уехала на Дальний Восток, где подвиза-

дра II) с молитвенной надписью: «Господи, прости им: не ведают бо что творят», начертаны на стене часовни, противоположной от входа и обращенной к храму. «Господи, прости Россию!»²⁹ — этот молитвенный вздох связан с каждым камнем, с каждой песчинкой в часовне. Много, много прегрешила наша Родина. Не снесла она креста своего избранничества, не послушалась голоса лучшего из сынов своих, пророчески возвестившего Ее судьбу:

Помни, быть орудьем Бога
Земным созданиям тяжело:
Своих рабов Он судит строго.
А на тебе, увы, как много
Грехов ужасных налегло!

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя слезою покаянья.
Да гром двойного наказания
Не грянет над твоей головой!

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

(А. С. Хомяков)

И вот эта часовня и молитвы, которые мы принесем в ней, да будут елеем русско-го покаяния и русской скорби в страшный переживаемый нами час.

Войдем в часовню... У стены, противоположной от входа, возвышается величавый иконостас (работы инокини Олимпиады и ее учениц — детей сирот приюта Дома милосердия) с большим величавым изображением святителя Николая Чудотворца и св. князя Александра Невского. На крыльях иконостаса и в верхней части его изображены святые: царица Александра, Алексий — Митрополит Московский и другие Небесные Покровители Царственных Мучеников. С молитвой предстоят они у Божьего Престола, так же как предстояли тогда, когда созерцали они мученический подвиг царственных духовных чад своих и молитвой своей исходатайствовали у Бога дивную крепость и великое мужество им в мучительный смертельный час. На иконостасе опять двуглавые орлы и короны. Русская и вся славянская многострадальная слава запечатлелась в этих священных символах, венчающих мученический памятник.

Перед иконостасом на колонном пьедестале возвышается серебряная доска с начертанными именами убиенных Царя, Царицы, Короля, Великих Князей, Княгини и Княжон. Вечная им память и вечная им слава! Этот пьедестал с мученическими именами венчается императорской короной-лампадой (эта неугасимая лампада соо-

лась в женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Приморском крае (с. Линевичи). В 1930 году бежала в Харбин. Инокиня, а затем игуменья Скорбященской обители Дома милосердия, под попечением которой находились дети и престарелые обитатели приюта. Руководительница иконописной школы. В конце 1950-х годов выехала во Францию.

²⁹ Фактически на восточной стене часовни-памятника была надпись: «ГОСПОДИ, СПАСИ РОССИЮ». Такое несоответствие можно объяснить тем, что брошюра издавалась до окончательного завершения строительства часовни.

ружена русскими людьми, чтящими память Мученика Царя³⁰), украшенной самоцветными камнями, блестящими, словно звездочки в полумраке вечера. «Тако да просветится свет» их имен у Божьего Престола.

Перед пьедесталом с именами убиенных Венценосцев покоится крест — дар архиепископу Нестору Великой Княгини Марии Павловны³¹. На нем четко значится год его создания — 1814 г. — год величайшей русской славы, когда перед победоносными рядами русских полков раскрылись врата побежденного Парижа. Снова веяние былой славы, снова мучительная боль в израненном сердце.

На посеребренных цепях из высокого купола часовни спускается лампада-паникадило, созданная из пожертвованных в часовню орденов и медалей — знаков почести, данных некогда русским людям царской рукой. И ныне, когда от этих былых почестей, от прежней славы остались лишь мучительные раны в сердце, нет лучшего места для славных орденов и медалей, нежели лампада в молитвенной часовне памяти Царя, даровавшего эти знаки славы. По бокам центральной лампы видны другие, также украшенные орденами и медалями. И, конечно, прежде всего здесь приковывает взор священнейший орден — крест святого Георгия.

Святой Георгий — белая эмаль,
Простой рисунок... Вспоминаешь кручи
Фортов, бросавших огненную сталь,
Бетон, звеневший в вихре пуль певучих.

(А. Несмелов)

Перед самым образом опускается золоченая большая лампада — дар коренной жительницы Харбина И. Т. Вересотской. И неугасимыми огоньками светятся все эти светильники в святой прекрасной часовне — памятнике нашей былой славы. По бокам иконостаса, на аналоях в особых кивотах, хранятся дары архиепископу Нестору в 1911 г. от Государя Императора — образ преподобного Серафима Саровского и от Наследника Цесаревича — панagia Всемилоостивого Спаса — Крест Камчатского Братства (Наследник Цесаревич был Августейшим Покровителем Камчатского Братства, созданного мною, с 1911 г.). Обе царские святыни украшены боевыми орденами и медалями и вправлены в ажурный серебряный художественный оклад.

Но не только о земной, так быстро переходящей славе вещает эта часовня. «Вознесох избранного от людей Моих», гласит надпись над входом в часовню, внутри ее. В тот страшный час, когда врагам казалось, что они повергли Божиих Помазанников в самую глубокою пропасть падения и мучительной смерти, тогда-то Воля Божественная избрала их и вознесла Избранных Своих на высоту Вечной Славы в века и века. И тут же, под осенением этих слов псаломских, видим мы литые изваяния самих Мученика-Царя и Мученика-Короля, Богом избранных и венчанных сначала царственным, а потом мученическим венцом.

Грозным предостережением и постоянным напоминанием нам о покаянии звучат слова других двух надписей по правую и по левую сторону во внутренности ча-

³⁰ По свидетельству Г. Б. Тыкоцкого, неугасимая лампада и хоругвь в форме Георгиевского креста для часовни-памятника были изготовлены его отцом, Б. Н. Тыкоцким // Русская Атлантида. 2003. № 9. С. 16.

³¹ Мария Павловна Романова (1890–1958) — дочь великого князя Павла Александровича Романова от его первого брака с греческой принцессой Александрой. Супруга шведского кронпринца Вильгельма. С 1913 года разведена. Во время Первой мировой войны — медсестра во фронтовых госпиталях. Эмигрировав после 1917 года во Францию, открыла в Париже первую мастерскую-салон художественной вышивки. Сотрудничала с домами моды Коко Шанель и Валентины Саниной. Автор мемуаров, профессиональный художник-фотограф. Потомки Марии Романовой и ее сына Леннарта наследовали шведскую корону.

совни: «Бога бойтесь, царя чтите» и «Не прикасайтесь Помазаным Моим». С каждой стороны этих надписей смотрят очи херувимов, застывших в молитвенном спокойствии. Как стражи божественных глаголов взирают они спокойными очами на грешную землю, но самый взор их непрестанно напоминает о вечности и непреложности Божественной Правды. И в святой час освящения священной часовни да раскроется каждое русское сердце перед веянием молитвы, перед тенями былой славы, зовущей нас, и да вознесутся пламенные молитвы к Творцу, в Чьих руках все судьбы Вселенной.

Не говорите: то былое,
То старина, то грех отцов:
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов.
Нет, этот грех он вечно с нами,
Он в наших жилах и в крови,
Он сросся с нашими сердцами,
Сердцами, мертвыми в любви.

(А. С. Хомяков)

...До 1945 года совершались панихиды по царской семье и в Харбине, и по всей Маньчжурии. В 1960-х годах подворье было закрыто китайскими властями. Впоследствии все постройки подворья были снесены. На месте снесенной часовни-памятника построен семизэтажный жилой дом...

Contents

Prose and Poetry

- Vera Kalmykova.** Poems • 3
Vladimir Aleinikov. Warrior of Light. *Poet's Prose* • 9
Anna Gedymin. Poems • 68
Calle Kasper. Dr. Stockmann's Version. *Variations on the theme of Henrik Ibsen's play „Enemy of the People“.* Translation from Estonian by Leivi Sher • 71
Olga Anikina. Derzhavin St. Eight, Apartment Sixteen. *Poems* • 84
Tatiana Okomenyuk. According to Updated Data... *Short story* • 89
Dmitry Zinoviev. Poems • 109
Inna Nacharova. Life Stories. *Short stories* • 115
Pavel Vyalkov. The True Story of the Persian Princess. *Short story* • 120

Non-Capital Russia

- Eduard Rusakov.** My Wife Is a Proofreader. Proud Mom. Time Machine. Komsorg of the Madhouse. *Short stories from the series „Komsorg of the Madhouse“.* Preface by E. Popov • 143

Universe of Childhood

- Tatiana Mikhalkova.** My Childhood • 166

Archipelago of Nobleness

- Alexander Melikhov.** „Fighters Must See Each Other“. *Authors:* D. Dragunsky, V. Kalmykova, E. Dolgopyat, S. Shchelkunova, I. Shumeiko, M. Bushueva • 180

Journalistic Writings

- Evgeny Popov, Mikhail Gundarin.** The Phenomenon of „Non-Returnee“ • 188

Criticism and Essays

- Vera Zubareva.** Humble Shack: Kolomna Plot on „Countercurrent“ • 203

St. Petersburg Bookman

- Art of Reading.** *Alla Novikova-Stroganova.* The Unity of Poetry and Prose (I. S. Turgenev and Aloysius Bertrand). **Territory of Memory.** *Alexander Baltin.* To the 100th Anniversary of V. Soloukhin. **Reviews.** *Lyudmila Sinitsyna.* What Is Our Life? *Aidar Khusainov.* Who Owns the Past? • 222

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Harbin — „Russian Kitezh“. *Part 13* • 242

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-72-50
E-mail: nevaredaction@mail.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>
Сайт «Невы»: <http://nevajournal.ru>, <https://neva-journal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России»,
подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах
прессы у станций метрополитена.

**По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей,
приобретением** отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге – в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18,
тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте
издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>, <https://neva-journal.ru>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 18.04.2023. Подписано в печать 16.05.2024.
Выход в свет 06.06.2024. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 28

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43